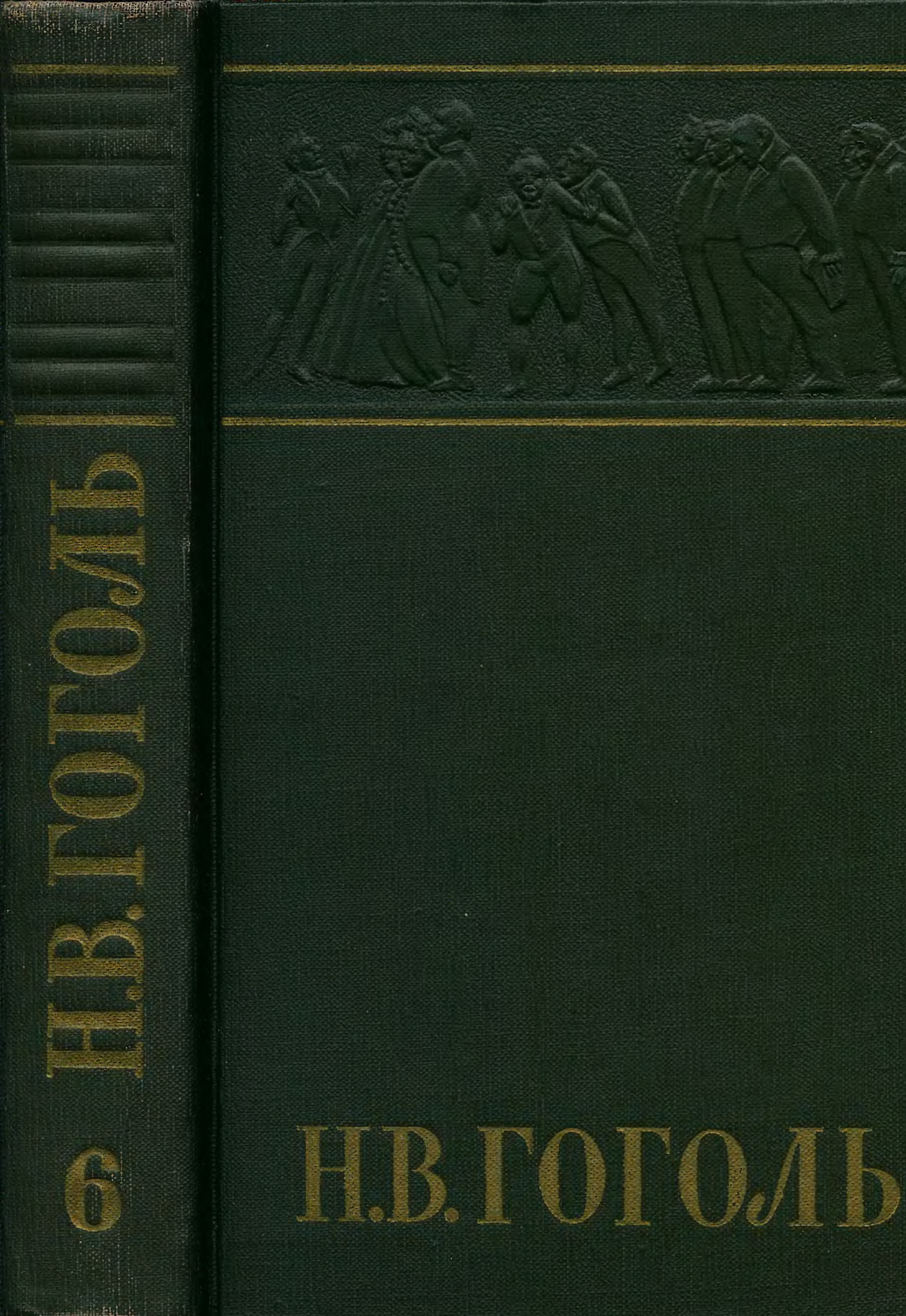


Н.В.ГОГОЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. В. ГОГОЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

С. И. МАШИНСКОГО, А. Л. СЛОНИМСКОГО,
Н. Л. СТЕПАНОВА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Н. В. ГОГОЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И ПИСЬМА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Подготовка текста и примечания
А. Н. ДУБОВИКОВА

ИЗ РАННИХ ОПЫТОВ

БОРИС ГОДУНОВ

ПОЭМА ПУШКИНА

(Посвящается Петру Александровичу Плетневу)

Книжный магазин блестел в бельэтаже ***ой улицы; лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг, живо и резко озаряя заглавия голубых, красных, в золотом обрезе, и запыленных, и погребенных, означенных силою и бессилием человеческих творений. Толпа густилась и росла. Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных окнах, и, казалось, лампы, книги, люди — все окидывалось легким трепетом, удвоявшим пестроту картины. Сидельцы суетились. «Славная вещь! Отличная вещь!»— отдавалось со всех сторон. «Что, батюшка, читали «Бориса Годунова», нет? Ну ничего же вы не читали хорошего»,— бормотала кофейная шинель запыхавшейся квадратной фигуре. «Каков Пушкин?» — сказал, быстро поворотившись, новоиспеченный гусарский корнет своему соседу, нетерпеливо разрезывавшему последние листы. «Да, есть места удивительные!»— «Ну вот, наконец дождались и «Годунова»!»—«Как, «Борис Годунов» вышел?» — «Скажите, что это такое «Борис Годунов»? Как вам кажется новое сочинение?»— «Единственно! Единственно! Еще бы некоторой картины... О, Пушкин далеко шагнул!» — «Мастерство-то главное, мастерство; посмотрите, посмотрите, как он

искусно того...» — трещал толстенький кубик с веселыми глазками, поворачивая перед глазами своими руку с пригнутыми немного пальцами, как будто бы в ней лежало спелое прозрачное яблоко. «Да, с большим, с большим достоинством! — твердил сухощавый знаток, отправляя разом пол-унции табаку в свое римское табакохранилище.— Конечно, есть места, которых строгая критика... Ну, знаете... еще молодость... Впрочем, произведение едва ли не первоклассное!» — «Насчет этого позвольте-с доложить, что за прочность,— присовокупил с довольным видом книгопродавец,— ручается успешная-с выручка денег...» — «А самое-то сочинение действительно ли чувствительно написано?» — с смиренным видом заикнулся вошедший сенатский рябчик. «И, конечно, чувствительно! — подхватил книгопродавец, кинув убийственный взгляд на его истертую шинель,— если бы не чувствительно, то не разобрали бы 400 экземпляров в два часа!» Между тем лица беспрестанно менялись, выходя с довольною миною и книжкою в руках. В это самое время Элладий подошел к другу своему Поллиору, рассеянно глядевшему на жадную толпу покупателей. «Не правда ли, милый Поллиор! не правда ли, что ни с чем не можешь сравнить этого тихого восторга, напояющего душу при виде, как пламенно любимое нами великое творение неумолкно звучит и отдается сочувствием во всех сердцах, и люди, кажется, отбежавшие навеки от собственного, скрытого в самих себе, непостижимого для них мира души, насильно возвращаются в ее пределы?» Молчаливо и безмолвно пожал Поллиор ему руку. Они вышли. Но ни томительный, как слияние радости и грусти, свет луны, так дивно вызывающий из глубины души серебряный сонм видений, когда ночное небо бесплотно обнимется вдохновением и земля полна непонятной любви к нему, ни те живые чувства, пробуждающиеся у нас мгновенно, когда чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов, которых окна, как бесчисленные огненные очи, кидают пламенные дороги на снежную мостовую, так странно сливающиеся с серебряным светом меся-

ца,— ничто не в состоянии было его вывесть из какой-то торжественной задумчивости; какая-то священная грусть, тихое негодование сохранялось в чертах его, как будто бы он заслышал в душе своей пророчество о вечности, как будто бы душа его терпела муки, невыразимые, непостижимые для земного... «Что же ты до сих пор,— спросил его Элладий, когда они вошли в его уединенную комнату, одиноко озаряемую трепетною лампой,— не поверг от себя дани нашему великому творению? не принес посильного выражения — истолкователя чувств в чашу общего мнения?»

«Ты понимаешь меня, Элладий, к чему же ты предлагаешь мне этот несвязный вопрос? что мне принесть? кому нужда, кто пожелает знать мои тайные движения? Часто, слушая, как всенародно судят и толкуют о поэ̃те, когда прения их воздымают бурю и запенившиеся уста горланят на торжищах,— думаю во глубине души своей: не святотатство ли это? Не то же ли, если бы кто вздумал стремительно ворваться в площадь, где чернь кипит и суетится, исполняя обычные свои требы, и воссылать, упавши на колени, жаркие молитвы к небу? И что бы сказал я? «Прекрасно! бесподобно, единственно!» Но выразят ли эти слова хотя одну струю безграничного океана чувств? Бессильные! Они от частого повторения людьми потеряли даже бедное собственное значение. Но еще бессмысленнее, еще смешнее мне кажутся люди, которые дарят поэтов, будто чинами, жалкими эпитетами, называют их первоклассными, как будто поэты, как растения или безжизненные минералы, требуют системы, чтобы удержаться в голове! Великий! когда развертываю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и стремит ко мне молнию огненных звуков, священный холод разливается по жилам и душа дрожит в ужасе, вызвавши бога из своего беспредельного лона... что тогда? Если бы небо, лучи, море, огни, пожирающие внутренность земли нашей, бесконечный воздух, объемлющий миры, ангелы, пылающие планеты превратились в слова и буквы — и тогда бы я не выразил ими и десятой доли дивных явлений, совершающихся в то время в лоне

невидимого меня. И что они все против души человека? против воплощения бога? В какие звуки, в какие светлые звуки превращается она, разрешаясь от всего носящего образ выразимого и конечного, сильным порывом вонзаясь в безобразную грудь его! Как горит, как сохнет бренный страдальческий состав! Как дрожит, как стонет бессильное земное, пока все не сольется в духовное море, пока потоп благодарных слез не хлынет дождем в размученную грудь, не прольет примирения между двумя враждующими природами человека. Как суетны люди, требующие отчета впечатлений, произведенных великим созданием поэта, зная наперед, что он не будет ответом на безрассудное желание их! Когда из безобразного земного черепа извлекают результат — ослепительный камень, когда из струн исторгают звуки — какой же они результат хотят извлечь из звуков? Может быть, и исполнится это желание, только когда? Когда человек исчезнет и душа на ветхих его развалинах воздвижется в величественном, необъятном здании».

«Итак, по-твоему,— спросил его после мгновенного молчания Элладий, — люди не должны делиться между собою впечатлениями и сообщать, как откровения, хотя неполные отчеты чувств, может быть убедившие бы других в духовной изящности создания?»

«Нет, Элладий, нет! Кто здесь требует убеждения, тому будут бесплодны все твои попытки возмутить его душу. Разогни перед ним великое творение. Читайте вместе, и если дивные его буквы не ударят разом в тайные струны сердец ваших, обратив в непостижимый трепет все нервы, не брызнут ответными слезами и души ваши почувствуют разъединение — закрой книгу и не трать пустых слов. Но если встретишь ты пламенно понимающее тебя чувство — прекрасную половину прекрасной души твоей,— потребуете ли вы друг от друга отчета? К чему бы послужил он вам, когда вы так чудно сливаетесь в одно? И какая презренная радость сравнится с тем мгновением, когда творение разом читается в вас? Как понимаете вы его? «Боже! — часто говорю себе,— какое высокое, какое дивное наслаж-

дение даруешь ты человеку, поселя в одну душу ответ на жаркий вопрос другой! Как эти души быстро отыскивают друг друга, несмотря ни на какие разделяющие их бездны!»

Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт! И когда передо мною медленно передвигается минувшее и серебряные тени в трепетании и чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и тихом величии, когда вся отжившая жизнь отзывается во мне и страсти переживаются сызнова в душе моей,— чего бы не дал тогда, чтобы только прочесть в другом повторение всего себя?.. Какими бы, казалось, драгоценностями не искупил этого блага? «Возьмите, возьмите от меня всё,— воскликнул бы тогда с подъятыми руками к небесам,— и ниспошлите мне это понимающее меня существо! Всемогущий! зачем дал ты мне неполную душу? или пополни ее, или возьми к себе и остальную половину».

О, как велик сей царственный страдалец! Столько блага, столько пользы, столько счастия миру — и никто не понимал его... Над головой его гремит определение... Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!.. И дивные картины твои блещут и раздаются всё необъятнее, всё необъятнее, всё необъятнее... И в груди моей снова муки!.. Ответные струны души гремят... Звон серебряного неба с его светлыми херувимами стремится по жилам... О, дайте же, дайте мне еще, еще этих мук, и я выльюсь ими весь в лоно творца, не оставя презренному телу ни одной их божественной капли...

Великий! над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достояния; если кремень обхватит тихо горящее сердце; если презренная, ничтожная лень окует меня; если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал; если опозорю в себе тобой исторгну-

тые звуки... О! тогда пусть обольется оно немолчным ядом, вопьется миллионами жал в невидимого меня, неугасимым пламенем упреков обовьет душу и раздастся по мне тем пронзительным воплем, от которого бы изныли все суставы и сама бы бессмертная душа застонала, возвратившись безответным эхом в свою пустыню... Но нет! оно как творец, как благость! Ему ли пламенеть казнью? Оно обнимет снова морем светлых лучей и звуков душу и слезою примирения задрожит на отуманенных глазах обратившегося преступника!..

⟨1831⟩

1834

Великая, торжественная минута. Боже! Как слились и столпились около ней волны различных чувств. Нет, это не мечта. Это та роковая, неотразимая грань между воспоминанием и надеждой. Уже нет воспоминания, уже оно несется, уже пересиливает его надежда... У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений. О, не скрывайся от меня, пободрствуй надо мною в эту минуту и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня, год. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О, будь блистательно, будь деятельно, все предано труду и спокойствию! Что же ты так таинственно стоишь предо мною, 1834-й год? Будь и ты моим ангелом. Если лень и бесчувственность хотя на время осмелятся коснуться меня, о, разбуди меня тогда, не дай им овладеть мною! Пусть твои многоговорящие цифры, как неумолкающие часы, как завет, стоят передо мною, чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слух мой, чтобы она, как гальванический прут, производила судорожное потрясение во всем моем составе. Таинственный, неизъяснимый 1834! Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей,

блеску и низкой бесцветности? В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве, увенчанном многоплодными садами, опоясанном моим южным, прекрасным, чудным небом, упоительными ночами, где гора обсыпана кустарниками с своими как бы гармоническими обрывами, и подмывающий ее мой чистый и быстрый, мой Днепр. Там ли? О! Я не знаю, как назвать тебя, мой гений! Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые доныне зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои чистые, небесные очи. Я на коленях, я у ног твоих! О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О, поцелуй и благослови меня!

〈1833〉

СТАТЬИ

из сборника «Арабески»
чч. I и II

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА

Благодарность зиждителю мириад за благость и сострадание к людям! Три чудные сестры посланы им украсить и усладить мир: без них он бы был пустыня и без пения катился бы по своему пути. Дружнее, союзнее сдвинем наши желания и — первый кубок за здравие скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посетила землю. Она — мгновенное явление. Она — оставшийся след того народа, который весь заключился в ней, со всем своим духом и жизнию. Она — ясный призрак того светлого греческого мира, который ушел от нас в глубокое удаление веков, скрылся уже туманом и до которого достигает одна только мысль поэта. Мир, увитый виноградными гроздиями и масличными лозами, гармоническим вымыслом и роскошным язычеством; мир, несущийся в стройной пляске, при звуке тимпанов, в порыве вакхических движений, где чувство красоты проникло всюду: в хижину бедняка, под ветви платана, под мрамор колонн, на площадь, кипящую живым, своеправным народом, в рельеф, украшающий чашу пиршества, изображающий всю вьющуюся вереницу грациозной мифологии, где из пены волн стыдливо выходит богиня красоты, тритоны несутся, ударяя в ладони, Посейдон выходит из глубины своей прекрасной стихии — серебряный и белый; мир, где вся религия заключилась в красоте, в красоте человеческой, в богоподоб-

ной красоте женщины,— этот мир весь остался в ней, в этой нежной скульптуре; ничто, кроме ее, не могло так живо выразить его светлое существование. Белая, млечная, дышащая в прозрачном мраморе красотой, негой и сладострастием, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человека. В каком бы ни было пылу страсти, в каком бы ни было сильном порыве, но всегда в ней человек является прекрасным, гордым и невольно остановит атлетическим, свободным своим положением. Все в ней слилось в красоту и чувственность: с ее страдающими группами не сливаешь страдающий вопль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самым их страданием,— так чувство красоты пластической, спокойной пересиливает в ней стремление духа! Она никогда не выражала долгого глубокого чувства, она создавала только быстрые движения: свирепый гнев, мгновенный вопль страдания, ужас, испуг при внезапности, слезы, гордость и презрение и, наконец, красоту, погруженную саму в себя. Она обращает все чувства зрителя в одно наслаждение, в наслаждение спокойное, ведущее за собою негу и самодовольство языческого мира. В ней нет тех тайных, беспредельных чувств, которые влекут за собою бесконечные мечтания. В ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясений и переворотов жизни. Она прекрасна, мгновенна, как красавица, глянувшая в зеркало, усмехнувшаяся, видя свое изображение, и уже бегущая, влача с торжеством за собою толпу гордых юношей. Она очаровательна, как жизнь, как мир, как чувственная красота, которой она служит алтарем. Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его — и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства: она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью.

Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство воздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское. Его порывом они развились

и исторгнулись из границ чувственного мира. Мне жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но... светлее сияй покал мой, в моей смиренной келье, и да здравствует живопись! Возвышенная, прекрасная, как осень в богатом своем убранстве мелькающая сквозь переплет окна, увитого виноградом, смиренная и обширная, как вселенная, яркая музыка очей — ты прекрасна! Никогда скульптура не смела выразить твоих небесных откровений. Никогда не были разлиты по ней те тонкие, те таинственно-земные черты, вглядываясь в которые слышишь, как наполняет душу небо, и чувствуешь невыразимое. Вот мелькают, как в облачном тумане, длинные галереи, где из старинных позолоченных рам выказываешь ты себя живую и темную от неумолимого времени, и перед тобою стоит, сложивши накрест руки, безмолвный зритель; и уже нет в его лице наслаждения,— взор его дышит наслаждением не здешним. Ты не была выражением жизни какой-нибудь нации,— нет, ты была выше: ты была выражением всего того, что имеет таинственно-высокий мир христианский. Взгляните на нее, задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: как вдохновенен и долог ясный взор ее! Она не схватывает одного только быстрого мгновения, какое выражает мрамор; она длит это мгновение, она продолжает жизнь за границы чувственного, она похищает явления из другого, безграничного мира, для названия которых нет слов. Все неопределенное, что не в силах выразить мрамор, рассекаемый могучим молотом скульптора, определяется вдохновенною ее кистью. Она также выражает страсти, понятные всякому, но чувственность уже не так властвует в них: духовное невольно проникает все. Страдание выражается живее и вызывает сострадание, и вся она требует сочувствия, а не наслаждения. Она берет уже не одного человека, ее границы шире: она заключает в себе весь мир; все прекрасные явления, окружающие человека, в ее власти; вся тайная гармония и связь человека с природою — в ней одной. Она соединяет чувственное с духовным.

Но сильнее шипи, третий покал мой! Ярче сверкай и брызгай по золотым краям его, звонкая пена,— ты

сверкаешь в честь музыки. Она восторженнее, она стремительнее обеих сестер своих. Она вся — порыв; она вдруг, за одним разом, отрывает человека от земли его, оглушает его громом могущих звуков и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает его в один трепет. Он уже не наслаждается, он не сострадает,— он сам превращается в страдание; душа его не созерцает непостижимого явления, но сама живет, живет своею жизнию, живет порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь мир, разлилась и дышит в тысяче разных образов. Она томительна и мятежна; но могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горé, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни.

Как сравнить вас между собою, три прекрасные царицы мира? Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись — тихий восторг и мечтание, музыка — страсть и смятение души. Рассматривая мраморное произведение скульптуры, дух невольно погружается в упоение; рассматривая произведение живописи, он превращается в созерцание; слыша музыку — в болезненный вопль, как бы душою овладело только одно желание вырваться из тела. Она — наша! она — принадлежность нового мира! Она осталась нам, когда оставили нас и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем,

спасителем, музыка! Не оставляй нас! буди́ чаще наши меркантильные души! ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром! Пусть при могущественном ударе смычка твоего смятенная душа грабителя почувствует, хотя на миг, угрызение совести, спекулятор растеряет свои расчеты, бесстыдство и наглость невольно выронит слезу пред созданием таланта. О, не оставляй нас, божество наше! Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. Простыми, без помощи механизма, силами он ворочает гранитную гору, высоким обрывом громоздит ее к небу и повергается ниц перед безобразным ее величием. Древнему, ясному, чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту,— и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам неспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял все радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку — стремительно обращать нас к нему. Но если и музыка нас оставит, что будет тогда с нашим миром?

1831

ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ МАЛОРОССИИ[1]

I. Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век! Сотни мелких государств, единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных одним общим характером и которых, казалось, против воли соединяло родство,— эти мелкие государства так были между собою разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью — сильные страсти не досягали сюда,— не постоянною политикою — следствием непреклонного ума и познания жизни: это был хаос браней за временное, за минутное — браней разрушительных, потому что они мало-помалу извели народный характер, едва начинавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманских князьях. Религия, которая более всего связывает и образует народы, мало на них действовала. Религия не срослась тогда тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира; молившиеся за всех, но не знавшие, как схватить с помощью своего сильного оружия, веры, власть над народом и возжечь

---

[1] Эскиз этот составлял введение к Истории Малороссии; но так как вся первая часть Истории Малороссии переделана вовсе, то он остался заштатным и помещается здесь как совершенно отдельная статья. *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

этой верой пламень и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенчествующие народы и настроить их к великому. Здесь была совершенная противоположность Западу, где самодержавный папа, как будто невидимою паутиною, опутал всю Европу своею религиозною властью, где его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы. Здесь монастыри были убежищем тех людей, которые кротостью и незлобием составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри, из пещер и монастырей, увещали удельных князей; но их увещания были напрасны: князья умели только поститься и строить церкви, думая, что исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели считать ее законом и покоряться ее велениям. Самые ничтожные причины рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами — нет! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала их,— нет! брат брата резал за клочок земли или просто чтобы показать удальство. Пример ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков. Их не подвигала на это наследственная вражда, потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприятелем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство — ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в нем почти все человеческие сильные благородные страсти, и если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он бы не нашел в нем ни одной струны, за которую бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической железной силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию: однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и непо-

движная в целом, могла почесться географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из средины ее, из степей, выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы, с многочисленными, никогда дотоле не виданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россию, осветивши путь свой пламенем и пожарами — прямо азиатским буйным наслаждением. Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные брани,— как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в южной России, которого вся жизнь была борьба и которого историю я взялся представить.

III. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний разрушенный Киев, безлюдье и пустыня — вот что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбежались или в Польшу, или в Литву; множество бояр и князей выехало в северную Россию. Еще прежде народонаселение начало заметно уменьшаться в этой стороне. Киев давно уже не был столицею; значительные владения были гораздо севернее. Народ, как бы понимая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разновидная природа начинает становиться изобретательницею; где она раскинула степи прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигантского роста, часто неожиданно среди них опрокинула косогор, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю в цветах, и по всем вьющимся лентам рек разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными гористыми берегами и неизмери-

мыми лугами — и все это согрела умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение, однообразно гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябение, поражающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что только народ сильный жизнью и характером ищет мощных местоположений или что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый, страстный, характерный народ.

IV. Когда первый страх прошел, тогда мало-помалу выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности, со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством. Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного пребывания составили связи. Это население производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народ был не за горами: их разделяли или, лучше сказать, соединяли одни степи. Несмотря на пестроту населения, здесь не было тех браней междоусобных, которые не переставали во глубине России: опасность со всех сторон не давала возможности заняться ими. Киев — древняя матерь городов русских, сильно разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден и едва ли мог сравниться со многими, даже не слишком значительными, городами северной России. Все оставили его, даже монахи-летописцы, для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и, несмотря на то что там оставалась еще отрасль князей русских, ничто не спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен, что в нем были ханские

баскаки,— и потом он от них задернулся как бы непроницаемою завесою.

V. Между тем как Россия была повергнута татарами в бездействие и оцепенение, великий язычник Гедимин вывел на сцену тогдашней истории новый народ — народ бедный и жизнью, и средствами для жизни, населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носивший звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший Перуна и поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, платевший прежде дань русским князьям, известный под именем литовцев. И этот народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном северо-востоке Европы! Тогда города, княжества и народы на западе России были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский завоеватель почти одним движением языческих войск своих, совершенно созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владения волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его везде. В Луцке, однако ж, князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах был отстоять земель своих. Гедимин, назначив старост и начальников, шел далее на юг, к самому сердцу южной России, к Киеву. Убежавший луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немноголюдными дружинами навстречу грозному победителю; дружины были усилены союзниками-татарами; но все бежало перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпети, вступил с торжеством в Киев, носивший на себе свежую печать татарского посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского, принявшего греческую веру. Итак, литовский завоеватель у самых татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедимин был человек ума крепкого, был политик, несмотря на видимую свою дикость и свое невежественное время. Он умел сохранить дружбу с татарами, владея отня-

тыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий политик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления: всё оставил по-прежнему, подтвердил все привилегии и старшинам строго приказал уважать народные права, нигде даже не означил пути своего опустошением. Совершенная ничтожность окружавших его народов и прямо исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он умер в 1340 году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками, соколами и сожжен по языческому обычаю литовцев. Вслед за ним такие же два сильные характера, Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику с присоединенными народами.

VI. И вот южная Россия, под могущественным покровительством литовских князей, совершенно отделилась от северной. Всякая связь между ими разорвалась; составились два государства, называвшиеся одинаким именем — Русью, одно под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношений между ими не было. Другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие подвиги составили на время два совершенно различные характера. Каким образом это произошло — составляет цель нашей истории. Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ жизни и даже характер народа. Многое в истории разрешает география.

Эта земля, получившая после название Украины, простирающаяся на север не далее 50° широты, более ровна, нежели гориста. Небольшие возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержавшими прежде в себе целые шайки медведей и диких кабанов; южная вся открыта, вся из степей, кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся хлебом. Девственная и могучая почва их своевольно произращала бесчисленное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг, оленей и диких лошадей, бродивших табу-

нами. С севера на юг проходит великий Днепр, опутанный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения; левый — весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. Двенадцать порогов — выросших из дна реки скал — недалеко от впадения его в море преграждают течение и делают плавание по нем чрезвычайно опасным. Около порогов водился род диких коз — *сугаки*, с белыми лоснящимися рогами, с мягкою, атласною шерстью. Прежде во̀ды в Днепре были выше, разливался он шире и далее потоплял луга свои. Когда воды начинают опадать, тогда вид поразителен: все возвышенности выходят и кажутся бесчисленными зелеными островами среди необозримого океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река, Десна, проходящая в северной Украине, с лесистыми берегами, почти с обеих сторон потопляемыми водою; но и эта река только в некоторых местах судоходна. Кроме того, на севере Остер и часть Сейма, на юге Сула, Псел с цепью видов, Хорол и другие; но ни одна из них не судоходна. Сообщения никакого нет, произведения не могли взаимно размениваться — и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ. Все реки разветвляются посередине, ни одна из них не протекала на рубеже и не служила естественною гранью с соседственными народами. К северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами, к югу ли с крымскими, к западу ли с Польшей — везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя с одной стороны естественная граница из гор или моря — и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельца: луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкие жилища сносимы до основания, обитатели разгоняемы или угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха; и потому в ней мог образоваться только

народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна войною. И вот выходцы вольные и невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь — копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились и выбрали самое опасное место в виду азиатских завоевателей — татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо — превративший мирные славянские поколения в воинственные, известный под именем козаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу.

VII. Если не к концу XIII, то к началу XIV века можно отнести появление козачества, к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением, с изумительным самоотвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дел мира, железные поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних государств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие магометанства и магометанских новых сильных народов, уже врывавшихся в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился везде и не между рыцарями и не для подобных предназначений. В это время явился близ порогов городок, или острог, Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа, которого даже построение многие приписывают им, и где было главное сборище и местопребывание козаков. Вначале частые нападения татар на северную часть Украины заставляли жителей спасаться бегством, приставать к козакам и увеличивать их общество. Это

было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с неверными. Это скопище людей не имело никаких укреплений, ни одного за́мка. Землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах, часто под водою, на днепровских островах, в гуще степной травы, служили им укрытием для себя и для награбленных богатств. Гнездо этих хищников было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны — те же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, так точно, с своей стороны, они решились быть страхом для соседей. Татары и турки должны были всякий час ожидать этих неумолимых обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее презрение, то называл его козаком.

VIII. Большая часть этого общества состояла, однако ж, из первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство — в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Всякий имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель — воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это, однако ж, не были строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением плоти; были не-

укротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Все было у них общее — вино, цехины, жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все уменье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечаталась пограничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротою тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиною и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый козак, после набега, когда гулял и бражничал с своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, ужасный набег был отмщением. После чего снова та же беспечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существование этого народа было вечно. Он никогда не уменьшался: выбывшие, убитые, потонувшие заменялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый, в свою очередь, стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это скопление мало-помалу получило совершенно один общий характер и национальность и, чем ближе к концу XV века, тем более увеличивалось приходившими вновь. Наконец целые деревни и села начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитою, с условием за то некоторых повинностей. И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по ту сторону Днепра люднели.

Семейные и женатые мало-помалу от обращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. Сабля и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Между тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смешения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую физиогномию, более азиатскую. И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский,— народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию — и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование.

1832



Флигель в Сорочинцах, где родился Н. В. Гоголь

Фототипия. 1902.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ

При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому иногда, позабывшись, стремится русский и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет. Судьба, как нарочно, забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью, где гладкая неизмеримость России перерывается подоблачными горами и обвевается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние

цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком — слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особливо юности, которая вся еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностию проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду [1].

Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт

---

[1] Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда наконец выходишь из молодости и видишь эти глупости непрекращающимися. Таким образом, начали наконец Пушкину приписывать: «Лекарство от холеры», «Первую ночь» и тому подобные. *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда сто̀ит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящеюся из-за облак вершиною и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным поэтом,— его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия.

Явление это, кажется, не так трудно разрешить. Будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русский. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: «Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были». Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит:

«Это вяло, это слабо, это нехорошо, это нимало не похоже на то, что было». Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий; но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков! Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею частию был бесцветен, разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать больший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной истине: быть высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвесть всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный, как воля, сам себе и судия, и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и, несмотря на то что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по весьма естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение,

и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта,— нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организирована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мере печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались доныне нетронуты.

В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякий, но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется

обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние, нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности,— привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные грозди винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.

Мне всегда было странно слышать суждения об них многих, слывущих знатоками и литераторами, которым я более доверял, покамест еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно

назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! Казалось, как бы им не быть доступными всем! Они так просто-возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы и наконец так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей.

1832

ОБ АРХИТЕКТУРЕ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ

Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величеством рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротою украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел невозвратимо век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас? или они — принадлежность народов юных, полных одного энтузиазма и энергии и чуждых усыпляющей, бесстрастной образованности? Отчего же те народы, перед которыми мы так самодовольно гордимся, которым едва даем место в истории мира,— отчего же они так возвышаются перед нами созданиями своего темного, не освещенного дробью познаний ума? Отчего же колоссальные памятники индусов так величавы и неизмеримы, отчего аравийские так роскошны и очаровательны? отчего у нас в Европе в средние века так много воздвиглось их в изумительном величии?

Не хотелось бы убедиться в этой грустной мысли, но все говорит, что она истинна. Они прошли — те века, когда вера, пламенная, жаркая вера, устремляла все мысли, все умы, все действия к одному, когда художник выше и выше стремился вознести создание



Дом Гоголя в Васильевке

Фототипия. 1902.

свое к небу, к нему одному рвался и пред ним, почти в виду его, благоговейно подымал молящуюся свою руку. Здание его летело к небу; узкие окна, столпы, своды тянулись нескончаемо в вышину; прозрачный, почти кружевной шпиц, как дым, сквозил над ними, и величественный храм так бывал велик перед обыкновенными жилищами людей, как велики требования души нашей перед требованиями тела.

Была архитектура необыкновенная, христианская, национальная для Европы — и мы ее оставили, забыли, как будто чужую, пренебрегли, как неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три века протекло, и Европа, которая жадно бросалась на всё, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесам древним, римским и византийским, или уродовала их по своим формам,— Европа не знала, что среди ее находятся чуда, перед которыми было ничто все ею виденное, что в недре ее находятся Миланский и Кельнский соборы и еще доныне чернеют кирпичи недоконченной башни Страсбургского мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась пред окончанием средних веков, есть явление такое, какого еще никогда не производил вкус и воображение человека. Ее напрасно производят от арабской: идеи этих двух родов совершенно расходятся; из арабской она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массе здания роскошь украшений и легкость; но самая эта роскошь украшений вылилась у ней совершенно в другую форму. Она обширна и возвышенна, как христианство. В ней все соединено вместе: этот стройно и высоко возносящийся над головою лес сводов, окна огромные, узкие, с бесчисленными изменениями и переплетами, присоединение к этой ужасающей колоссальности массы самых мелких, пестрых украшений; эта легкая паутина резьбы, опутывающая его своею сетью, обвивающая его от подножия до конца шпица и улетающая вместе с ним на небо; величие и вместе красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такие достоинства, которых никогда, кроме этого времени, не вме-

щала в себе архитектура. Вступая в священный мрак этого храма, сквозь который фантастически глядит разноцветный цвет окон, поднявши глаза кверху, где теряются, пересекаясь, стрельчатые своды один над другим, один над другим и им конца нет,— весьма естественно ощутить в душе невольный ужас присутствия святыни, которой не смеет и коснуться дерзновенный ум человека.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Как только энтузиазм средних веков угас и мысль человека раздробилась и устремилась на множество разных целей, как только единство и целость одного исчезло — вместе с тем исчезло и величие. Силы его, раздробившись, сделались малыми; он произвел вдруг во всех родах множество удивительных вещей, но истинно великого, исполинского уже не было. Византийцы, убежавши из своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкус европейцев и колоссальную их архитектуру. Византийцы давно уже не имели древнего аттического вкуса; они уже не имели и первоначального византийского и принесли только испорченные остатки его. Они языческие, круглые, пленительные, сладострастные формы куполов и колонн тщились применить к христианству, и применили так же неудачно, как неудачно привили христианство к своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свежести. Купол вытянулся вверх и сделался почти угловатым; стройные линии, фронтоны как-то странно изломались и произвели ничтожные формы. В таком виде получили эту архитектуру европейцы, которые, с своей стороны, изменили ее еще более, потому что в душе своей еще носили первоначальный образ готический и мысль, совершенно противоположную расслабленной многосторонности греков. Тогда произошли тяжелые дворцы с колоннами, полуколоннами без всякой цели. Все это было робко, мелко. Это была не роскошь, но искаженность простоты. Множество мифологических голов и украшений без смысла, облепив тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили крепких черт ее нежными и не выразили никакой идеи. Стремление в высоту, со-

общавшее величие и легкость самым тяжелым массам, исчезло; вместо того они разъехались в ширину.

Но церкви, строенные в XVII и начале XVIII века, еще менее выражают идею своего назначения. Глядя на них, кажется, чувствуешь то же, как если бы человек грубый начал подделываться под светскую утонченность. В них прямая линия без всякого условия вкуса соединялась с выгнутою и кривою; при полуготической форме всей массы они ничего не имеют в себе готического: окна мелкие, сбитые в кучу или раскиданные без всякой гармонии; пилястры, не тянувшиеся во всю длину здания, но приклеенные иногда вверху, под куполом, иногда на середине, коротенькие, неуклюжие, сверх которых часто находился другой этаж таких же колонн, маленьких, некрасивых; крыша из ломаных линий; при этом часто удерживался и готический шпиц, но уже не тот легкий и прозрачный, который под рукою художника средних веков принимал такую воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летел к небу. Все, что только отзывалось высокими, устремленными кверху готическими деталями, было оставлено как безвкусное.

Хотя в продолжение XVIII века вкус несколько улучшился, но из этого не выиграли мы ровно ничего: он улучшился в веригах чужих форм. Тяжесть готическая была справедливо изгнана совершенно, потому что она в греческой форме была уже до невозможности безобразна. Тогда еще с бо́льшим рвением стали изучать древние формы, но изучали так, как робкие ученики, копирующие с точностью мелочные подробности оригинала и позабывающие об идее целого. Брали части и с необыкновенным излишеством лепили в огромную массу, показавшую еще никогда дотоле небывалое разъединение в целом. Колонны и купол, больше всего прельстившие нас, начали приставлять к зданию без всякой мысли и во всяком месте: они уже не были главною идеею строения, а только частями, или, лучше, украшениями его. Размер самого строения мы увеличили гораздо более, а размер купола в отношении

к строению уменьшили. Мы не посмотрели в увеличительное стекло на строение, которое избрали моделью, не взглянули на него, отошедши на известное расстояние, но смотрели вблизи. Купол сделался ничтожным, малым. Видя его пустынность и одиночество на верху здания, прибавили к нему несколько других, возвысили для этого под ними башни — и куполы стали походить на грибы. И купол — это лучшее, прелестнейшее творение вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который должен был обнять все строение и роскошно отдыхать на всей его массе белою, облачною своей поверхностью,— исчез совершенно. Я люблю купол, тот прекрасный, огромный, легко-выпуклый купол, который возродил роскошный вкус греков в александрийский век и позже, в век наслаждений и эгоизма, век утонченного раздробления жизни, век антологии, легкой, душистой, дышащей сладострастием, ленью и роскошью, когда каждый принадлежал себе, жил для себя, а не для общества, когда на великолепных роскошных банях, везде был виден этот смело-выпуклый, как небесный свод, купол. Ничто не может так сладострастно, так пленительно украсить массу домов, как такой купол. Но для этого он должен быть помещен только на том здании, которое неизмеримо своею шириною и как можно более захватывает пространства; он должен лечь на всей обширной его платформе; он должен быть светлее самого здания, и лучше, если он весь белый. Ослепительная белизна сообщает неизъяснимую очаровательность и полноту его легко-выпуклой форме,— он тогда лучше, роскошнее и облачнее круглится на небе. И доныне города сирийские и антиохские имеют необыкновенную прелесть через то, что удержали некоторое подобие этих куполов; и доныне на Востоке можно встретить их в величавом и огромном виде.

Портик с колоннами, это ясное произведение аттического стройного вкуса, который не терпел над собою никаких надстроек, у нас тоже пропал: ему не догадались дать колоссального размера, раздвинуть во всю ширину здания, возвысить во всю вышину его. Его не развили, не увеличили, но стали употреблять в обык-

новенном виде. Удивительно ли, что здания, которые требовались огромные, казались пусты, потому что фронтоны с колоннами лепилися только над крыльцами их. Громоздимые над ними в церквах, дворцах башни и массы, вовсе ему не отвечавшие, подавили и уничтожили его совершенно. Таким самым образом поэт, не имеющий обширного гения, всегда недоволен одним простым сюжетом, и, вместо того чтобы развить его и сделать огромным, он привязывает к нему множество других; его поэма обременяется пестротою разных предметов, но не имеет одной господствующей мысли и не выражает одного целого.

В начале XIX столетия вдруг распространилась мысль об аттической простоте и так же, как обыкновенно бывает, обратилась в моду и отразилась вдруг на всем, начиная с дамских костюмов, преобразовавшихся в небрежное, легкое одеяние гетер. Казалось, еще ближе присмотрелись к древним, еще глубже изучили их дух; но все, что ни строили по их образцу, все носило отпечаток мелкости и миниатюрности: узнали искусство более связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величие всему целому и определить ему размер, способный вызвать изумление. Это новое стремление решительно было издержано на мелочные беседки, павильоны в садах и подобные небольшие игрушки. Они носили в себе много аттического, но их нужно было рассматривать в микроскоп. В огромных же публичных зданиях не считали за нужное ими руководствоваться; они сделались наконец просты до плоскости. Самое вредное направление архитектуре внушила мысль о соразмерности,—не о той соразмерности, которая должна быть в строении в отношении к нему самому, но просто о соразмерности в отношении к окружающим его зданиям. Это все равно если бы гений стал удерживаться от оригинального и необыкновенного потому только, что перед ним будут слишком уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмерность состояла еще в том, чтобы строение как бы велико ни было в своем объеме, но непременно чтобы казалось малым. Его стали уединять и помещать

на такой огромной и обширной площади, что оно казалось еще более ничтожным. Как будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совсем не велико; как будто бы насильно старались истребить в душе благоговение и сделать человека равнодушным ко всему.

Всем строениям городским стали давать совершенно плоскую, простую форму. Домы старались делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на сараи или казармы, нежели на веселые жилища людей. Совершенно гладкая их форма ничуть не принимала живости от маленьких правильных окон, которые в отношении ко всему строению были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, как совершенством вкуса, и настроили целые города в ее духе! Осмелился бы кто-нибудь даже теперь, среди этой гладко-однообразной кучи, воздвигнуть здание, носившее бы на себе печать особенной, резкой архитектуры, осмелился бы кто-нибудь возле строения в аттическом вкусе непосредственно воздвигнуть готическое — его бы сочли едва ли не сумасшедшим. Оттого новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен, и больше ничего. Напрасно ищет взгляд, чтобы одна из этих беспрерывных стен в каком-нибудь месте вдруг возросла и выбросилась на воздух смелым переломленным сводом или изверглась какою-нибудь башней-гигантом. Старинный германский городок с узенькими улицами, с пестрыми домиками и высокими колокольнями имеет вид, несравненно более говорящий нашему воображению. Даже вид какого-нибудь восточного города, с высокими, тонкими минаретами, с восточными пестрыми куполами, потонувшими в садах, имеет более характера, более дышит поэзией и воображением, нежели наши европейские города позднейшей архитектуры.

Башни огромные, колоссальные необходимы в городе, не говоря уже о важности их назначения для

христианских церквей. Кроме того, что они составляют вид и украшение, они нужны для сообщения городу резких примет, чтобы служить маяком, указывавшим бы путь всякому, не допуская сбиться с пути. Они еще более нужны в столицах для наблюдения над окрестностями. У нас обыкновенно ограничиваются высотою, дающею возможность обглядеть один только город, между тем как для столицы необходимо видеть по крайней мере на полтораста верст во все стороны, и для этого, может быть, один только или два этажа лишних — и все изменяется. Объем кругозора по мере возвышения распространяется необыкновенною прогрессией. Столица получает существенную выгоду, обозревая провинции и заранее предвидя все; здание, сделавшись немного выше обыкновенного, уже приобретает величие; художник выигрывает, будучи более настроен колоссальностию здания к вдохновению и сильнее чувствуя в себе напряжение.

Это направление архитектуры старалось как будто нарочно скрывать свое величие, вместо того чтобы как можно более выказывать его пространству. Нет, не таков закон великого: строение должно неизмеримо возвышаться почти над головою зрителя, чтобы он стал, пораженный внезапным удивлением, едва будучи в состоянии окинуть глазами его вершину. И потому строение всегда лучше, если стоит на тесной площади. К нему может идти улица, показывающая его в перспективе, издали, но оно должно иметь поражающее величие вблизи. Чтобы дорога проходила мимо его! Чтобы кареты гремели у самого его подножия! Чтобы люди лепились под ним и своею малостью увеличивали его величие! Дайте человеку большое расстояние — и он уже будет глядеть выше, гордо на находящиеся пред ним предметы; ему покажется все малым. Мы так непостижимо устроены, наши нервы так странно связаны, что только внезапное, оглушающее с первого взгляда, производит на нас потрясение. И потому вышину строения подымайте в соразмерности с площадью, на которой оно стоит. Если оно с последнего края площади кажется малым и зритель не ощущает изумления, но должен для этого близко подходить к

нему, то здание пропало, а вместе с ним пропали и труды и издержки, употребленные на сооружение его.

Но возвращаюсь к простоте архитектуры, которая заразила наш XIX век. Сами греки чувствовали, что одни прямые линии и совершенная простота строений будут казаться уже чересчур плоскими, особливо если множество такого рода строений соединятся вместе. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строения должна непременно иметь возле себя какую-нибудь противоположность, чтобы быть более оригинальною и заметною, и потому простирали над ними навес древесный. Белизна прямолинейной стены или стройного с колоннами фронтона, выказываясь из-за темной гущи зелени, действительно хороша, потому что составляет контраст с облачным расположением дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающего свои ветви. Как только здание их окружалось другими и находилось среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно более игры. Мысль о дереве и о природе прежде всего приходила им в голову. Но в городе дерево — драгоценность; тогда они чаще начали употреблять не гладкие дорические колонны, но большею частию коринфские, с капителью из завитых листьев. Вообще убирать строения листьями, вьющимися гроздьями винограда или украшениями, носящими неясный образ ветвей дерева, было инстинктом у всех народов. Они невольно, слепо следовали тайному внушению своего вкуса. В готической архитектуре более всего заметен отпечаток, хотя неясный, тесно сплетенного леса, мрачного, величественного, где топор не звучал от века. Эти стремящиеся нескончаемыми линиями украшения и сети сквозной резьбы не что другое, как темное воспоминание о стволе, ветвях и листьях древесных. И потому смело возле готического строения ставьте греческое, исполненное стройности и простоты: оно будет стоять между ними как между величественными, прекрасными деревьями. И готическое и греческое получит от этого двойную прелесть. Истинный эффект заключен в резкой противоположности; красота никогда не бывает так ярка и

видна, как в контрасте. Контраст тогда только бывает дурен, когда располагается грубым вкусом или, лучше сказать, совершенным отсутствием вкуса, но, находясь во власти тонкого, высокого вкуса, он первое условие всего и действует ровно на всех. Разные части его гармонируют между собою по тем же законам, по которым цвет палевый гармонирует с синим, белый с голубым, розовый с зеленым и так далее. Все зависит от вкуса и от умения расположить. Не мешайте только в одном здании множества разных вкусов и родов архитектуры. Пусть каждый носит в себе что-то целое и самобытное, но пусть противуположность между этими самобытными, в отношении их друг к другу, будет резка и сильна. Чем более в городе памятников разных родов зодчества, тем он интереснее, тем чаще заставляет осматривать себя, останавливаться с наслаждением на каждом шагу. Неужели было бы хорошо, если бы в английском саду вместо беспрерывных, неожиданных видов гуляющий находил ту же самую дорожку или по крайней мере так похожую своими окрестностями на виденную им прежде, что она кажется давно известною?

Терпимость нам нужна; без нее ничего не будет для художества. Все роды хороши, когда они хороши в своем роде. Какая бы ни была архитектура — гладкая массивная египетская, огромная ли пестрая индусов, роскошная ли мавров, вдохновенная ли и мрачная готическая, грациозная ли греческая — все они хороши, когда приспособлены к назначению строения, все они будут величественны, когда только истинно постигнуты.

Если бы, однако ж, потребовалось отдать решительное преимущество которой-нибудь из этих архитектур, то я всегда отдам его готической. Она чисто европейская, создание европейского духа и потому более всего прилична нам. Чудное ее величие и красота превосходит все другие. Но из милости, из сострадания не ломайте, не коверкайте ее! Глядите чаще на знаменитый Кельнский собор — там все ее совершенство и величие. Лучшего памятника никогда не производили ни древние, ни новые веки. Я предпочитаю потому

еще готическую архитектуру, что она более дает разгула художнику. Воображение живее и пламеннее стремится в высоту, нежели в ширину. И потому готическую архитектуру нужно употреблять только в церквах и строениях, высоко возносящихся. Линии и бескарнизные готические пилястры, узко одна от другой, должны лететь через все строение. Горе, если они отстоят далеко друг от друга, если строение не перевысило по крайней мере вдвое своей ширины, если не втрое! Оно тогда уничтожилось само в себе. Возносите его таким, каким оно быть должно: чтоб выше, выше, сколько можно выше, поднимались его стены, чтобы гуще, как стрелы, как тополи, как сосны, окружали их бесчисленные угольные столбы! Никакого перереза, или перелома, или карниза, давшего бы другое направление или уменьшившего бы размер строения! Чтобы они были ровны от основания до самой вершины! Огромнее окна, разнообразнее их форму, колоссальнее их высоту! Воздушнее, легче шпиц! Чтобы все, чем более подымалось кверху, тем более бы летело и сквозило. И помните самое главное: никакого сравнения высоты с шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здесь одна законодательная идея — высота.

Я уверен, что некоторые будут утверждать, что постройка здания слишком высокого бесполезна, потому что нам нужно больше места, что высота ни к чему не служит и даром истрачивает материалы. Но я вовсе не советую этот готический образ строений употреблять на театры, на биржи, на какие-нибудь комитеты и вообще на здания, назначаемые для собраний веселящегося, или торгующего, или работающего народа. Со мною согласится всякий, что нет величественнее, возвышеннее и приличнее архитектуры для здания христианскому богу, как готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? Величественного, колоссального, при взгляде на которое мысли устремляются к одному и отрывают молельщика от низкой его хижины. Весьма не мешает вспомнить великую старую истину, что народ не в силах понять религии в такой же самой чистоте и бестелесности, как полу-

чившие высшее образование; что на него более всего производят впечатление видимые предметы; что чем меньше этот видимый предмет на него действует, тем слабее его энтузиазм и простая вера. Великолепие повергает простолюдина в какое-то онемение, и оно-то единственная пружина, двигающая диким человеком. Необыкновенное поражает всякого, но тогда только, когда оно смело, резко и разом бросается в глаза. Здесь уже прочь всякое скряжничество и расчет! В противном случае этот расчет будет не расчет, и выгода, возникшая из него, будет выгода одного человека перед выгодою целого человечества.

Вальтер Скотт первый отряхнул пыль с готической архитектуры и показал свету все ее достоинство. С того времени она быстро распространилась. В Англии все новые церкви строят в готическом вкусе. Они очень милы, очень приятны для глаз, но, увы, истинного величия, дышащего в великих зданиях старины, в них нет. Они, несмотря на стрельчатые окна и шпицы, не сохраняют в целом истинно готического вкуса и уклонились от образцов. Во-первых, они сами по себе вовсе не огромны (великий недостаток готического строения); во-вторых, весь этот лес четырехгранных тонких столбов и линий, союзно стремящихся чрез все строение, позабыт или отвергнут вовсе, оставшаяся чрез это гладкость нечувствительно дает им совершенно другое выражение.

Могущественным словом Вальтер Скотта вкус к готическому распространился быстро везде и проникнул во все. Еще не сделавшись великим, он уже сделался мелким: сельские домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обратилось в готическое. И эти величественные, прекрасные украшения употреблены были на игрушки. Век наш так мелок, желания так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки. Мы имеем чудный дар делать все ничтожным. Египетскую архитектуру, которой весь эффект в колос-

сальности, мы издерживаем на небольшие мостики, на ворота, вершину которых проезжающий кучер может достать рукою. Из готической мы делаем серьги, футляры для часов; греческую мы употребляем в беседках. В публичных же и огромных зданиях показываем такую архитектуру, которую вряд ли можно признать особенным родом: в ней столько безмыслия, такое негармоническое соединение частей, такое отсутствие всякого воображения, что недостает сил назвать ее имеющею свой характер архитектурою.

Есть рудник, о котором едва только знают, что он существует; есть мир совершенно особенный, отдельный, из которого менее всего черпала Европа. Это — архитектура восточная,— архитектура, которая создана одним только воображением, воображением восточным, горячим, чудесным, облекшимся в иперболу и аллегорию, пролетевшим мимо жизни и прозаических нужд ее. Жизнь азиатцев никогда не имела такого многостороннего развития, как европейцев; никогда потребности их не были так разнообразны и бесчисленны, как наши,— и потому очень естественно, что обыкновенные жилища их лишены пестроты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, так же скучны отсутствием всякой мысли, как самый азиатец во время своего покоя. Но зато везде, куда ни проникала только азиатская роскошь, огромная, великолепная, та роскошь, которая блещет в их волшебных сказках, везде, куда ни проникала эта увешанная ожерельями дочь восточного воображения,— там стоят доныне дворцы, великолепие которых изумительно. Строение их захватывало целые веки; целый народ, целая нация над ним трудилась, и предки верили, как в неотразимое предопределение, что здание будет окончено их потомками. Везде, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь или дикий энтузиазм первоначальной их религии, везде громоздились памятники, ужасные своею огромностию, перед которыми мысль немеет от изумления, когда вспомнишь, как бедны были их средства и познания, как ничтожны их машины для поднятия и укрепления этих страшных масс. Еще более изумление овладевает духом, когда

видишь, как почти дикий, неразвившийся человек развился внезапно на этом гигантском здании, как был он проникнут и восторжен мыслью о божестве, что невольно показал разоблачение своего гения и упредил медленные годы векового образования.

Взгляните на этот массивный, величественный Триченгурский храм у индусов, едва ли не одно из первых зданий по величине своей. Это пирамидальное склонение массы кверху, постепенное уменьшение этажей, бездна индийских портиков, облепливающих их стены, пилястры, громоздящиеся над пилястрами, колонны над колоннами, как будто ступающие одна на другую, чтобы скорее достать вершины этой массы,— все это явление совершенно оригинального вкуса. Но если Триченгурский храм слишком уже тяжел и дышит язычеством, взгляните на стройный, прекрасный Кутуб-Минар, которым по справедливости славятся Дельфи. Я не знаю в мире башни, которая бы, при простоте почти аттической, столько дышала глубиною красоты, где бы воображение вылилось так чисто и величаво. Если этот род не может быть совершенно усвоен нами, то европейцы вообще могут заимствовать с пользою это пирамидальное или конусообразное устремление кверху — резкое отличие индийского стиля.

Восточная архитектура дворцов представляет совершенно противоположный род: здесь царство азиатской роскоши. Строение раздается пространнее в ширину. Огромный восточный купол — или совершенно круглый, или выгибающийся, как сладострастная ваза, опрокинутая вниз, или в виде шара, или обремененный, облепленный резьбою и украшениями, как богатая митра,— патриархально властвует над всем зданием; внизу, у самого подножия строения, небольшие куполы целою оградою обходят его пространные стены, как покорные рабы; со всех сторон летят тонкие минареты, представляющие самый очаровательный контраст своею легкою, веселою торнюрою с важным, величественным видом всего здания. Так величественный магометанин, в широком, убранном золотом и каменьями

платье, возлежит среди гурий, стройных, обнаженных, ослепительных своею белизною.

Нигде зодчество не принимало столько разнообразных форм, как на Востоке. Там каждое здание выливалось, можно сказать, всегда мимо прежних условий, или, лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условиями собственного предчувствия, сходствовавшими с прежними разве только в самом отдаленном начале религиозном или национальном. Вся Индия усеяна прекрасными зданиями. Каждое из них сохраняет свое резкое отличие, свой особый отпечаток до такой степени, что их совершенно нельзя подвесть под одну категорию. Множество разных куполов всех возможных форм, вовсе не похожих один на другого, украшений и убранств совсем отличных и всегда новых — все говорит о необыкновенном воображении их, которое не стеснялось никакими правилами. Впрочем, причиною этого разнообразия, может быть, было бесчисленное множество сект, наполняющих Индию, производивших вечную оппозицию, вечную раздражительность воображения. Но более исполнены роскоши очаровательной, которою говорит восточная природа, те здания, которых коснулся вкус аравитян. В Азии, во время этих разрушительных встреч новых и старых народов, особенно магометан, произошло необыкновенное смешение архитектур, произошли самые дерзкие отступления. Но никогда, нигде не соединялось смелое с такою прекрасною роскошью, как у аравитян. Они заимствовали от природы все то, что есть в ней верх прекраснейшего. Их архитектура не носит на себе печати дремучих лесов; она вся состоит из цветов. Она убрана цветами, она потоплена целым морем цветов, прекрасных, роскошных, какими убрана нежная долина Кашемира. Их узорные колонны увенчаны тюльпаном; их резьба в виде незабудок и цветов с четырью лепестками или развивающихся роз; их галереи похожи на ветви пальм, вершинами своими образующих своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цветистого их вкуса. Эта архитектура как-то именно создалась для жизни, отданной наслаждениям, для веселых, светлых жилищ человека. Она решительно

изгнала из себя все мрачное. Здание так прелестно, очаровательно, как восточная красавица с черными, яркими, как молния, глазами, в пестром своем убранстве и драгоценных ожерельях.

Восточная архитектура имеет у себя то, чего никогда еще не употребляли европейцы: это — колонны, не гладкие, но распещренные украшениями от пьедестала до капители. Иногда эти колонны бывают совершенно сквозные и прозрачные: резьба проникает их насквозь. Они составляют пленительнейшее изобретение восточного вкуса. Здание, как бы ни было громоздко, но с такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, нам не перенести их на свою почву? Но ум и вкус человека представляют странное явление: прежде нежели достигнет истины, он столько даст объездов, столько наделает несообразностей, неправильностей, ложного, что после сам дивится своей недогадливости. Обо всех сих памятниках Европа и не заботилась. Один только вкус китайцев, который можно назвать самым мелким, самым ничтожным из всех восточных народов, каким-то поветрием занесся к нам в конце XVIII столетия. Хорошо, что европейцы, по обыкновению своему, тотчас обратили его на мостики, павильоны, вазы, камины, а не вздумали приспособить к большим строениям. Этот вкус, точно, был недурен в безделках, потому что европейцы его тотчас усовершенствовали по-своему и дали ему ту прелесть, которой он сам в себе не имеет, так же как и его народ не имеет энергии, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный род архитектуры, совершенно отличный от всего, доселе показанного мною. Это архитектура катакомб индийских и египетских, где эти два народа так удивительно сошлись между собою и дали повод подозревать древнее между ими родство. Главный характер ее — тяжесть. Здесь все должно соединиться в массу и толщу: здание тяжело ступает, как на слоновых пядях, на коротких, тяжелых колоннах, которых ширина своим диаметром равняется почти с высотою. Здесь уже совершенно всё ширина и масса. На ней как будто отпечаталась тяжесть земли,

внутри которой она скрывает тяжелое свое величие. То, что порок в других родах ее, то здесь достоинство. Эта подземная архитектура имеет что-то также величавое, хотя внушает совершенно другие мысли. Здесь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляет главную идею всего здания. Если художник предположил создать тяжелое и массивное и выполнил это, его творение, верно, будет хорошо; но когда начертал он план тяжелого, а из него вышло вовсе не тяжелое, или, наоборот, когда он замыслил произвесть легкое, а вышло тяжелое, то это уже решительно дурно. Здание это, когда с него сбрасывали землю и оно выходило на свет, представляло всегда странный и вместе страшный вид — как будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, как будто бы мрак очутился вдруг среди яркого света,— мрак, только освещаемый светом, а не прогоняемый им, как египетская урна или мертвая голова среди пиршеств. Мне кажется, напрасно эту архитектуру вгоняют в землю: показавшись вдруг, нечаянно, среди светлых, легких домиков, она должна непременно поразить всякого и произвести свой эффект. Одно такого рода строение среди многолюдного города было бы прелесть, но только одно, не более. В строениях такого рода все части состоят из тяжестей, но при всем том отношения их между собою исполнены какой-то внутренней, несколько страшной гармонии, и создать в этом роде совершенное весьма нелегко.

Египетская архитектура надземная составляет совершенно другой род: она массивна тоже, но стройность и простота в высшей степени с нею неразлучны; главный же ее характер — колоссальность. Чем она глаже снизу доверху, без всяких разделений и резких украшений, тем лучше. Но не употребляйте ее на небольшие мостики: без колоссальности эта архитектура менее нежели ничто. Еще раз повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены все ее условия и если она выбрана совершенно согласно назначению строения. Без этой благонамеренной, беспристрастной терпимости не будет ни истинных талантов, ни ис-

тинно величественных произведений. Прочь этот схоластицизм, предписывающий строения ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу! Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам. Пусть в нем совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшений восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройным размером греческое. Пусть в нем будут видны и легко-выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша итальянская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск. Пусть как можно реже дома сливаются в одну ровную однообразную стену, но клонятся то вверх, то вниз. Пусть разных родов башни как можно чаще разнообразят улицы. Неужели найдется такой смельчак, или, лучше сказать, несмельчак, который бы ровное место в природе осмелился сравнить с видом утесов, обрывов, холмов, выходящих один из-за другого?

Архитектор-творец должен иметь глубокое познание во всех родах зодчества. Он менее всего должен пренебрегать вкусом тех народов, которым мы в отношении художеств обыкновенно оказываем презрение. Он должен быть всеобъемлющ, изучить и вместить в себе все бесчисленные изменения их. Но самое главное — должен изучить все в идее, а не в мелочной наружной форме и частях. Но для того чтобы изучить в идее, нужно быть ему гением и поэтом.

Но обратимся к архитектуре городов. Город нужно строить таким образом, чтобы каждая часть, каждая отдельно взятая масса домов представляла живой пейзаж. Нужно толпе домов придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг врезалась в память и преследовала бы воображение. Есть такие виды, которые век помнишь, и есть такие, которых, при всех усилиях, не можешь заметить в памяти. Зодчество грубее и вместе колоссальнее других искусств, как-то: живописи, скульп-

туры и музыки, и потому эффект его — в эффекте. Масса города имеет уже тем выгоду, что ее вдруг можно изменить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строение среди ее — и она совершенно изменяет вид свой, принимает другое выражение; так, как всякий рисунок ученика вдруг оживляется под кистью или карандашом его учителя, который в одном месте подкрепит, в другом отделит, в третьем только тронет,— и всё уже не то. Притом самые ошибки уже подают идею о том, как избежать их: бесхарактерное подает мысль о характерном, мелкое и плоское вызывают в противоположность дерзкое и необыкновенное, углубление вниз подает идею о возвышении вверх, и наоборот. Гений — богач страшный, перед которым ничто весь мир и все сокровища.

При построении городов нужно обращать внимание на положение земли. Города строятся или на возвышении и холмах, или на равнинах. Город на возвышении менее требует искусства, потому что там природа работает уже сама: то подымает домы на величественных холмах своих и кажет их великанами из-за других домов, то опускает их вниз, чтобы дать вид другим. В таком городе можно менее употреблять разнообразия. В нем можно более употреблять гладких и одинаковых домов, потому что неровное положение земли уже дает им некоторым образом разнообразие, помещая их в разных местоположениях. Нужно наблюдать только, чтобы домы показывали свою вышину один из-за другого, так, чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядит двадцатиэтажная масса. Там мало нужно искусства, где природа одолевает искусство; там искусство только для того, чтобы украсить ее. Но где положение земли гладко совершенно, где природа спит, там должно работать искусство во всей силе. Оно должно пропестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здесь однообразие и простота домов будет большая погрешность. Здесь архитектура должна быть как можно своенравнее: принимать суровую наружность, показывать веселое выражение, дышать древностью, блестеть новостью, обдавать ужасом, сверкать

красотою, быть то мрачной, как день, обхваченный грозою с громовыми облаками, то ясною, как утро в солнечном сиянии. Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе, чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование; бывшее ступенью нашего собственного возвышения[1].

Неужели, однако же, невозможно создание (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежних условий? Когда дикий и малоразвившийся человек, которому одна природа, еще грубо им понимаемая, служит руководством и вдохновением, создает творение, в котором является и красота и тайный инстинкт вкуса,— отчего же мы, которых все способности так обширно развились, которые более видим и понимаем природу во всех ее тай-

[1] Мне прежде приходила очень странная мысль: я думал, что весьма не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись. Чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, прошедши которые зритель видел бы с двух сторон возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, общего первоначальным народам. Потом постепенное изменение ее в разные виды: высокое преображение в колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потом в красавицу — греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее вновь нисходящую к диким временам и вдруг потом поднявшуюся до необыкновенной роскоши — аравийскою; потом дикою готическою, потом готико-арабскою, потом чисто готическою, венцом искусства, дышащею в Кельнском соборе, потом страшным смешением архитектур, происшедшим от обращения к византийской, потом древнею греческою в новом костюме, и, наконец, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы в себе стихии нового вкуса. Эта улица сделалась бы тогда в некотором отношении историею развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все. *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

ных явлениях,— отчего же мы не производим ничего совершенно проникнутого таким богатством нашего познания? Идея для зодчества вообще была черпана из природы, но тогда, когда человек сильно чувствовал на себе ее влияние; теперь же искусство поставил он выше самой природы,— разве не может он черпать своих идей из самого искусства, или, лучше сказать, из гармонического слияния природы с искусством? Рассмотрите только, какую страшную изобретательность показал он на мелких изделиях утонченной роскоши; рассмотрите все эти модные безделицы, которые каждый день являются и гибнут, рассмотрите их хотя в микроскоп, если так они не останавливают вашего внимания,— какого они исполнены тонкого вкуса! какие принимают они совершенно небывалые прелестные формы! Они создаются в таком особенном роде, который еще никогда не встречался. Резьба и тонкая отделка их так незаимствованы и вместе с тем так хороши, что мы иногда долго любуемся ими и, увы! вовсе не ощущаем жалости при виде, как гибнет вкус человека в ничтожном и временном, тогда как он был бы заметен в неподвижном и вечном. Разве мы не можем эту раздробленную мелочь искусства превратить в великое? Неужели все то, что встречается в природе, должно быть непременно только колонна, купол и арка? Сколько других еще образов нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линия может ломаться и изменять направление, сколько кривая выгибаться, сколько новых можно ввести украшений, которых еще ни один архитектор не вносил в свой кодекс! В нашем веке есть такие приобретения и такие новые, совершенно ему принадлежащие стихии, из которых бездну можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемых зданий. Возьмем, например, те висящие украшения, которые начали появляться недавно. Покамест висящая архитектура только показывается в ложах, балконах и в небольших мостиках. Но если целые этажи повиснут, если перекинутся смелые арки, если целые массы вместо тяжелых колонн очутятся на сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится снизу доверху балконами с узорными чугунными перилами,

и от них висящие чугунные украшения, в тысячах разнообразных видов, облекут его своею легкою сетью, и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой прекрасной башни, полетят вместе с нею на небо,— какую легкость, какую эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанных на всем намеков, могущих зародить совершенно необыкновенную живую идею в голове архитектора, если только этот архитектор — творец и поэт [1].

1831

---

[1] Статья эта писана давно. В последнее время вкус в Европе улучшился, и особенно в нашей любезной России. Многие архитекторы уже ей делают честь; из них должно упомянуть о Брюллове, которого здания исполнены истинного вкуса и оригинальности. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

АЛ-МАМУН

(Историческая характеристика)

Ни один государь не принимал правления в такую блестящую эпоху своего государства, как Ал-Мамун. Грозный калифат величественно возвышался на классической земле древнего мира. Он обнимал на востоке всю цветущую юго-западную Азию и замыкался Индиею, на западе он простирался по берегам Африки до Гибралтара. Сильный флот покрывал Средиземное море. Багдад, столица этого нового чудесного мира, видел повеления свои исполняющимися в отдаленных краях провинций; Бассора, Нигабур и Куфа зрели новообращенную Азию, стекающуюся в свои блестящие школы. Дамаск мог одеть всех сластолюбцев дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и араб уже думал, как бы осуществить на земле рай Магомета: создавал водопроводы, дворцы, целые леса пальм, где сладострастно били фонтаны и дымились благовония Востока. И к такому развитию роскоши еще не успела привиться ни одна нравственная болезнь политического общества. Все части этой великой империи, этого магометанского мира, были связаны довольно сильно, и связь эта укреплена была волею необыкновенного Гаруна, который постигнул все разнообразные способности своего народа. Он не был исключительно государь-философ, государь-политик, государь-воин или государь-литератор. Он соединял в себе все,

умел ровно разлить свои действия на все и не доставить перевеса ни одной отрасли над другою. Просвещение чужеземное он прививал к своей нации в такой только степени, чтобы помочь развитию ее собственного. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваний, но все еще были исполнены энтузиазма, и огненные страницы корана перелистывались с тем же благоговением, исполнялись так же раболепно. Гарун умел ускорить весь административный государственный ход и исполнение повелений страхом своей вездесущности. Наместники и эмиры, из которых каждый обыкновенно стремится быть деспотом, опасались встретить всезрящего, переодетого калифа — и правление без законов двигалось крепко и определенно. В таком виде принял государство Ал-Мамун, государь, которого Царьград назвал великодушным покровителем наук, которого имя история внесла в число благодетелей человеческого рода и который замыслил государство политическое превратить в государство муз. Он был одарен всею живостию и способностию к долгому изучению. Его характер исполнен был благородства. Желание истины было его девизом. Он был влюблен в науку, и влюблен совершенно бескорыстно: он любил науку для нее же самой, не думая о ее цели и применении. Он предался ей с исключительною страстью. Тогда аравитяне только что отрыли Аристотеля. Многообъемлющий и точный философ Греции не мог сойтись с их воображением, слишком стремительным, слишком колоссальным и восточным; но аравийские ученые, занимаясь долгое время копотливою работою, уже несколько привыкли к точности и формальности и оттого принялись за него с ученым энтузиазмом. Эти бесконечные выводы, это облечение в видимость и порядок того, что они прежде чувствовали в душе пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашних ученых. Воспитанный под их влиянием, Ал-Мамун, исполненный истинной жажды просвещения, употреблял все старания ввести в свое государство этот чуждый дотоле греческий мир. Багдад распростер дружелюбные длани всему ученому тогдашнему свету. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежал к какому бы то ни

было званию, какой бы ни был он религии, каких бы ни был исполнен противоречащих начал. Естественно, что тогда более всего приносили свои познания в Багдад те, которые еще сохраняли в душе своей образ политеизма, облеченного христианскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммония Саккаса, Плотина и других последователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своих ученых ристаний в Царьграде, слишком занятом спорами о догмах христианства. Багдад превратился в республику разнородных отраслей познаний и мнений. Венценосный араб вслушивался внимательно в усыпительную музыку ученых толкований и тонкостей. Правители государственных мест не могли не увлечься примером государя, и тогда высшие ступени государства обняла какая-то литературная мономания. Визири и эмиры старались окружить свой двор учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была как будто чем-то второстепенным, что правители должны были многое, относящееся к управлению, поверять усмотрению своих секретарей и любимцев, что эти любимцы были иногда вовсе невежды, часто получали пронырствами места, что все это должно было отозваться на народе и впоследствии времени обрушиться на самих правителей. Толпа теоретических философов и поэтов, занявших правительственные места, не может доставить государству твердого правления. Их сфера совершенно отдельна; они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге. Отсюда исключаются те великие поэты, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Они — великие жрецы. Мудрые властители чествуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца.

Благородный Ал-Мамун истинно желал сделать счастливыми своих подданных. Он знал, что верный путеводитель к тому — науки, клонящиеся к развитию



Мария Ивановна Гоголь-Яновская, мать писателя

Фотография. 1860-е гг.

человека. Он всеми силами заставлял своих подданных принимать вводимое им просвещение. Но просвещение, вводимое Ал-Мамуном, менее всего отвечало природным элементам и колоссальности воображения арабов. Лишенные энергии начала политеизма, обратившиеся в кучу слов, дерзко обезображенные идеи христианства, странно озарившие тогдашние науки, не слившиеся с ними, но, можно сказать, уничтожившие их своим преобладанием, представляли совершенный контраст пламенной природе араба, у которого воображение слишком потопляло тощие выводы холодного ума. Этот чудный народ не шел, а летел к своему развитию. Гений его вдруг оказывался в войне, торговле, искусствах, мануфактурах и в роскошной поэзии Востока. Его доселе небывалые в истории человечества стихии вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этот народ обещал дотоле невиданное совершенство нации. Но Ал-Мамун не понял его. Он упустил из вида великую истину, что образование черпается из самого же народа, что просвещение наносное должно быть в такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных стихий. Но для араба поле подвигов было заграждено этим бесплодным чужестранным просвещением. Самый космополитизм Ал-Мамуна, открывавшего вход в государство ученым всех партий, уже зашел несколько далеко. Выгоды, которые в государстве получали христиане, не могли не возродить в собственных его подданных ненависти, а вместе и презрения к самым даже полезным их учреждениям,— и народ уже терял любовь к своему калифу. В правлении Ал-Мамун был больше философ-теоретик, нежели философ-практик, каким бы должен быть государь. Он знал жизнь своего народа из описаний, из рассказов других, а не изведал сам, как очевидец, как изведал его великий Гарун. В азиатских образах правления, не имеющих определенных законов, вся административная часть падает на самого монарха, и потому деятельность его должна быть необыкновенна, внимание его должно быть вечно напряжено; он не может ввериться совершенно

никому, и глаз его должен иметь многосторонность Аргуса: минуту засни он — и его полномочные наместники вдруг возрастают, и государство наполняется миллионами деспотов. Но Ал-Мамун в своем Багдаде жил как в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отдельном от мира политического. Христиане, которые стали наконец вмешиваться в административные должности, не могли узнать народного духа и обычаев земли. Притом самое иноверство их было невыносимо для араба, еще сохранявшего энтузиазм и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устах всех ученых тогдашнего века, когда его гостеприимство привлекало пестрые флаги к берегам сирийским, власть его внутри государства становилась между тем слабее. Жители провинций, никогда не видавшие своего калифа, мало дорожили его именем. Военная сила ослабла. Просвещение обыкновенно стремилось из Багдада, как из центра, уменьшаясь и угасая по мере приближения к отдаленным границам. На границах арабы еще сохраняли свой первый период. На границах стояли войска, еще полные фанатизма, еще стремившиеся огнем и мечом водружать веру Магомета. Сильные эмиры их, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамун уже при жизни своей видел отторжение Персии, Индии и дальних провинций Африки. Но, может быть, все это неверное направление администрации было бы еще исправимое зло, если бы Ал-Мамун не простер уже слишком далеко своей любви к истине. Он захотел быть религиозным реформатором своей нации. Исполненный ума чисто теоретического, будучи выше суеверий и предрассудков, будучи ближе познакомлен с некоторыми догмами христианства, нежели его предшественники, он не мог не видеть всех бесчисленных противоречий, пламенных нелепостей, которые вырывались всеместно в постановлениях исступленного творца корана. Он решился очистить и преобразовать священную книгу магометан и — в то самое время, когда еще все низшие государственные ступени, вся чернь была уверена, что она принесена с неба, и когда усомниться в маловажном постановлении ее уже считалось вели-

чайшим преступлением. Полугреческий образ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слепого энтузиазма его подданных. Первым шагом к образованию своего народа он почитал истребление энтузиазма, того энтузиазма, который составлял существование народа аравийского, того энтузиазма, которому он обязан был всем своим развитием и блестящею эпохою, подорвать который — значило подорвать политический состав всего государства. Ему нелепее, несообразнее всего казался Магометов рай, куда араб переносил всю чувственную земную жизнь свою, жизнь, назначенную для наслаждения и сладострастия. Но Ал-Мамун не принял в соображение того, что это постановление изверглось из огненного аравийского климата, из огненной природы араба, что этот рай для магометанина есть великий оаз среди пустыни его жизни, что надежда в этот рай одна только заставляла чувственного араба терпеливо сносить бедность, притеснение, подавлять в душе своей зависть при виде утопающего в роскоши сибарита. Мысль, что и он будет наконец находиться среди гурий, среди роскоши, превышающей роскошь земных владык, одна могла быть доступна для такой чувственности и цветистости воображения, какими природа наделила араба, и что, может быть, с дальнейшим только развитием его могла нечувствительно очиститься его вера. Но Ал-Мамун не постигал азиатской природы своих подданных.

Можно себе представить силу негодования многочисленного класса народа, когда распространились вести о преобразованиях калифовых. Как должен был принять это народ, который уже за одно покровительство христианам и привязанность к иностранцам обвинял гласно калифа в мотализме или ереси? Грубая толпа прежних точных исполнителей корана жестоким упорством своим наконец заставила калифа взяться за оружие. И благородный, великодушный Ал-Мамун, проникнутый истинною любовию к человечеству, явился гонителем своих подданных. Гонением своим он воскресил опять в арабах дикий фанатизм, но уже не тот фанатизм, который сдвинул прежде кочевых обитателей Аравии в одну массу,— он произвел оппози-

ционный фанатизм, который растерзал массу, который посеял плевелы в недрах государства, который разбудил дикие страсти араба, который дал нож и яд ненависти в руки исступленных последователей ислама, который произвел множество ослепленных сект и ужаснее всего секту карматианов, долго еще свирепствовавшую под именем Сирийских Убийц во время крестовых походов. Среди волнений, оказывавшихся в разных концах государства, среди смут и партий, рассыпая одною рукою благодеяния и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорных, исступленных своих подданных, умер благородный Ал-Мамун,— умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом. Во всяком случае, он дал поучительный урок. Он показал собою государя, который при всем желании блага, при всей кротости сердца, при самоотвержении и необыкновенной страсти к наукам был, между прочим, невольно одною из главных пружин, ускоривших падение государства.

<1834>

О МАЛОРОССИЙСКИХ ПЕСНЯХ

Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества и державшиеся в одном народе. До того времени одна только очаровательная музыка их изредка заносилась в высший круг, слова же оставались без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства. Даже музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный композитор безжалостно разрывал ее и клеил в свое бесчувственное, деревянное создание[1]. Но лучшие песни и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стенящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народных песен. Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического и он, при всей многосторонности ее, не получил высшей цивилизации, то весь пыл,

[1] Впрочем, любители музыки и поэзии могут несколько утешиться: недавно издано прекрасное собрание песен Максимовичем, и при нем голоса, переложенные Алябьевым. *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

все сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии —всё: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России. Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции; в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлетворен вполне: история народа разоблачится перед ним в ясном величии.

Песни малороссийские могут вполне назваться историческими, потому что они не отрываются ни на миг от жизни и всегда верны тогдашней минуте и тогдашнему состоянию чувств. Везде проникает их, везде в них дышит эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свежестью, с карими очами, с ослепительным блеском зубов, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарелая мать, разливающаяся, как ручей, слезами, которой всем существованием завладело одно материнское чувство,— ничто не в силах удержать его. Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьев — все заменяет ватага гульливых рыцарей набегов. Узы этого братства для него выше всего, сильнее любви. Сверкает Черное море; вся чудесная; неизмеримая степь от Тамана до Дуная — дикий океан цветов колышется одним налетом ветра; в беспредельной глубине неба тонут лебеди и журавли; умирающий

козак лежит среди этой свежести девственной природы и собирает все силы, чтобы не умереть, не взглянув еще раз на своих товарищей.

То ще добре козацька голова знала,
Що без вийска козацького не вмирала.

Увидевши их, он насыщается и умирает. Выступает ли козацкое войско в поход с тишиною и повиновением; извергает ли из самопалов потоп дыма и пуль; кружает ли вольно мед, вино; описывается ли ужасная казнь гетмана, от которой дыбом подымается волос, мщение ли козаков, вид ли убитого козака с широко раскинутыми руками на траве, с разметанным чубом, клекты ли орлов в небе, спорящих о том, кому из них выдирать козацкие очи,— все это живет в песнях и окинуто смелыми красками. Остальная половина песней изображает другую половину жизни народа: в них разбросаны черты быта домашнего; здесь во всем совершенная противуположность. Там одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здесь, напротив, один женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовию. Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих мужей, любовников, мелькнувших перед ними в своем пышном военном убранстве, как сновидение, как мечта. Оттого любовь их делается чрезвычайно поэтическою. Свежая, невинная, как голубка, молодая супруга вдруг узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ее, проведенное с этим мощным, вольным питомцем войны, столпило для нее радость всей жизни в одно быстро мелькнувшее мгновение. Против него ничто вся остальная жизнь; она живет одним этим мгновением. Тоскуя ждет она с утра до вечера возврата своего чернобрового супруга.

Ой чорные бровенята!
Лыхо мини з вами:
Не хочете ночеваты
Ни ноченьки сами.

Она вся живет воспоминанием. Все, на что они глядели вместе, куда они вместе ходили, что вместе гово-

рили,— все это припоминает она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видит в природе, дышащей жизнью, и даже к бесчувственным предметам, и всем им говорит и жалуется. И как просты, как поэтически-просты ее исполненные души речи! Ко всему применяет она состояние свое и не может наговориться, потому что человек многоречив всегда, когда в его грусти заключается тайная сладость. Наконец с тихим, но безнадежным отчаянием говорит она:

Да вжеж мини не ходыты,
Куды я ходыла!
Да вжеж мини не любиты,
Кого я любила!
Да вжеж мини не ходыты
Ранком по-пид замком!
Да вжеж мини не стояты
Из моим коханком!
Да вжеж мини не ходыты
В лиски по оришки!
Да вжеж мини минулися
Дивоцкие смишки!

Чтобы сколько-нибудь сделать доступною для не знающих малороссийского языка глубину чувств, рассыпанных в этих песнях, привожу одну из них в переводе:

Рассердился, разгневался на меня мой милый! Вот он седлает своего вороного коня и едет далеко, далеко от меня.

Куда же ты, мой милый, голубчик мой сизый, куда ты уезжаешь? Кому ты меня, беззащитную, молодую, кому оставляешь?

«Оставляю тебя, моя милая, одному богу. Жди меня, пока не возвращусь из дальней дороги».

О, если б я знала, если бы видела, откуда будет ехать мой милый: я бы ему по всей дороге мостила мосты из зеленого тростника и все бы ждала его в гости.

Боже всесильный! Выровняй все долины и горы, чтобы везде было ровно, чтобы оттоле ему до самого дому было хорошо ехать.

Чу! луга шумят, берега звенят, по дороге зеленеет трава — это он! это мой милый едет!

Чу! луга шумят, берега звенят, расцветает калина — верно, где-нибудь мой милый, голубчик мой сизый, с другою разговаривает.

Зачем же ты не приехал, зачем не прилетел, как я тебе говорила? Коня ли не имел, дороги ли не знал, или мать не велела тебе?

«Я коня имею; я и дорогу знаю; и мать еще вчера с вечера велела мне седлать коня.

Но только лишь сяду на коня, только лишь выеду за ворота, как уже бежит за мною другая и так жалко стонет, так плачет, что тоска ее хватает за самое сердце».

Можно привесть до тысячи подобных песен, может быть даже гораздо лучших. Все они благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Везде новые краски, везде простота и невыразимая нежность чувств. Где же мысли в них коснулись религиозного, там они необыкновенно поэтически. Они не изумляются колоссальным созданиям вечного творца: это изумление принадлежит уже ступившему на высшую ступень самопознания; но их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к богу, как дети к отцу; они вводят его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное его изображение становится у них величественным в самой простоте своей. От этого самые обыкновенные предметы в песнях их облекаются невыразимою поэзией, чему еще более помогают остатки обрядов древней славянской мифологии, которые они покорили христианству. Часто тоскующая дева умоляет бога, чтобы он засветил на небе восковую свечку, пока ее милый перебредет через реку Дунай. На всем печать чистого первоначального младенчества, стало быть и высокой поэзии. Изложение песней их, как женских так и козацких, почти всегда драматическое — признак развития народного духа и деятельной, беспокойной жизни, долго обнимавшей народ. Песни их почти никогда не обращаются в описательные и не занимаются долго изображением природы. Природа у них едва только скользит в куплете; но тем не менее черты ее так новы, тонки, резки, что представляют весь предмет. Впрочем, к ним прибегают для того только, чтобы сильнее выразить чувства души, и потому явления природы послушно влекутся у них за явлениями чувства. То же самое у них представляется разом и во внешнем и во внутреннем мире. Часто вместо целого внешнего находится только одна резкая черта, одна часть его. В них нигде нельзя найти подобной фразы:

был вечер; но вместо этого говорится то, что бывает вечером, например:

Шли коровы из дубровы, а овечки с поля.
Выплакала кари очи, край милого стоя.

Оттого весьма многие, не поняв, считали подобные обороты бессмыслицей. Чувство у них выражается вдруг, сильно, резко и никогда не охлаждается длинным периодом. Во многих песнях нет одной общей мысли, так что они походят на ряд куплетов, из которых каждый заключает в себе отдельную мысль. Иногда они кажутся совершенно беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно; и так как взгляд народа жив, то обыкновенно те предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помещаются и в песни; но зато из этой пестрой кучи вышибаются такие куплеты, которые поражают самою очаровательною безотчетностью поэзии. Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов разом соединяются в них. Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят его от всего. Это примечается даже в самых заунывных песнях, которых раздирающие звуки с болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться из души человека в обыкновенном состоянии, при настоящем воззрении на предмет. Только тогда, когда вино перемешает и разрушит весь прозаический порядок мыслей, когда мысли непостижимо странно в разногласии звучат внутренним согласием,— в таком-то разгуле, торжественном, больше нежели веселом, душа, к непостижимой загадке, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдение! Весь таинственный состав его требует звуков, одних звуков. Оттого поэзия в песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; и потому-то часто самая лучшая песня

остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием.

Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длинна; если же это и случается, то цезура посередине, с звонкою рифмою, перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются; большею частию быстрые хореи, дактили, амфиврахии летят шибко один за другим, прихотливо и вольно мешаются между собою, производят новые размеры и разнообразят их до чрезвычайности. Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих. Верность и музыкальность уха — общая принадлежность их. Часто вся строка созвукивается с другою, несмотря, что иногда у обеих даже рифмы нет. Близость рифм изумительна. Часто строка два раза терпит цезуру и два раза рифмуется до замыкающей рифмы, которой сверх того дает ответ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на середине. Иногда встречается такая рифма, которую, по-видимому, нельзя назвать рифмою, но она так верна своим отголоском звуков, что нравится иногда более, нежели рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке.

Характер музыки нельзя определить одним словом: она необыкновенно разнообразна. Во многих песнях она легка, грациозна, едва только касается земли и, кажется, шалит, резвится звуками. Иногда звуки ее принимают мужественную физиогномию, становятся сильны, могучи, крепки; стопы тяжело ударяют в землю, и кажется, как будто бы под них можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ее становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь в которые танцующий чувствует себя исполином: душа его и все существование раздвигается, расширяется до беспредельности. Он отделяется вдруг от земли, чтобы сильнее ударить в нее блестящими подковами и взнестись опять на воздух. Что же касается до музыки грусти, то она нигде не слышна так, как у них. Тоска ли

это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на бесприютное положение тогдашней Малороссии... но звуки ее живут, жгут, раздирают душу. Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни: она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью: звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят,— говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острое железо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится в ней так сильно, что заслушавшийся забывается и чувствует, что надежда давно улетела из мира. В другом месте отрывистые стенания, вопли, такие яркие, живые, что с трепетом спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирепое насилие вырывает младенца, чтобы с зверским смехом расшибить его о камень. Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния. По ним, по этим звукам, можно догадываться о ее минувших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим с низу до вершины освеженные деревья, когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник деревенского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю.

1833

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

(Картина Брюллова)

Картина Брюллова — одно из ярких явлений XIX века. Это — светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полулетаргическом состоянии. Не стану говорить о причине этого необыкновенного застоя, хотя она представляет занимательный предмет для исследования; замечу только, что если конец XVIII столетия и начало XIX века ничего не произвели полного и колоссального в живописи, то зато они много разработали ее части. Она распалась на бесчисленные атомы и части. Каждый из этих атомов развит и постигнут несравненно глубже, нежели в прежние времена. Заметили такие тайные явления, каких прежде никто не подозревал. Вся та природа, которую чаще видит человек, которая его окружает и живет с ним, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великие художники, достигли изумительной истины и совершенства. Все наперерыв старались заметить тот живой колорит, которым дышит природа. Все тайное в ее лоне, весь этот немой язык пейзажа подмечены, или, лучше сказать, украдены, вырваны из самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя все произведения этого века похожи более на опыты, или, лучше сказать, записки, материалы, свежие мысли, которые наскоро вносит путешественник в свою книгу с тем, чтобы не позабыть их

и чтобы составить из них после нечто целое. Живопись раздробилась на низшие ограниченные ступени: гравировка, литография и многие мелкие явления были с жадностью разрабатываемы в частях. Этим обязаны мы XIX веку. Колорит, употребляемый XIX веком, показывает великий шаг в знании природы. Взгляните на эти беспрестанно появляющиеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые решительно в XIX веке определили слияние человека с окружающею природою: как в них делится и выходит окинутая мраком и освещенная светом перспектива строений! как сквозит освещенная вода, как дышит она в сумраке ветвей! как ярко и знойно уходит прекрасное небо и оставляет предметы перед самыми глазами зрителя! какое смелое, какое дерзкое употребление теней там, где прежде вовсе их не подозревали! и вместе, при всей этой резкости, какая роскошная нежность, какая подмечена тайная музыка в предметах обыкновенных, бесчувственных! Но что сильнее всего постигнуто в наше время, так это освещение. Освещение придает такую силу и, можно сказать, единство всем нашим творениям, что они, не имея слишком глубокого достоинства, показывающего гений, необыкновенно приятны для глаз. Они общим выражением своим не могут не поразить, хотя, внимательно рассматривая, иногда увидишь в творце их необширное познание искусства.

Возьмите все беспрестанно являющиеся гравюры, эти отпрыски яркого таланта, в которых дышит и веет природа так, что они кажутся как будто оцвечены колоритом. В них заря так тонко светлеет на небе, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблеск вечера; деревья, облитые сиянием солнца, как будто покрыты тонкою пылью; в них яркая белизна сладострастно сверкает в самом глубоком мраке тени. Рассматривая их, кажется, боишься дохнуть на них. Весь этот эффект, который разлит в природе, который происходит от сражения света с тенью, весь этот эффект сделался целью и стремлением всех наших артистов. Можно сказать, что XIX век есть век эффектов. Всякий, от первого до последнего, торопится произвесть эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти

эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, XIX век, по странной причуде своей, наконец обратится ко всему безэффектному. Впрочем, можно сказать, что эффекты более всего выгодны в живописи и вообще во всем том, что видим нашими глазами. Там, если они будут ложны и неуместны, то их ложность и неуместность тотчас видна всякому. Но в произведениях, подверженных духовному оку, совершенно другое дело. Там они если ложны, то вредны тем, что распространяют ложь, потому что простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее. В руках истинного таланта они верны и превращают человека в исполина; но когда они в руках поддельного таланта, то для истинного понимателя они отвратительны, как отвратителен карло, одетый в платье великана, как отвратителен подлый человек, пользующийся незаслуженным знаком отличия. Но все это, однако ж, не относится к нынешнему делу. Должно признаться, что в общей массе стремление к эффектам более полезно, нежели вредно: оно более двигает вперед, нежели назад, и даже в последнее время подвинуло все к усовершенствованию. Желая произвести эффект, многие более стали рассматривать предмет свой, сильнее напрягать умственные способности. И если верный эффект оказывался большею частию только в мелком, то этому виною безлюдие крупных гениев, а не огромное раздробление жизни и познаний, которым обыкновенно приписывают. Притом стремление к эффектам обделало многие мелкие части чрезвычайно удовлетворительно и резкою своею очевидностию сделало их доступными для всех. Не помню, кто-то сказал, что в XIX веке невозможно появление гения всемирного, обнявшего бы в себе всю жизнь XIX века. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается каким-то малодушием. Напротив, никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешние времена; никогда не были для него так хорошо приготовлены материалы, как в XIX веке. И его шаги уже, верно, будут исполински и видимы всеми от мала до велика.

Картина Брюллова может назваться полным, всемирным созданием. В ней все заключилось. По крайней

мере она захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою. Всякому известны прекрасные создания, к которым принадлежат «Видение Валтазара», «Разрушение Ниневии» и несколько других, где в страшном величии представлены великие катастрофы, которые составляют совершенство освещения, где молния в грозном величии озаряет ужасный мрак и скользит по верхушкам голов молящегося народа. Общее выражение этих картин поразительно и исполнено необыкновенного единства; но в них вообще только одна идея этой мысли. Они похожи на отдаленные виды; в них только общее выражение. Мы чувствуем только страшное положение всей толпы, но не видим человека, в лице которого был бы весь ужас им самим зримого разрушения. Ту мысль, которая виделась нам в такой отдаленной перспективе, Брюллов вдруг поставил перед самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и как будто нас самих захватила в свой мир. Создание и обстановку своей мысли произвел он необыкновенным и дерзким образом: он схватил молнию и бросил ее целым потопом на свою картину. Молния у него залила и потопила все, как будто бы с тем, чтобы все выказать, чтобы ни один предмет не укрылся от зрителя. Оттого на всем у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры он кинул сильно такою рукою, какою мечет только могущественный гений: эта вся группа, остановившаяся в минуту удара и выразившая тысячи разных чувств; этот гордый атлет, издавший крик ужаса, силы, гордости и бессилия, закрывшийся плащом от летящего вихря каменьев; эта грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся в такой красоте руку; этот ребенок, вонзивший в зрителя взор свой; этот несомый детьми старик, в страшном теле которого дышит уже могила, оглушенный ударом, которого рука окаменела в воздухе с распростертыми пальцами;



Последний день Помпеи

С картины К. Брюллова. 1833.

мать, уже не желающая бежать и непреклонная на моления сына, которого просьбы, кажется, слышит зритель; толпа, с ужасом отступающая от строений и со страхом, с диким забвением страха взирающая на страшное явление, наконец знаменующее конец мира; жрец в белом саване, с безнадежною яростью мечущий взгляд свой на весь мир,— все это у него так мощно, так смело, так гармонически сведено в одно, как только могло это возникнуть в голове гения всеобщего.

Я не стану изъяснять содержание картины и приводить толкования и пояснения на изображенные события. Для этого у всякого есть глаз и мерило чувства; притом же это слишком очевидно, слишком касается жизни человека и той природы, которую он видит и понимает, потому-то они доступны всем от мала до велика; я замечу только те достоинства, те резкие отличия, которые имеет в себе стиль Брюллова, тем более что эти замечания, вероятно, сделали немногие. Брюллов первый из живописцев, у которого пластика достигла верховного совершенства. Его фигуры, несмотря на ужас всеобщего события и своего положения, не вмещают в себе того дикого ужаса, наводящего содрогание, каким дышат суровые создания Микеля-Анжела. У него нет также того высокого преобладания небесно-непостижимых и тонких чувств, которыми весь исполнен Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своею красотою. У него не так, как у Микеля-Анжела, у которого тело только служило для того, чтобы показать одну силу души, ее страдания, ее вопль, ее грозные явления; у которого пластика погибала, контура человека приобретала исполинский размер, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою; у которого являлся не человек, но только его страсти. Напротив того, у Брюллова является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, верные, огненные, выражаются на таком прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения. Когда я глядел в третий, в четвертый раз, мне казалось, что скульптура — та скульптура, которая была постигнута в

таком пластическом совершенстве древними,— что скульптура эта перешла наконец в живопись и сверх того проникнулась какой-то тайной музыкой. Его человек исполнен прекрасно-гордых движений; женщина его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими чертами,— она женщина страстная, сверкающая, южная, итальянка во всей красе полудня, мощная, крепкая, пылающая всею роскошью страсти, всем могуществом красоты,— прекрасная, как женщина. Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен. Все общие движения групп его дышат мощным размером и в своем общем движении уже составляют красоту. В создании их он так же крепко и сильно правит своим воображением, как житель пустыни арабским бегуном своим. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще во всей картине выказывается отсутствие идеальности, то есть идеальности отвлеченной, и в этом-то состоит ее первое достоинство. Явись идеальность, явись перевес мысли, и она бы имела совершенно другое выражение, она бы не произвела того впечатления; чувство жалости и страстного трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и верной истины, утратилась бы вовсе. Нам не разрушение, не смерть страшны — напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение; нам жалка наша милая чувственность, нам жалка прекрасная земля наша. Он постигнул во всей силе эту мысль. Он представил человека как можно прекраснее; его женщина дышит всем, что есть лучшего в мире. Ее глаза, светлые, как звезды, ее дышащая негою и силою грудь обещают роскошь блаженства. И эта прекрасная, этот венец творения, идеал земли, должна погибнуть в общей гибели, наряду с последним презренным творением, которое недостойно было и ползать у ног ее. Слезы, испуг, рыдание — все в ней прекрасно.

Видимое отличие или манера Брюллова уже представляет тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шаг. В его картинах целое море блеска. Это

его характер. Тени его резки, сильны; но в общей массе тонут и исчезают в свете. Они у него, так же как в природе, незаметны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекрасного тела у него как будто просвечивает и кажется фарфоровою; свет, обливая его сиянием, вместе проникает его. Свет у него так нежен, что кажется фосфорическим. Самая тень кажется у него как будто прозрачною и, при всей крепости, дышит какою-то чистою, тонкою нежностию и поэзией.

Его кисть остается навеки в памяти. Я прежде видел одну только его картину — семейство Витгенштейна. Она с первого раза, вдруг, врезалась в мое воображение и осталась в нем вечно в своем ярком блеске. Когда я шел смотреть картину «Разрушение Помпеи», у меня прежняя вовсе вышла из головы. Я приближался вместе с толпою к той комнате, где она стояла, и на минуту, как всегда бывает в подобных случаях, я позабыл вовсе о том, что иду смотреть картину Брюллова; я даже позабыл о том, есть ли на свете Брюллов. Но когда я взглянул на нее, когда она блеснула передо мною, в мыслях моих, как молния, пролетело слово: «Брюллов!» Я узнал его. Кисть его вмещает в себе ту поэзию, которую только чувствуешь и можешь узнать всегда: чувства наши всегда знают и видят даже отличительные признаки, но слова их никогда не расскажут. Колорит его так ярок, каким никогда почти не являлся прежде, его краски горят и мечутся в глаза. Они были бы нестерпимы, если бы явились у художника градусом ниже Брюллова, но у него они облечены в ту гармонию и дышат тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признак, и что выше всего в Брюллове,— так это необыкновенная многосторонность и обширность гения. Он ничем не пренебрегает: все у него, начиная от общей мысли и главных фигур, до последнего камня на мостовой, живо и свежо. Он силится обхватить все предметы и на всех разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художник прежних времен всегда почти избирал себе какую-нибудь

одну сторону и в нее погружал весь талант свой, развивавшийся оттого в необыкновенном и каком-то отвлеченном величии. Рафаэль обыкновенно писал одни только лица, одно развитие на них небесных страстей и помышлений; все прочее, даже одежду, бросал он доделывать ученикам своим. Все другие великие художники, настроенные высокостью религиозною или высокостью страстей, небрегли об окружающем и второстепенном в их картинах. У них небо является всегда бурое; облака похожи более на копны сена или на гранитные массы; дерево или детски однообразно своею правильностью, или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюллова, напротив, все предметы, от великих до малых, для него драгоценны. Он силится схватить природу исполинскими объятиями и сжимает ее с страстью любовника. Может быть, в этом ему помогла много раздробленная разработка в частях, которую приготовил для него XIX век. Может быть, Брюллов, явившись прежде, не получил бы такого разностороннего и вместе полного и колоссального стремления. Оттого-то его произведения, может быть, первые, которые живостью, чистым зеркалом природы доступны всякому. Его произведения первые, которые может понимать (хотя неодинаково) и художник, имеющий высшее развитие вкуса, и не знающий, что такое художество. Они первые, которым сужден завидный удел пользоваться всемирною славою, и высшею степенью их есть до сих пор — *Последний день Помпеи*, которую, по необыкновенной обширности и соединению в себе всего прекрасного, можно сравнить разве с оперою, если только опера есть действительно соединение тройственного мира искусств: живописи, поэзии и музыки.

1834, августа

СТАТЬИ,

напечатанные в «Современнике»
1836—1837 гг.

О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в 1834 и 1835 году

Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход все выходящее наружу в книжном мире, и которое без того было бы, в обоих смыслах, мертвым капиталом. Она — быстрый, своенравный размен всеобщих мнений, живой разговор всего тиснимого типографскими станками; ее голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века, мнений, без нее бы исчезнувших безгласно. Она волею и неволею захватывает и увлекает в свою область девять десятых всего, что делается принадлежностию литературы. Сколько есть людей, которые судят, говорят и толкуют потому, что все суждения поднесены им почти готовые, и которые сами от себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. Итак, журнальная литература во всяком случае имеет право требовать самого пристального внимания.

Может быть, давно у нас не было так резко заметно отсутствия журнальной деятельности и живого современного движения, как в последние два года. Бесцветность была выражением большей части повременных изданий. Многие старые журналы прекратились, другие тянулись медленно и вяло; новых, кроме «Библиотеки для чтения» и впоследствии «Московского на-

блюдателя», не показалось, между тем как именно в это время была заметна всеобщая потребность умственной пищи и значительно возросло число читающих. Как ни бедна эта эпоха, но она такое же имеет право на наше внимание, как и та, которая бы кипела движением, ибо также принадлежит истории нашей словесности. Читатели имели полное право жаловаться на скудость и постный вид наших журналов: «Телеграф» давно потерял тот резкий тон, который давало ему воинственное его положение в отношении журналов петербургских; «Телескоп» наполнялся статьями, в которых не было ничего свежего, животрепещущего. В это время книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностию и добросовестностию, который один только, к стыду прочих недальнозорких своих товарищей, показал предприимчивость и своими оборотами дал движение книжной торговле, — книгопродавец Смирдин решился издавать журнал обширный, энциклопедический, завоевать всех литераторов, сколько ни есть их в России, и заставить их участвовать в своем предприятии. В программе были выставлены имена почти всех наших писателей. Профессор арабской словесности, г. Сенковский, взялся быть распорядителем журнала; к нему был присоединен редактор г. Греч, известный уже постоянным изданием двух журналов: «Северной пчелы» и «Сына отечества». Не знаем, сами ли они взялись за сие дело, или упрошены были г. Смирдиным; но в том и другом случае книгопродавец, по общему мнению, поступил несколько неосмотрительно. Успевши соединить для своего издания такое множество литераторов, он должен был предоставить их суду избрание редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важном вопросе: должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение, или быть складочным местом всех мнений и толков. Журнал на сей счет отозвался глухо, обыкновенным объявлением, что критика будет самая благонамеренная и беспристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, — обещание, которое дает всякий журналист. С выходом первой книжки публика ясно увидела, что в журнале гос-

подствует тон, мнения и мысли *одного*, что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взята была только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков.

Книгопродавец Смирдин исполнил с своей стороны все, чего публика вправе была *от него* требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показал он и в издании журнала. Журнал выходил с необыкновенною исправностию: подписчики вместе с первым числом каждого месяца встречали толстую книгу, какой у нас в прежнее время ни одна типография не могла бы поставить в два месяца. Вместо обещанного числа, осьмнадцати листов в месяц, выходило иногда вдвое более. Теперь рассмотрим, исполнили ли долг те, которым он вверил внутреннее распоряжение журнала. Главным деятелем и движущею пружиною всего журнала был г. Сенковский. Имя г. Греча выставлено было только для формы — по крайней мере никакого действия не было заметно с его стороны. Г. Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно почтенного, пожилого человека приглашают в посаженые отцы на все свадьбы. Но какая цель была редакции этого журнала, какую задачу предположила она решить? Здесь поневоле должны мы задуматься, что, без сомнения, сделает и читатель. В программе ничего не сказал г. Сенковский о том, какой начертал для себя путь, какую выбрал себе цель; все увидели только, что он взошел незаметно в первый номер и в конце его развернулся как полный хозяин.

Впрочем, нельзя жаловаться и на это: положим, для журналиста необходим резкий тон и некоторая даже дерзость (чего, однако ж, мы не одобряем, хотя нам известно, что с подобными качествами журналисты всегда выигрывают в мнении толпы); но на что преимущественно было обращено внимание сего хозяина, какая мысль его пересиливала все прочие, к чему направлено было его пристрастие, были ли где заметны те неподвижные правила, без коих человек делается бесхарактерным,

которые дают ему оригинальность и определяют его физиогномию?

Прочитавши все, помещенное им в этом журнале, следуя за всеми словами, сказанными им, невольно остановимся в изумлении: что это такое? что заставляло писать этого человека? Мы видим человека, который берет деньги вовсе не даром, который трудится до поту лица, не только заботится о своих статьях, но даже переправляет чужие,— одним словом, является неутомимым. Для чего же вся эта деятельность? Последуем за распорядителем во всех родах его сочинений и скажем несколько слов о главных качествах его статей. Это во всех отношениях необходимо.

Г.Сенковский является в журнале своем как критик, как повествователь, как ученый, как сатирик, как глашатай новостей и проч. и проч., является в виде Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу-Оглу, А. Белкина, наконец в собственном виде. Как ученый, г. Сенковский поместил довольно большую статью о сагах,— статью, исполненную ипотез, не собственных, но схваченных наудачу из разных бегло прочитанных книг,— ипотез, вовсе не принадлежащих русской истории. Эти саги, которые проницательный Шлёцер, не имеющий доныне равного по строгому и глубокому критическому взгляду, признал за басни, не достойные никакого внимания,— эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории и не приводит ни одного доказательства, поверенного критикою: он вовсе не определил их истинного и единственного достоинства. Саги суть поэтическое создание народа, игравшего великую в истории роль. Эта статья, испещренная риторическими фигурами, понравилась добрым, но ограниченным людям, а г. Булгарин даже написал рецензию, в которой поставил г. Сенковского выше Шлёцера, Гумбольта и всех когда-либо существовавших ученых. Другое весьма важное притязание г. Сенковского и настоящий конек его есть Восток. Здесь он всегда возвышал голос, и как только выходило какое-нибудь сочинение о Востоке или упоминалось где-нибудь о Востоке, хотя бы даже это было в стихотворении, он гневался и утверждал, что автор не может судить и не должен судить о Востоке,

что он не знает Востока.. Слово, сказанное с сердцем, очень извинительно в человеке, влюбленном в свой предмет и который между тем видит, как мало понимают его другие; но этот человек уже должен по крайней мере утвердить за собою авторитет. Г. Сенковскому, точно, следовало бы издать что-нибудь о Востоке. Человеку, ничего не сделавшему, трудно верить на слово, особливо когда его суждения так легковесны и проникнуты духом нетерпимости; а из некоторых его отрывков о Востоке видны те же самые недостатки, которые он беспрестанно порицает у других. Ничего нового не сказал он в них о Востоке — ни одной яркой черты, сильной мысли, гениального предположения! Нельзя отвергать, чтобы г. Сенковский не имел сведений; напротив, очень видно, что он много читал; но у него нигде не заметно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его к какой-нибудь цели. Все эти сведения находятся у него в каком-то брожении, друг другу противоречат, между собой не уживаются. Рассмотрим его мнения, относящиеся, собственно, к текущей изящной литературе. В критике г. Сенковский показал отсутствие всякого мнения, так что ни один из читателей не может сказать наверное, что более нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствам: в его рецензиях нет *ни положительного, ни отрицательного вкуса,— вовсе никакого*. То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек. Он первый поставил г. Кукольника наряду с Гете, и сам же объявил, что это сделано им потому только, что так ему вздумалось. Стало быть, у него рецензия не есть дело убеждения и чувства, а просто — следствие расположения духа и обстоятельств. Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объемлют жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном. И это читала Россия, это говорилось людям уже образованным, уже читавшим Вальтер Скотта. Можно быть уверену, что г. Сенковский сказал это без всякого намерения, из одной опрометчивости; потому что он никогда не заботится о том, что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей,

В разборах и критиках г. Сенковский тоже никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства. Критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла в мелочах, ограничивалась выпискою двух-трех фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оное выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г. Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг; над ними шутил, трунил и показывал то остроумие, которое так нравится некоторым читателям. Наконец даже завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оный*, которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слоге. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оный* совершенно неприличны. Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное і, который впоследствии, еще не так давно, поддерживал один профессор. Книга, в которой г. Сенковский встречал эти две частицы, была торжественно признаваема написанною дурным слогом.

Его собственные сочинения, повести и тому подобное являлись под фирмою Брамбеуса. Эти повести и статьи вроде повестей своим близким, неумеренным подражанием нынешним писателям французским произвели всеобщее изумление, потому что г. Сенковский охуждал гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, как в этом случае он имел так мало сметливости и до такой степени считал простоватыми своих читателей. Неизвестно тоже, почему называл он некоторые статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности еще нельзя считать фантастическим. Фантастические сочинения барона Брамбеуса напоминают книги, каких некогда было очень много, как-то: «Не любо — не слушай, а

лгать не мешай», и тому подобные: та же безотчетность и еще менее устремления к доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели заметили в них чрезвычайно много похищений, сделанных наскоро, на всем бегу: автор мало заботился о их связи. То, что в оригиналах имело смысл, то в копии было без всякого значения.

Таковы были труды и действия распорядителя «Библиотеки для чтения». Мы почли нужным упомянуть о них несколько обстоятельнее потому, что он один законодательствовал в «Библиотеке для чтения» и что мнения его разносились чрезвычайно быстро, вместе с четырьмя тысячами экземпляров журнала, по всему лицу России.

Невозможно, чтобы журнал, издаваемый при средствах, доставленных книгопродавцем Смирдиным, был плох. Он уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, толстыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо для жителей наших городов и сельских помещиков. В «Библиотеке» находились переводы иногда любопытных статей из иностранных журналов, в отделе стихотворном попадались имена светил русского Парнаса. Но постоянно лучшим отделением ее была *смесь*, вмещавшая в себе очень много разнообразных свежих новостей, отделение живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная,— повести и прочее,— оказывала очень мало вкуса и выбора. В «Библиотеке для чтения» случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявлял об этом сам довольно смело и откровенно. «У нас,— говорит он,— в «Библиотеке для чтения», не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда составляем из двух одну, иногда из трех, и статья значительно улучшается нашими переделками». Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало.

Многие писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помещаемых без подписи или под вымышленными именами, за их собственные, и

потому начали отказываться от участия в издании сего журнала. Число сотрудников так умалилось, что на другой год издатели уже не выставили длинного списка имен и упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не означая какие. Журнал хотя не изменился в величине и плане, но статьи заметно начали быть хуже; видно было менее старания. «Библиотеку» уже менее читали в столицах, но все так же много в провинциях, и мнения ее так же обращались быстро. Обратимся к другим журналам.

«Северная пчела» заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполнила свое дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор г. Греч довел ее до строгой исправности: она всегда выходила в положенное время; но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнения. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякий все, что ему хотелось. Разборы книг, всегда почти благосклонные, писались приятелями, а иногда самими авторами. В «Северной пчеле» пробовали остроту пера разные незнакомцы, скрывавшиеся под разными буквами,— без сомнения, люди молодые, потому что в статьях выказывалось довольно удальства. Они нападали разве уже на самого беззащитного и круглого сироту. Насчет неопрятных изданий являлись умные колкости, несколько похожие одна на другую. Сущность рецензий состояла в том, чтобы расхвалить книгу и при конце сложить с себя весь грех такой оговоркою: «Впрочем, желательно, чтобы почтенный автор исправил небольшие погрешности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требует хорошего издания»,— и тому подобное, за что автор разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Книги часто были разбираемы теми же самыми рецензентами, которые писали известия о новых табачных фабриках, открывавшихся в столице, о помаде и проч.; сии известия иногда довольно остроумны и в шутках своих показывали ловких и хорошо воспитанных людей, без сомнения имевших основательные причины быть довольными фабрикан-

тами. Впрочем, от «Северной пчелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ее делом было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публике.

Журнал, носивший название «Сына отечества и Северного архива», был почти невидимкою во все время. О нем никто не говорил, на него никто не ссылался, несмотря на то что он выходил исправно еженедельно и что печатал такую огромную программу на своей обвертке, какую вряд ли где можно было встретить. В «Сыне отечества» (говорила программа) будет археология, медицина, правоведение, статистика, русская история, всеобщая история, русская словесность, иностранная словесность, наконец просто словесность, география, этнография, историческая галерея и прочее. Иной ахнет, прочитавши такую ужасную программу, и подумает, что это огромнейшее энциклопедическое издание, когда-либо существовавшее на свете. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка в три листа, начинавшаяся статьею о каких-нибудь болезнях, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тем еще более живая и современная, не была в нем постоянною. Новости политические были те же сухие факты, взятые из «Северной пчелы», следственно уже всем известные. Помещаемые какие-то оригинальные повести были довольно странны, чрезвычайно коротенькие и совершенно бесцветны. Если попадалось что-нибудь достойное замечания, то оно оставалось незаметным. Имена редакторов, гг. Булгарина и Греча, стояли только на заглавном листке; но с их стороны решительно не было видно никакого участия. Однако ж журнал существовал, стало быть читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущие в провинциях, которым что-нибудь почитать так же необходимо, как заснуть часик после обеда или выбриться два раза в неделю.

Издавалась еще в Петербурге в продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений,— не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница старого, но при всем том имев-

шая особенный характер. Название этой газеты: «Литературные прибавления к Инвалиду». В ней помещались легонькие повести, беседы деревенских помещиков о литературе,— беседы, часто довольно обыкновенные, но иногда местами проникнутые колкостями, близкими к истине: читатель, к изумлению своему, видел, что помещики к концу статьи делались совершенными литераторами, принимали к сердцу текущую литературу и приправляли свои мнения едкою насмешкою. Этот журнал всегда оказывал оппозицию противу всякого счастливого наездника, хотя его вся тактика часто состояла только в том, что он выписывал одно какое-нибудь место, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплял от себя довольно злое замечание, не длиннее строчки, с восклицательным знаком. Г. Воейков был чрезвычайно деятельный ловец и, как рыбак, сидел с удой на берегу, не теряя терпения, хотя на его уду попадалась большею частию мелкая рыба, а большая обрывалась. В редакторе была заметна чисто литературная жизнь, и он с неохлажденным вниманием не сводил глаз с журнального поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда в нее заглянуть.

В Москве издавался один только «Телескоп», с небольшими листками прибавления под именем «Молвы»,— журнал, вначале отозвавшийся живостью, но вскоре простывший, наполнявшийся статьями без всякого разбора, лишенный всякого литературного движения. Видно было, что издатели не прилагали о нем никакого старания и выдавали книжки как-нибудь.

Монополия, захваченная «Библиотекою для чтения», не могла не задеть за живое других журналов. Но «Северная пчела» была издаваема тем же самым г. Гречем, которого имя некоторое время стояло на заглавном листке в «Библиотеке», как главного ее редактора, хотя это звание, как мы уже видели, было только почетное, и потому очень естественно, что «Северная пчела» должна была хвалить все помещаемое в «Библиотеке» и настоящего ее движителя, являвшегося под множеством разных имен, называть русским Гумбольтом. Но и без того она вряд ли бы могла явиться сильною противни-

цею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. «Сын отечества» должен был повторять слова «Пчелы». Итак, всего только два журнала могли восстать против его мнений. Г. Воейков показал в «Литературных прибавлениях» что-то похожее на оппозицию; но оппозиция его состояла в легких заметках журнальных промахов и иногда удачной остроте, выраженных отрывисто, в немногих словах, с насмешкою, очень понятною для немногих литераторов, но незаметною для непосвященных. Нигде не поместил он обстоятельной и основательной критики, которая определила бы сколько-нибудь направление нового журнала. «Телескоп» в соединении с «Молвою» действовал против «Библиотеки для чтения», но действовал слабо, без постоянства, терпения и необходимого хладнокровия. В статьях критических он был часто исполнен негодования против нового счастливца, шутил над баронством г. Сенковского, сделал несколько справедливых замечаний относительно его странного подражания французским писателям, но не видел дела во всей ясности. В «Молве» повторялись те же намеки на Брамбеуса, часто по поводу разбора совершенно постороннего сочинения. Кроме того, «Телескоп» много вредил себе опаздыванием книжек, неаккуратностию издания, и критические статьи его чрез то еще менее были в обороте.

Очевидно, что силы и средства этих журналов были слишком слабы в отношении к «Библиотеке для чтения», которая была между ними, как слон между мелкими четвероногими. Их бой был слишком неравен, и они, кажется, не приняли в соображение, что «Библиотека для чтения» имела около пяти тысяч подписчиков; что мнения «Библиотеки для чтения» разносились в таких слоях общества, где даже не слышали, существует ли «Телескоп» и «Литературные прибавления»; что мнения и сочинения, помещаемые в «Библиотеке для чтения», были расхвалены издателями той же «Библиотеки для чтения», скрывавшимися под разными именами, расхвалены с энтузиазмом, всегда имеющим влияние на большую часть публики,— ибо

то, что смешно для читателей просвещенных, тому верят со всем простодушием читатели ограниченные, каких, по количеству подписчиков, можно предполагать более между читателями «Библиотеки», и к тому же бóльшая часть подписчиков были люди новые, дотоле не знавшие журналов, следственно принимавшие все за чистую истину; что, наконец, «Библиотека для чтения» имела сильное для себя подкрепление в 4000 экземплярах «Северной пчелы».

Ропот на такую неслыханную монополию сделался силен. В Москве наконец несколько литераторов решились издавать какой-нибудь свой журнал. Новый журнал нужен был не для публики, то есть для большего числа читателей, но собственно для литераторов, различно притесняемых «Библиотекою». Он был нужен: 1) для тех, которые желали иметь приют для своих мнений,— ибо «Библиотека для чтения» не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя,— ибо г. Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в «Библиотеку». Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономии и проч., и все делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчета, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом.

Все это было очень досадно для писателей, решительно не имевших места, куда бы могли подать жалобу свету и читателям.

Но уже один слух о новом журнале возбудил негодование «Библиотеки для чтения» и подвинул ее к неожиданному поступку: она уверяла своих читателей и подписчиков с необыкновенным жаром, что новый журнал будет бранчивый и неблагонамеренный. Статья, помещенная по этому же случаю в «Северной пчеле», казалось, была писана человеком, в отчаянии предвидевшим свою конечную погибель. В ней уведомляли

публику, что новый журнал хотел уронить «Библиотеку для чтения» потому только, что издатели оного объявили, что будут выпускать таковое же число листов, как и «Библиотека для чтения». Поступок чрезвычайно неосмотрительный! В подобном деле необходимо скрыть свои мелкие чувства искусно и потом, выждав удобный случай, нанесть обдуманный удар. Если я издаю журнал, зачем же не издавать его и другому? И как могу гневаться, если другой скажет, что он будет брать меня в образец? Не должен ли я, напротив, его благодарить? Не показывает ли он тем степень уважения, мною заслуженного в публике? Чем больше соревнования, тем больше выигрыша для читателей и для литераторов.

Но рассмотрим, в какой степени «Московский наблюдатель» выполнил ожидания публики, жадной до новизны, ожидание читателей образованных, ожидание литераторов и опасение «Библиотеки для чтения».

Новый журнал, несмотря на ревностное старание привести себя во всеобщую известность, не имел средств огласить во все углы России о своем появлении, потому что единственные глашатаи вестей были его противники — «Северная пчела» и «Библиотека для чтения», которые, конечно, не поместили бы благоприятных о нем объявлений. Он начался довольно поздно, не с новым годом, следственно не в то время, когда обыкновенно начинаются подписки; наконец он пренебрег быстрым выходом книжек и срочною их поставкою. Но важнейшие причины неуспеха заключались в характере самого журнала. По первым вышедшим книжкам уже можно было видеть, что предположение журнала было следствием одного горячего мгновения. В «Московском наблюдателе» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. Он написал доселе несколько сочинений статистических, имеющих много достоинства, но которых публика чисто литературная не знала вовсе. Литературные мнения его были неизвестны. В этом состояла большая ошибка издателей «Московского наблюдателя». Они позабыли, что редактор всегда должен быть видным лицом. На нем, на

оригинальности его мнений, на живости его слога, на общепонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свежей деятельности его основывается весь кредит журнала. Но г. Андросов явился в «Московском наблюдателе» вовсе незаметным лицом. Если желание издателей было постановить только почетного редактора, как вошло в обычай у нас на ленивой Руси, то в таком случае они должны были труды редакции разложить на себя; но они оставили всю ответственность на редакторе, и «Московский наблюдатель» стал похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания. В журнале было несколько очень хороших статей; его украсили стихи Языкова и Баратынского, эти перлы русской поэзии; но при всем том в журнале не было заметно никакой современной живости, никакого хлопотливого движения; не было в нем разнообразия, необходимого для издания периодического. Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике. Статьи часто хорошие делались скучными потому только, что они тянулись из одного нумера в другой с несносною подписью: *продолжение впредь*. Вот таков был журнал, долженствовавший бороться с «Библиотекой для чтения».

«Наблюдатель» начался оппозиционною статьею г. Шевырева о торговле, зародившейся в нашей литературе. В ней автор нападает на торговлю в ученом мире, на всеобщее стремление составить себе доход из литературных занятий. Первая ошибка была здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых, он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. Статья сия была понятна одним литераторам, нанесла досаду «Библиотеке для чтения», но ничего не дала знать публике, не понимавшей даже, в чем состояло дело. Притом сии нападения

были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г. Шевыреву на бедных покупщиков, а не на продавцов. Продавцы обыкновенно бывают люди наездные: сегодня здесь, а завтра бог знает где. При этом случае сделан был несправедливый упрек книгопродавцу Смирдину, который вовсе не виноват, который за предприимчивость и честную деятельность заслуживает одну только благодарность. Нет спора, что он дал, может быть, много воли людям, которым приличнее было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талант не искателен, но корыстолюбие искательно. На это так же смешно жаловаться, как было бы странно жаловаться на правительство, встретивши недальновидного чиновника. Для таланта есть потомство, этот неподкупный ювелир, который оправляет одни чистые бриллианты. Г. Шевырев показал в статье своей благородный порыв негодования на прозаическое, униженное направление литературы, но на большинство публики эта статья решительно не сделала никакого впечатления. «Библиотека» отвечала коротко, в духе обыкновенной своей тактики: обратившись к зрителям, то есть к подписчикам, она говорила: «вот какое неблагородство духа показал г. Шевырев, неприличие и неимение высоких чувств, упрекая нас в том, что мы трудимся для денег, тогда как» и проч. Это обыкновенная политика петербургских журналов и газет. Как только кто-нибудь сделает им упрек в корыстолюбии и в бездействии, они всегда жалуются публике на неприличие выражений и неблагородство духа своих против-

ников, говорят, что статья эта писана с целию только поддеть публику и забрать от читателей деньги, что они почитают с своей стороны священным долгом предуведомить публику.

Итак, выходка «Московского наблюдателя» скользнула по «Библиотеке для чтения», как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, «Московский наблюдатель» замолчал,— доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно не знал, как и с чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постоянным действием мог «Наблюдатель» дать себе ход и сделать имя свое известным публике, как сделал его известным «Телеграф», действуя таким же образом и почти при таких же обстоятельствах. «Наблюдатель» выпустил вслед за тем несколько нумеров, но ни в одном из них не сказал ничего в защиту и подкрепление своих мнений. Через несколько нумеров показалась наконец статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной в «Библиотеке» статьи под именем «Браумбес и юная словесность», в которой Брамбеус назвал сам себя законодателем какой-то новой школы и вводителем новой эпохи в русской литературе.

Это в самом деле было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самих себя, или под именем друзей своих, или даже сами от себя, но все же с некоторою застенчивостию и после сами старались всё это как-нибудь загресть собственными руками, чувствуя, что несколько провинились. Но никогда еще автор не хвалил себя так свободно и непринужденно, как барон Брамбеус. Эта оригинальная статья слишком была ярка, чтобы не быть замеченною. Ею занялся и «Телескоп» и потрунил над нею довольно забавно, только вскользь; с обыкновенною сметливостью о ней намекнул и г. Воейков; она возродила статью и в «Московском наблюдателе». Цель этой статьи была доказать, откуда барон Брамбеус почерпнул талант свой и знаменитость, какими творениями чужих хозяев пользовался, как своим; другими словами: из каких лоскутов барон Брамбеус сшил себе халат. Несколько

безгласных книжек, выходивших вслед за тем, совершенно погрузили «Московского наблюдателя» в забвение. Даже самая «Библиотека для чтения» перестала наконец упоминать о нем, как о бессильном противнике, продолжала шутить над важным и неважным и говорить все то, что первое попадалось под перо ее.

Вот каковы были действия наших журналов. Изложив их, рассмотрим теперь, что сделали они в эти два года такого, которое должно вписаться в историю нашей литературы, оставить в ней свою оригинальную черту,— какие мнения, какие толки они утвердили, что определили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значит. Извещение о том, что критика будет благонамеренная, чуждая личностей и партий, тоже не показывает цели. Она должна быть необходимым условием всякого журнала. Даже множество помещенных в журнале статей ничего не значит, если журнал не имеет своего мнения и не оказывается в нем направление, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели. «Телеграф» издавался, кажется, с тем, чтобы испровергнуть обветшалые, заматорелые, почти машинальные мысли тогдашних наших старожилов, классиков; «Московский вестник», один из лучших журналов, несмотря на то что в нем немного было современного движения, издавался с тем, чтобы познакомить публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времен и народов. Здесь не место говорить, в какой степени оба сии журнала выполнили цель свою; по крайней мере стремление к ней было чувствуемо в них читателями. Но рассмотрите внимательно издававшиеся в последние два года журналы; уловите главную нить каждого из них: сей-то нити и не сыщете. Развернувши их, будете поражены мелкостью предметов, вызвавших толки их. Подумаете, что решительно ни одного важного события не произошло в литературном мире. А между тем:

1) Умер знаменитый шотландец, великий дееписатель сердца, природы и жизни, полнейший, обширнейший гений XIX века.

2) В литературе всей Европы распространился беспокойный, волнующийся вкус. Являлись опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные — следствие политических волнений той страны, где рождались. Странная, мятежная, как комета, неорганизованная, как она, эта литература волновала Европу, быстро облетела все углы читающего мира. Пусть эти явления будут всемирно-европейские, хотя они отражались и в России; рассмотрим литературные события чисто русские.

3) Распространилось в большой степени чтение романов, холодных, скучных повестей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушие к поэзии.

4) Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин, гласно требовавшие своего определения и настоящей, верной оценки, так как и все прочие старые писатели наши, ибо в литературном мире нет смерти и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые. Они требовали возвращения того, что действительно им следует; они требовали уничтожения неправого обвинения, неправого определения, бессмысленно повторенного в продолжение нескольких лет и повторяемого доныне.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгим размышлением, что такое был Вальтер Скотт, в чем состояло влияние его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводом неправильного уклонения вкуса и в чем состоял ее характер? Отчего поэзия заменилась прозаическими сочинениями? На какой степени образования стоит русская публика и что такое русская публика? В чем состоит оригинальность и свойство наших писателей?

Напрасно в этом отношении читатель станет искать в них новых мыслей или каких-нибудь следов глубокого, добросовестного изучения. Вальтер Скотта у нас только побранили. Французскую литературу одни приняли с детским энтузиазмом, утверждали, что модные писатели проникнули тайны сердца человеческого, дотоле сокровенные для Сервантеса, для Шекспира... другие безотчетно поносили ее, а между тем сами писали во вкусе той же школы еще с бо́льшими несообразностями.

Вопросом, отчего у нас в большом ходу водяные романы и повести, вовсе не занялись, а вместо того вдобавок напустили и своих еще собственных. О нашей публике сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на все журналы и разные издания, ибо их может читать и отец семейства, и купец, и воин, и литератор; о Державине, Карамзине и Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами.

О чем же говорили наши журналисты? Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою; на все другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания.

В чем же состоял главный характер этой критики? В ней очень явственно было заметно:

1) Пренебрежение к собственному мнению. Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал свое дело важным и принимался за него с благоговением и предварительным размышлением, чтобы, водя пером своим, думал о небольшом числе возвышенно образованных современников, перед которыми он должен дать ответ в каждом своем слове. Журнальная критика по большей части была каким-то гаерством. Как хвалили книгу покровительствуемого автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и в таком-то отношении, совсем нет. «Это книга,— говорили рецензенты,— удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси, продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтер Скотта, Гумбольта, Гете, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в библиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра».

Большая часть книг была расхвалена без всякого разбора и совершенно безотчетно. Если счесть все те,

которые попали в первоклассные, то иной подумает, что нет в мире богаче русской литературы, и только через несколько времени противоположные толки тех же самых рецензентов о тех же самых книгах заставят его задуматься и приведут в недоумение. Та же самая неумеренность являлась в упреках сочинениям писателей, против которых рецензент питал ненависть или неблагорасположение. Так же безотчетно изливал он гнев свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безверие и литературное невежество. Эти два свойства особенно распространились в последнее время у нас в литературе. Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас, в лучах славы, с вышины своей. Ни один из критиков не поднял благоговейно глаз своих, чтобы их приметить. Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, еще остающемся, еще заметном. Никогда они даже не брались в сравнение с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует. Это литературное невежество распространяется особенно между молодыми рецензентами, так что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успеет пройти год-другой, как толки, вначале довольно громкие, уже безгласные, неслышные, как звук без отголоска, как фразы, сказанные на вчерашнем бале. Имена писателей, уже упрочивших свою славу, и писателей, еще требующих ее, сделались совершенною игрушкою. Один рецензент роняет тех, которых поднял его противник, и все это делается без всякого разбора, без всякой идеи. Иное имя бывает обязано славою своею ссоре двух рецензентов. Не говоря о писателях отечественных, рецензент, о какой бы пустейшей книге ни говорил, непременно начнет Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в моду говорить,— итак, подавай нам Шекспира! Говорит он: «С сей точки начнем мы теперь разбирать открытую пред нами кни-

гу. Посмотрим, как автор наш соответствовал Шекспиру»,— а между тем разбираемая книга — чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с Шекспиром, и сходствует разве только с духом и образом выражений самого рецензента.

3) Отсутствие чистого эстетического наслаждения и вкуса. Еще в московских журналах видишь иногда какой-нибудь вкус, что-нибудь похожее на любовь к искусству; напротив того, критики журналов петербургских, особенно так называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемые сочинения превозносятся выше Байрона, Гете и проч.! Но нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком понимания, истекло из глубины признательной, растроганной души. Слог их, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностию. В нем видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензент задет за живое и когда дело относится к его собственному достоинству. Справедливость требует упомянуть о критиках Шевырева, как об утешительном исключении. Он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением.

4) Мелочное в мыслях и мелочное щегольство. Мы уже видели, что критика не занималась вопросом важным. Внимание рецензий было устремлено на целую шеренгу пустых книг, и вовсе не с тем, чтобы разбирать их, но чтобы блеснуть любезностию, заставить читателя рассмеяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видели из знаменитого процесса о двух бедных местоимениях: сей и оный. Вот до чего дошла, наконец, русская критика!

Кто же были те, которые у нас говорили о литературе? В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые еще не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы?

Отчего же не говорили сии писатели, показавшие в творениях своих глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низким спуститься на журнальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный бой? Мы не имеем права решить этого. Мы должны только заметить, что критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования. Для истории литературы она неоценима. Наша словесность молода, корифеев ее было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы. Писатели наши отлились совершенно в особенную форму, и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы; и подражание наше носит совершенно северообразный характер, представляет явление, замечательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заключим искренним желанием, чтобы с текущим годом более показалось деятельности и, при большем количестве журналов, явилось бы более независимости от монополии, а через то более соревнования у всех соответствовать своей цели. По крайней мере заметно какое-то утешительное стремление уже и в том, что некоторые журналы с будущим годом обещают издаваться с большим противу прежнего рачением. Издатели «Сына отечества», издатель «Телескопа» заговорили об улучшениях. Нельзя и сомневаться, чтобы при большем старании невозможно было сделать большего. По крайней мере со всем чистосердечием и теплою молитвою излагаем желание наше: да наградятся старания всех и каждого сторицею, и чем бескорыстнее и добросовестнее будут труды его, тем более да будет он почтен заслуженным вниманием и благодарностию.

⟨*1836*⟩

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАПИСКИ
1836 года

I

...В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. «На семьсот верст убежать от матушки! Экой востроногой какой!» — говорит московский народ, прищуривая глаза на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкою и сынком! Что это за виды, что за природа! Воздух продернут туманом; на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, сосны, ельник, кочки... Хорошо еще, что стрелою летящее шоссе да русские поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нечесаная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его щелчком. Москва — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том,

что делается в свете; Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и похаживает на кордоне, охорашиваясь перед Европою, которую видит, но не слышит.

Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинает печь французские хлебы, которые назавтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве всё невесты, в Петербурге всё женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней — как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом и, прежде нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане: она не любит средины. В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки; если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч., и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед; Петербург, в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или «в должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше второго часу; Петербург тоже гуляет до четырех ча-

сов, но на другой день как ни в чем не бывало в девять часов спешит, в своем байковом сюртуке, в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках, по зимним ухабам, сбывать и закупать; в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупщиков. Москва говорит: «коли нужно покупщику — сыщет»; Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с «Ренским погребом» и ставит извозчичью биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостию, неловкостию и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узѐнькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется, в самой середине модной толпы, какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но —

Дистанция огромного размера!..

II

Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию; так же мало коренной национальности и так же

много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев обществ. Эти общества совершенно отдельны: аристократы, служащие чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы — все составляют совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселящиеся невидимо для других.

И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой. Например, возьмите чиновников. Молоденькие помощники столоначальников составляют свой круг, в который ни за что не опустится начальник отделения. Столоначальник, с своей стороны, подымает свою прическу несколько повыше в присутствии канцелярского чиновника. Немцы-мастеровые и немцы-служащие тоже составляют два отдельные круга. Учителя составляют свой круг, актеры свой круг; даже литератор, являющийся до сих пор двусмысленным и сомнительным лицом, стоит совершенно отдельно. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому только, что не было другого места. Попытка на заведение публичных обществ доселе не имеет успеха. В клуб петербургский житель идет для того только, чтобы пообедать, а не провесть время. Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностию даже в вечной шлифовке с иностранцами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и заметить жизнь, текущую между них с ее веселостями, наслаждениями, надеждами, печалями, нужно быть одним из тех, которые вовсе ничего не пишут, потому что у этих господ, в награду за их деятельность, решительно нет времени. Итак, мимо балы и вечеринки! Обращусь к тем увеселениям, после которых долее остается воспоминание и которые приемлются всеми классами. Театр, концерт — вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга. Балет и опера — царь и царица петербургского театра.

Они явились блестящее, шумнее, восторженнее прежних годов, и упоенные зрители позабыли, что существует величавая трагедия, вдыхающая невольно высокие ощущения в согласные сердца сей безмолвно слушающей толпы; что есть комедия — верный список общества, движущегося пред нами, комедия строго обдуманная, производящая глубокостью своей иронии смех,— не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубою толпою общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом. Зрители правы, что были упоены балетом и оперой... На драматической сцене являлись мелодрама и водевиль, заезжие гости, которые были хозяевами во французском театре, а на русском играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русские актеры несколько странны, когда представляют маркизов, виконтов и баронов, как, вероятно, были бы смешны французы, вздумав подделаться под русских мужиков; а сцены балов, вечеров и модных раутов, являющихся в русских пьесах,— каковы они? А водевили?.. Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, тешат народ средней руки, благо смешлив. Кто бы мог думать, что водевиль будет не только переводный на русской сцене, но даже и оригинальный? Русский водевиль! право, немножко странно,— странно потому, что эта легкая, бесцветная игрушка могла родиться только у французов — нации, не имеющей в характере своем глубокой, неподвижной физиономии; но когда русский, еще несколько суровый, тяжелый характер заставляют вертеться петиметром... мне так и представляется, что наш тучный и сметливый купец с широкою бородою, не знавши на ноге своей ничего другого, кроме тяжелого сапога, надел вместо него узенький башмачок и чулки à jour[1], а другую ногу свою

---

[1] Ажурные *(франц.)*.

оставил просто в сапоге и стал таким образом в первую пару во французском кадриле.

Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Даже немцы — ну кто бы мог подумать, что немцы, этот основательный, этот склонный к глубокому эстетическому наслаждению народ,— немцы теперь играют и пишут водевили, переделывают и клеят надутые и холодные мелодрамы! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!.. Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти пять лет. О Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их; ты, строгий, осмотрительный Лессинг, и ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете выказавший достоинство человека! взгляните, что делается после вас на нашей сцене; посмотрите, какое странное чудовище, под видом мелодрамы, забралось между нас! Где же жизнь наша? где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама...

Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь глубокого таланта течет во всем своем разливе, со всею стройностью, чистая, как зеркало, отражая с одинаковою ясностью и темные и светлые облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни ясного, ни темного.

Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Все дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые

дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах! Как будто в наши европейские фраки переоделися сыны палящей Африки! Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия! Никогда еще не выходил из театра зритель растроганный, в слезах; напротив того, в каком-то тревожном состоянии торопливо садился он в карету и долго не мог собрать и сообразить своих мыслей. И среди нашего утонченного, образованного общества такой род зрелища! Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые собирался смотреть весь Рим в эпоху величайшего владычества своего и притупленного пресыщения. Но, слава богу, мы еще не римляне и не на закате существования, но только на заре его! Если собрать все мелодрамы, какие были даны в наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы, или лучше — календарь, в котором записаны с календарною холодностию все странные происшествия, где против каждого числа выставлено: сегодня было в таком-то месте такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы таким-то разбойникам и зажигателям; такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумающий искать нашего общества в наших мелодрамах.

Не удивительно, что балет и опера утешительнее и служат отдохновением: в них наслаждение спокойно. Опера принимается у нас очень жадно. До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лет пред сим равнодушно глядела публика, «Семирамида» в нынешнее время, когда музыка Россини почти анахронизм, приводит в совершенный восторг ту же самую публику. Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь за царя», и говорить нечего: он понятен и известен уже целой России. Об этой опере надобно говорить много или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты и рецензии

должны быть скучны для самих музыкантов: в музыке огромнейшая часть ее невыразима и безотчетна. Музыкальные страсти — не житейские страсти; музыка иногда только выражает, или, лучше сказать, подделывается под голос наших страстей, для того чтобы, опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу только, что меломания более и более распространяется. Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в «Жизни за царя», «Роберте», «Норме», «Фенелле» и «Семирамиде». Оперы даются почти два раза каждую неделю, выдерживают несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билет. Уж не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли это возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили всё непонятным языком и мелькали всё незнакомые люди, возврат на русской тройке, с заливающимся колокольчиком, с которым мы, привстав на бегу и помахивая шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украйна звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Все дорожное, дворянство и недворянство, летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами козак, заряжая пищаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк; у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив польской мазурки.

Петербургские балеты блестят. Кстати о балетах вообще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко; но надо заметить, что совершенствуется в них только богатство костюмов и богатство декораций; самая же сущность балета, изобретение его, нейдет в ряд с его постановкой; балетные композиторы очень мало нового показывают в танцах. До сих пор мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостию, творец балета может брать из них сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собою разумеется, что, схвативши в них первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму. По крайней мере танцы будут иметь тогда более смысла, и таким образом может более образнообразиться этот легкий, воздушный и пламенный язык, доселе еще несколько стесненный и сжатый.

Петербург — большой охотник до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками подымающегося из труб дыма, зайдите в это время в сени Александринского театра: вы будете поражены упорным

терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудью раздавателя билетов, высовывающего одну руку свою из окошка. Сколько толпится там лакеев всякого рода, начиная от того, который пришел в серой шинели и в шелковом цветном галстуке, но без шапки, до того, у которого трехэтажный воротник ливрейной шинели похож на пеструю суконную бабочку для вытирания перьев. Тут протираются и те чиновники, которым чистят сапоги кухарки и которым некого послать за билетом. Тут увидите, как прямо-русский герой, потеряв наконец терпение, доходит, к необыкновенному изумлению, по плечам всей толпы к окошку и получает билет. Тогда только вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. И что же дается на наших театрах? — какие-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и водевили.

Положение русских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной страсти и резкой физиономии? где выказаться? на чем развиться таланту? Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный — как связанный заяц... Мы так пригляделись к французским бесцветным пьесам, что нам уже боязливо видеть свое. Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем, не личность ли это, потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзана, театрального тирана, рифмоплета, судью и тому подобные обношенные лица, которых таскают беззубые авторы в свои пьесы, как таскают на сцену вечных фигурантов, отплясывающих перед зрителями с тою же улыбкою свое лихо вытверженное в продолжение сорока лет па. Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся, а иной, совершенно другой советник, даже скажет: «Как же это? у меня есть родст-

венник надворный советник, прекрасный человек! Как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения!» Как будто один может порочить все сословие! И такая раздражительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните «Ревизора»...

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров, не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек»,— только такое изображение приносит существенную пользу. Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...

Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумная неделя Петербурга, когда он одною половиною своего народонаселения летает на качелях, мчится, как вихорь, с ледяных гор, а другою превращается в длинную цепь карет и едва движется, равняемый жандармами, когда спектакли даются и днем и вечером и вся Адмиралтейская площадь засеяна скорлупами орехов...

Спокоен и грозен великий пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин; оглянись на жизнь свою». На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ, верно, пролежит заспанный и утомленный и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте, о литературе, о наградах, о театре.

Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов всегда бывает величествен: четыреста музыкантов! это что-то могущественное. Когда согласный ропот четырехсот звуков

раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием.

В продолжение поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце. Западная сторона с моря делается яснее. Север глядит с меньшею суровостью из своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект, упал совершенно: гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император любил Английскую набережную. Она, точно, прекрасна. Но тогда только, когда начались гулянья, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие всё в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо в другом месте...

К чему так быстро летит ничем не заменимое наше время? Кто его кличет к себе? Великий пост — какой спокойный, какой уединенный его отрывок! Чего нельзя сделать в эти семь недель? Теперь наконец займусь я основательно трудом своим. Теперь совершу я наконец то, чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение. Но вот уже на исходе первая неделя; не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже средина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в Гостином дворе, и целая галерея верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под темными его арками. Когда я проходил мимо этой пестрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сердился и на краснощеких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них сора, и на черномазого, приземистого и усатого грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером, с его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркальца мне казались противны. Народ все так же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лице

его; с тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два и три, и несколько лет, — а я и каждый человек из этого народа уже не тот: уже другие в нем чувства, нежели были за год пред сим; уже суровее мысли его; менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели истаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно время. Столица вдруг изменилась. И шпиц Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская сторона, и Английская набережная — все получило картинный вид. Дымясь, влетел первый пароход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, старухами няньками, английскими конторщиками понеслись с Васильевского и на Васильевский. Давно не помню я такой тихой и светлой погоды. Когда взошел я на Адмиралтейский бульвар,— это было накануне светлого воскресения вечером,— когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою блестят две яшмовые вазы, когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи и в этой лилово-голубой мгле блестел один только шпиц Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы,— мне казалось, будто я был не в Петербурге: мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где все знаю и где то, чего нет в Петербурге... Вон и знакомый гребец, с которым я не видался более полугода, болтается со своим яликом у берега, и знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге.

Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с ней мое

прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова воскресения, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на угольном балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий черт с топором в руке. Больше я ничего не видел.

Светлым воскресением, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после светлого воскресения — больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед великим постом, или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже других и проговаривают у камина еще несколько слов, прикрывая одною рукою зевающий рот свой. Город весь высушился, тротуары сухи. Петербургские джентльмены в одних сюртучках, с разными палками; вместо громоздкой кареты несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже в окна магазинов вместо шерстяных чулков глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Словом, Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидячую жизнь и постоянство и помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа, или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция... Но стой, мысль моя: еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские домы...

⟨1835—1836⟩

СТАТЬИ,

Напечатанные в книге

«Выбранные места из переписки с друзьями»

О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит,—

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам чест-

ность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег по крайней мере целой половины од своих. Эта половина од представляет явленье поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит сужденье о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш П.....н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно, или к бесчестью его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства», — и тому подобное. Все это пустяки. Какой-ни-

будь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели бога, дерзавшие произносить имя его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П.....и тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу просвещенья и образованья русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремленьем к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы

понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои,— говорит Иисус Сирах,— растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

1844



Гоголь в своей комнате в Васильевке

Картина В. Волкова.

ЧТЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ ПЕРЕД ПУБЛИКОЮ

(ПИСЬМО К Л**)

Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы: там читали разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас всяк ленив и, пока видит, что другие не тронулись, сам не тронется. Искусные чтецы должны создаться у нас: среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всему *сочувствовать*. Передать, поделиться ощущеньем у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильней по мере того, как живее начинают замечать они, что не умеют изъясниться словом (признак природы эстетической). К образованью чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтенья со временем заместят у нас спектакли. Но я бы желал, чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-

нибудь истинно сто́ящее публичного чтения, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной литературе нет ничего такого, да и нет надобности читать современное. Публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести (в том числе и мои) не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обработывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятия публики о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого поэта теперь двоится, и никто не может представить себе определительно, что такое из них всяк в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы самое чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и все что ни попало. Прочесть как следует произведенье лирическое — вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтенье наших поэтов может принести много публичного добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком

смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль — обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас удалившихся поэтов такому употреблению их произведений!

1843

О ТЕАТРЕ, ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ВЗГЛЯДЕ НА ТЕАТР И ВООБЩЕ ОБ ОДНОСТОРОННОСТИ

(ПИСЬМО К ГР. А. П. Т.....МУ)

Вы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состоянья душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасенье вашем и, не найдя еще той именно дороги, которою вам предназначено достигнуть его, почитаете всё, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасенью. Монах не строже вас. Так и ваши нападенья на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра; но они правы, а вы не правы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра, или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века всеобщего водворенья христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст. Но времена изменились. Мир весь перечистился сызнова поколеньями свежих народов Европы, которых образованье началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Димитрий Ростовский, справедливо поставляемый в

ряд святых отцов церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Все можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно и соединить Шекспира с плясуньями или с плясунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги — ногами, а голова — головой. В некоторых местах Европы это поняли: театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один поддержкой правительств; но поняли это в отношении порядка внешнего. Следовало подумать не шутя о том, как поставить все лучшие произведения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием, и открылось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Шеридан, Мольер, Гете, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньяр и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели такого, что бы отвлекало от уваженпя к высоким предметам; к ним даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разнесших неуваженье к святыне. У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованьем правого, и никогда над тем, что

составляет корень человеческих доблестей; напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высокодраматических сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено вниманье на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижных, заставит нечувствительно характеры более устоиваться в самих себе, тогда как все это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает, становит лёгким и ветреным общество. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отдалившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначенью. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя беспрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену. Это вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза; она пойдет, куды поведут ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заиграннейшую пьесу и поставь ее как нужно, та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, Шекспир станет заманчивей наисовременнейшего водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художествен-

но, чтобы дело это поручено было не кому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется в труппе. И не мешать уже сюда никакого приклеиша сбоку, секретаря-чиновника; пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично, перед глазами всей публики сыграть сам по порядку одну за другою все второстепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актером второстепенных ролей может привлечь публику видеть двадцать раз сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Каратыгин станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли! Потом же, когда первоклассный актер, разыгравши все роли, возвратится вновь на свою прежнюю, он получит взгляд, еще полнейший, как на собственную свою роль, так и на всю пьесу; а пьеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения,— вещью, доселе неслыханной! Нет выше того потрясенья, которое производит на человека совершенно согласованное согласье всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем наилюбимейшая музыкальная опера. Что ни говори, но звуки души и сердца, выражаемые словом, в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, все это возможно только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего, по части репертуарной, возляжет на первоклассного актера, то есть трагедией будет заведовать первый трагический актер, а комедией — первый комический актер, когда одни они будут *исключительные* хоровожди такого дела. Говорю *исключительные*, потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку во всяком деле. Чуть

только явится какое место и при нем какие-нибудь денежные выгоды, как уже вмиг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется, бог весть: точно как из воды выйдет; докажет тут же свою необходимость ясно, как дважды два; заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во всё, и дело пойдет из рук вон. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношенья подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчиненным. Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта, и все сделались не тем оттого, что всяк, как бы наперерыв, старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий, даже честный и умный человек, старался хотя на один вершок быть полномочней и выше своего места, полагая, что он этим-то именно облагородит и себя и свою должность. Мы перебрали тогда всех чиновников от верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всех стремятся выступить из пределов своей должности. Где секретарь заведен только в качестве писца, там он хочет сыграть роль посредника между начальником и подчиненным. Где же он постановлен действительно как нужный посредник между начальником и подчиненным, там он начинает важничать: корчит перед этим подчиненным роль его начальника, заведет у себя переднюю, заставит ждать себя по целым часам,—словом, вместо того чтобы облегчить доступ подчиненного к начальнику, только затруднит его. И все это иногда делается не с другим каким умыслом, как только затем, чтобы облагородить свое секретарское место. Я знал даже некоторых совсем недурных и неглупых людей, которые перед моими же глазами так поступали с подчиненными своего начальника, что я краснел за них же. Мой Хлестаков был в эту минуту ничто перед ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если

бы от этого не происходило слишком много печальных следствий. Много истинно полезных и нужных людей иногда бросали службу единственно из-за скотинства секретаря, требовавшего к себе самому того же самого уваженья, которым они были обязаны только одному начальнику, и за неисполнение того мстившего им оговорами, внушеньями о них дурного мненья, словом — всеми теми мерзостями, на которые способен только бесчестный человек. Конечно, в управлениях по части искусств, художеств и тому подобного правит или комитет, или один непосредственный начальник, и не бывает места секретарю-посреднику: там он употреблен только записывать определения других или вести хозяйственную часть; но иногда случается и там, от лености членов или чего другого, что он, мало-помалу втираясь, становится посредником и даже вершителем в деле искусства. И тогда выходит просто черт знает что: пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписанье, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано. Часто удивляются, как такой-то человек, будучи всегда умным человеком, мог выпустить преглупую бумагу, а в ней он и душой не виноват: бумага вышла из такого угла, откуда и подозревать никто не мог, по пословице: «Писал писачка, а имя ему собачка».

Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть употреблен только для одних хозяйственных расчетов да для письменного дела. Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой. Один только первоклассный актер-художник может сделать хороший выбор пьес, дать им строгую сортировку; один он знает тайну, как производить репетиции, понимать, как важны частые считовки и полные предуготовительные повторения пьесы. Он даже не позволит актеру выучить роль у себя на дому, но сделает так, чтобы все выучилось ими сообща, и роль

вошла сама собою в голову каждого во время репетиций, так чтобы всяк, окруженный тут же обстановливающими его обстоятельствами, уже невольно от одного соприкосновенья с ними слышал верный тон своей роли. Тогда и дурной актер может нечувствительно набраться хорошего. Покуда актеры еще не заучили наизусть своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается правды и естественности как в речах, так и в телодвиженьях. Тон вопроса дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай простой вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек: его ничем не переломаешь; ни одного слова не переймет он тогда от лучшего актера; для него станет глухо все окружение обстоятельств и характеров, обступающих его роль, так же как и вся пьеса станет ему глуха и чужда, и он, как мертвец, будет двигаться среди мертвецов. Только один истинный актер-художник может слышать жизнь, заключенную в пьесе, и сделать так, что жизнь эта сделается видной и живой для всех актеров; один он может слышать законную меру репетиций — как их производить, когда прекратить и сколько их достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться в полном совершенстве своем перед публикой. Умей только заставить актера-художника взяться за это дело, как за свое собственное, родное дело, докажи ему, что это его долг и что честь его же искусства того требует от него, — и он это сделает, он это исполнит, потому что любит свое искусство. Он сделает даже больше, позаботясь, чтобы и последний из актеров сыграл хорошо, сделав строгое исполненье всего целого как бы своей собственной ролью. Он не допустит на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, какую допустил бы иной чиновник, заботящийся только о приращении сборной денежной кассы, — потому не допустит, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнет ее. Ему невозможно также, если бы он даже и вздумал

оказать какие-нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно вверенных ему актеров, какие делаются людьми чиновными: его не допустит к тому его собственная известность. Какой-нибудь чиновник-секретарь производит отважно свою пакость в уверенности, что как он ни напакости, о том никто не узнает, потому что и сам он — незаметная пешка. Но сделай что-нибудь несправедливое Щепкин или Каратыгин, о том заговорит вдруг весь город. Вот почему особенно важно, чтобы главная ответственность во всяком деле падала на человека, уже известного всем до единого в обществе. Наконец, живя весь в своем искусстве, которое стало уже его высшею жизнью, которого чистоту блюдет он как святыню, художник-актер не попустит никогда, чтобы театр стал проповедником разврата. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама, его загромоздившего, и потом уже разбирайте и судите, что такое театр. Я заговорил здесь о театре не потому, чтобы хотел говорить собственно о нем, но потому, что сказанное о театре можно применить почти ко всему. Много есть таких предметов, которые страждут из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: «Рассердясь на вши, да шубу в печь», то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу. Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смиренья христианского и сомненья в себе; они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. Друг мой! смотрите за собой покрепче. Вы теперь именно находитесь в этом опасном состоянии. Хорошо, что покуда вы вне всякой должности и вам не вверено никакого управления; иначе вы, которого я знаю как наиспособнейшего к отправлению самых трудных и сложных должностей, могли бы наделать больше зла и беспорядков, чем самый неспособный из неспособнейших. Берегитесь и в самих сужденьях своих обо всем! Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть в свете, видя во всем одно бесовское. Их удел — впадать

в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые и сам святитель церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По-ихнему, следовало бы все высшее в христианстве облекать в римфы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Пушкин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не проникалась вся насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику печатно, в виду всех, возводить на Пушкина такое обвиненье, что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону, а не в кривую и вредящую ему. Если это постановлено в закон цензуре, безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясниться и оговориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основываясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, — разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин? Этак я могу обвинить самого критика в его нехристианстве. Я могу сказать, что христианин не возымеет такой уверенности в уме своем, чтобы решать такое темное дело, которое известно одному богу, зная, что ум наш вполне проясняется и может обнимать со всех сторон предмет только от святости нашей жизни, а жизнь его еще не так, может

быть, свята. Христианин перед тем, чтобы обвинить кого-либо в таком уголовном преступлении, каково есть непризнанье бога в том виде, в каком повелел признавать его сам божий сын, сходивший на землю, задумается, потому что дело это страшное. Он скажет и то: в поэзии многое есть еще тайна, да и вся поэзия есть тайна; трудно и над простым человеком произнести суд свой; произнести же суд окончательный и полный над поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт,— как и во всяком даже простом мастерстве понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того мастерства. Словом, христианин покажет прежде всего смирение, свое первое знамя, по которому можно узнать, что он христианин. Христианин, наместо того чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности. Он приведет его величественные стихи пастырю церкви, где Пушкин сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суетой и прелестию света, его поражал даже один вид служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой
Мгновенно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла прах земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Вот на какое стихотворенье Пушкина укажет критик-христианин! Тогда критика его получит смысл и сделает добро: она еще сильней укрепит самое дело, показавши, как даже и тот человек, который заключал в себе все разнородные верованья и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие нас от Христа, как даже и тот человек, в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения, исповедал выше всего высоту христианскую. Но какой теперь смысл критики? спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши в них сомнение и подозрение в Пушкине? Безделица — выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства! Человека, на которого умственное поколение смотрит, как на вождя и на передового, сравнительно перед другими людьми! Хорошо еще, что критик был бесталантлив и не мог пустить в ход подобную ложь и что сам Пушкин оставил тому опровержение в своих же стихах; но будь иначе — что другое, кроме безверья наместо веры, мог бы распространить он? Вот что можно сделать, будучи односторонним! Друг мой, храни вас бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде. Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком. Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас бог от односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противуположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта. Театр и театр — две разные вещи, равно как и восторг самой публики бывает двух родов: иное дело восторг оттого, когда какая-нибудь балетная танцовщица подымет ногу повыше, и опять иное дело восторг оттого, когда могущественный лицедей потрясающим словом подымет выше все высокие чувства в человеке. Иное дело — слезы от-

того, что какой-нибудь заезжий певец расщекотит музыкальное ухо человека, — слезы, которые, как я слышу, проливают теперь в Петербурге и немузыканты; и опять иное дело — слезы оттого, когда живым представленьем высокого подвига человека весь насквозь просвежается зритель и по выходе из театра принимается с новой силою за долг свой, видя подвиг геройский в таковом его исполненье. Друг мой! мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно самому богу, все направлять к добру, — даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем Давидом победы, обратились на восхваленье истинного бога, и еще больше обрадовался весь израиль, услышав хвалу ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась.

1845

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ ПО ПОВОДУ «МЕРТВЫХ ДУШ»

1

Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает всё; но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует

колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку.

Я бы желал, однако ж, побольше критик не со стороны литераторов, но со стороны людей, занятых делом самой жизни, со стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота; задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнанья многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее: авось кто-нибудь меня выбранит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мной описанного. Приведеньем событья случившегося лучше доказывается дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованьями. Мог бы то же сделать и купец и помещик — словом, всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте, или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. Сверх собственного взгляда своего всяк человек, с того места или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образованье, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что — нечего таить греха — все мы очень плохо знаем Россию.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то «мертвые души». И меня

же упрекают в плохом знанье России! Как будто непременно силой святого духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее, — без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званьем писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной и притом еще принужденный жить вдали от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель — сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит бог, говорю недаром!

1843

2

Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими пред глазами читателя, так невпопад складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать сочинения, которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства

сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбранить за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразьем предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней, несущейся по всему лицу земли русской от моря до моря, обращается в лирическом воззванье к самой России, спрашивая у нее самой объясненья непонятного чувства, его объявшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто всё, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до бездушного, вперило на него глаза свои и чего-то ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выраженье истинного чувства. Мне и доныне кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе незаселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому — именно ему самому, — тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещенья европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же

бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во все время действовало без устали. Свидетельством тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великодушном движенье многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в примененье, в уменье приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороной, какой нужно и какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку! Словом — везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованье; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг,

также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия все бросил и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту — пусть его грабит людей. Словом — у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон — служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастия других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбья своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желанье добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Как исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочиненье, которое теперь вышло и которому названье «Мертвые души»,— произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей, простых, неголоволомных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, чем полезную сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском

моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, ниже́ пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращенье к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство,— вот отчего у меня исторглось то восклицанье, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадеянность!

1843

3

Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно,— именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особен-

ности «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильней от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило с большей силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его

пороки и недостатки. Явленье замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противуположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.

Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рожденья моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить его, было *желанье быть лучшим.* Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости его бесконечного милосердия,— я бы повесился. По мере того как они стали открываться, чудным высшим внушеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его зло-

бой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я увидел, что многие из гадостей не сто́ят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчеваешь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана «Мертвых душ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошлое и гадкое, которое они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся *пошлость* и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы,— вот и все! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих ге-

роев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть долженствовало, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действительно русской жизни. Еще вся книга не более как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее появленье может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо того дельные замечания на мою книгу, как свои так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтвержденье или в опроверженье всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу,— тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и как бы успешней пошло мое дело! Но того, о чем я прошу, никто не исполняет; мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которою, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, бог весть из чего, мечемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен те-

перь необходимо»? Чтобы я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом так же глупо, как поторопился с первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключенье, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, который даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо,— скажут: «Зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет бог. И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И когда поверяю

себя на исповеди перед тем, кто повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но по прочтенье моего письма остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальней вглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств — мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров — я также не выдумывал, кошемары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло.

1843

4

Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет»,— говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появленье вто-

рого тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек по крайней мере увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки в черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человека. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь, подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал меня бог и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы про-

извести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое — *душа и прочное дело жизни*. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бывает мне так тяжело, что без бога и не перенес бы. К изнуренью сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движенье, а делать движенье— нет сил. Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, кто выработал бóльшую половину его в голове моей, тот даст силу совершить и остальную — положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.

1846

В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ, СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унестись куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей — слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас услаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывав-

ших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев,— которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, — гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но покамест им не ударишь, не издаст кремень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощию европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком,— и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем измененье государственных форм, — был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских

наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищенье от света, внесенного в Россию, изумленье от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремленье к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто вначале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случились, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, — и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление о божием величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову «О пользе стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророк Давид
Священными шумит струнами,
И бога полными устами
Исайя восхищен гремит.

Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступленье впереди книги. Его поэзия — начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не всё, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть наместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова, нечуждого силы и стихотворного огня: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали наместо благозвучия ломоносовского языка трескотню и беспорядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться

русские таланты, — с битвами вознеслись полководцы, с учрежденьями внутренними государственные дельцы, с переговорами дипломаты, а с академиями словесники и ученые, — появился и поэт, Державин, с тою же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитаньем, последний представляет совершенную противуположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлеченьем и делом отдохновенья, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образованье науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распаляющие свое воображенье рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете, — что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно

всё; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной точно муравейник, который где-то далеко копышется вдали. О Державине можно сказать, что он — певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях своих; его полководцы — орлы; словом — все у него величаво. Заметно, однако же, что постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было — начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей церкви. Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое, высокое значенье тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурею,

Встает в упор ее волнам:
То скачет в твердь, то, в ад стремяся,
Трезубцем бьет по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.

Тут, казалось, хотел создаться *зримо* образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, *незримом* очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подъемлется волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле:

И смерть как гостью ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково крученье усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надобно сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог, — все скрыпит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворенье — точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образованья, как в умственном так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедовавший другим о том, как править собою, не умел управить себя, далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остано-

виться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали вполне образцы всему, и, так же как щеголи Парижа, завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте творенья, обрабатывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, которыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожею на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвинуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять уменьем вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. От одного только Капниста послышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотоле незнакомая. Вот его «Деревенский домик в Обуховке»:

Приютный дом мой под соломой,
По мне, ни низок, ни высок;
Для дружбы есть в нем уголок,
А к двери, нищему знакомой,
Забыла лень прибить замок.

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнивом. Вдруг приметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего не переймет в свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явленье странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия, темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явленьем. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме, раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев,— почти всё переводы. Но на переводах так отпечаталось это внутреннее стремление, так зажгло и одушевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы

его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и всё — вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? — не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремленье уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

Под надзиранье ты предан
Невидимых, бессмертных сил,
И легионам заповедан
Всех ангелов, чтоб цел ты был.

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, — лень выдумывать, а не

недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатленье сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это — свойство *оценивать*, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мненью, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаньях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце», где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне» волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых,— тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство *оценивать*. Его «Славянка» с видами Павловска — точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все его картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того, как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом

отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундина», творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического созданья есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоенье всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству,— подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появленье такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами.

В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самого идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и

так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслажденья. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье». Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногоглаголив на передачу ощущенья, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!

Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из на-

ших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака — везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке — все становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; всё предмет его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье бога,— его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение бога!» — и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно божие творение!» От этого сочинения его представляют явленье изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они — полные поэмы, обдуманные, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была

его поэзия? Какое новое направленье мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влиянье на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблужденьями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условьем также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышленье о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его? Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым наукообразным стремленьем своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё

откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделывал так сонетов своих, как обработывал он эти легкие, по-видимому мгновенные созданья. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на всё, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма

вышла собранье разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтенье ее, наместо всего выступает тот же чудный образ на всё откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» — тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замышлял он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гетев «Фауст» навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта,— и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя — в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на всё откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к му-

жику в избу — он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучше русское произведенье в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей — всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горохина», «Царский арап» и сделанный карандашом набросок большого романа — «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обре-

ченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас — и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах; Козлов, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских, А. Крылова,

Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик Илиады Гнедич, прелагатель псалмов Ф. Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то: Веневитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, славу богу еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже,— повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появленьем первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком,

как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:

Покровы прочь! Перед челом
Протянем руки удалые
И — бух!
Блистательным дождем
Взлетают брызги водяные.
Какая сильная волна!
Какая свежесть и прохлада!
Как сладострастна, как нежна
Меня обнявшая наяда!

Вот у него игра в свайку, которую он назвал прямо-русскою игрой. Юноши-молодцы стали в кружок:

Тяжкий гвоздь стойком и плотно
Бьет в кольцо — кольцо бренчит.
Вешний вечер беззаботно
И невидимо летит.

Всё, что вызывает в юноше отвагу,— море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну,— выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: «Стихотворенья Языкова»! их бы следовало назвать просто: «хмель»! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, об-

ращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови от стран далеких
Ты своих богатырей,
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей!

И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование, — предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:

Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревет.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!
Громче буря истребленья!
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костер!

У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье
Во славу чести и добра.

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве.

Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совер-

шить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздались скучанья среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не приметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях и бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основанье их была правда. Языков не сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

У него, напротив, вот что говорит поэт:

Когда тебе на подвиг все готово,
В чем на земле небесный виден дар,
Могучей мысли свет и жар
И огнедышащее слово —
Иди ты в мир, да слышит он поэта.

Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому; не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержанья последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее) — нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его — вот почему примеркнул и свет

поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей,— и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово: изобразишь нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это услышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни — на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях — и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремленье к повороту на свою законную дорогу. От него услышали недавно стихотворенье «Землетрясенье», которое, по мненью Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье.

Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском — противуположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточенья и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем

этом. Его стихотворенья — импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его — пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванью: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге «Биография Фонвизина» обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни — словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласованья в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет цели-

ком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт,

Душа прямится, крепнет воля,
И наша собственная доля
Определяется видней.

В то время когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвеваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шуму, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт — Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную как вещь старую, негодную для употребленья и почти детскую игрушку,— и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположенье о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлеченье силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек — словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уваженье к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится», или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко при-

бранной пословицей, то сим объяснить ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что сто́ит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел Крылова!» — даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбьем, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размысля того, что теперь всякая кража и пакость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом — всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою нетороплпвость и, по-видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства: на всё подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, подтрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только,

что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостишием:

Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней мудро части:
Оружием — врагам она грозна,
А паруса — гражданские в ней власти.

Какая меткость определенья! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недальнозорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело, он написал не меньше замечательную басню, «Две бритвы», и в ней справедливо попрекнул начальников, которые

Людей с умом боятся
И держат при себе охотней дураков.

Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать умного человека, но уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне «Хор певчих», которую заключил он словами: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе наместо мастеров дела людей бог весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведенья. Он знал, что с умным человеком все можно сделать и нетрудно обратить его к хорошему поведенью, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре — что в море, а в дураке — что в пресном молоке»,— говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие заметки, сильно попрекнувши его в басне «Стоячий пруд» за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне «Мегера и Сочинитель» за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные.

В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он:

Властитель хочет ли народы удержать?
Держи бразды не вкруть, но мощною рукою,—

и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает он на высокий удел в виде пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой
Ни славою, ни почестьми не льстится
И мыслью оживлен одной,
Что к пользе общей он трудится.

Слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все, начиная от изображенья природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль; и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном, шестистопном стихе, то в быстром одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключенье басни «Две бочки»:

Великий человек лишь виден на делах,
И думает свою он крепку думу
Без шуму.

Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека.

От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии — поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отдалились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе с уменьем пред чем-нибудь истинно возблагоговеть — свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого,—оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже в то время когда Ломоносов настроивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Кантемир находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии князя Горчакова, сатиру на литераторов Воейкова — «Дом сумасшедших» и талантливые пародии Михайла Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнанье че-

ловека под условием взятой эпохи и века; в комедии — легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уваженьем; но все это побледнело перед двумя яркими произведеньями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая — от дурно понятого просвещенья.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством,— так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина — другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине наместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой — несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены,— пол-

ное притупленье всего! Наконец сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление — сделалось ему уже наслажденьем. Словом — лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души. Это те неотразимо-страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа.

Комедия Грибоедова взяла другое время общества— выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного,— словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещеньем, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дни не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых

честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском comme il faut, не осталось ровно ничего, которые своим пребываньем в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребываньем в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим — тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще — тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью — тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодованье молодежи, неуваженье к старости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумленью, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставленьем ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не боясь ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраньям, радующийся, как бог весть какой находке, когда удается ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое

шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, понявший службу единственно в уменье различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлёстова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошлое, с притязаньями на уваженье от нового поколенья, с требованьями почтенья к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбранить вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уваженья, но покровительница арапчонок, мосек и людей вроде Молчалина,— словом, старуха дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин— тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибо-

едова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы — дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремленье чем-то сделаться, выражает только негодованье противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.

Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержанье, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношенье к герою пьесы, но в отношенье к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае — то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре,— это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом;

огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это — продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданья художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой, в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится.

Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленье захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий — завянуть и пропасть,— он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неиз-

вестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом *безочарование*. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету *очарованье* и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход *разочарованье*, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и *безочарованью*, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованье ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотворенье, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определительности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва» и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Не заметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду — излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой

правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни— готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих,— и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя.

Но пора, однако же, сказать в заключенье, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей. Имела ли она влиянье на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которыми должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества — картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием — под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влияньем выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше,— чего не случалось еще доселе ни с одним народом,— воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное

произведенье; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существованье среди его поэта. Словом — поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурою. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличенья нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенней всякое свойство наше. Причиной второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодованья благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том *идеале*, в каком он должен быть, ни в той *действительности*, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она совокупила только в одно казнохра-

нилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвастаться собой, что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого повелена богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы,— если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общею по всей России и равно желанною всем,— то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-ис-

полинском величии не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию [1], не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство *чуткости*, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: названье *ухо*, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; *удача* — всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русский ум*. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли сво-

---

[1] Маркиз Кюстин. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

ей даже несходных с ним людей,— одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума — он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (сто́ит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа,— которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры и личные выгоды каждого — все позабыто, и вся Россия — один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический, бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих Язы-

кова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий, воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью,— все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настрояет душу к слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служенью более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить и самому искусству,— как ни прекрасно это служение,— не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих,— христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую сам не-

бесный творец наш считает перлом своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня созданья своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума,— который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея воз-

можность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека,— язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей — дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки,— не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию — нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».

⟨1846⟩

ИЗ СТАТЕЙ

1846—1847 гг.,

не напечатанных при жизни Гоголя

О «СОВРЕМЕННИКЕ»

(ПИСЬМО К П. А. ПЛЕТНЕВУ)

Наконец поговорю с тобой о «Современнике». «Современник» вышел плохим журналом, несмотря на прекрасную цель, которую ты имел в виду. Даже эта самая прекрасная цель, во имя которой ты предпринял его, не обнаружилась никому очевидно и ясно из самого журнала,— напротив, всяк спрашивал в недоуменье друг у друга: «Объясните мне, зачем и для чего издает Плетнев свой журнал? что хочет он сказать им? что значат эти общие места в его программе, эти повторения о беспристрастии, о бескорыстной любви к искусству, о стремлении к истине и т. п., которые обещает всякий журналист и которых не исполняет никто?» Тощее содержание его тоненьких книжек, неживой, безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном задавал только загадку решать: зачем он назван «Современником»? Будем говорить откровенно. У тебя нет качеств журналиста: ни юношеского живого участия ко всем волненьям современным, ни того трепета любопытства к вопросам, раздающимся в массе общества, ни, наконец, энциклопедического науколюбивого стремления обнимать с равной охотой все, что ни относится к развитию познаний человеческих во всех родах. Твоя антологическая душа получила только на долю себе один возвышенный дар —

услаждаться благоуханьем прекрасных цветов поэзии и обонять аромат высших движений души человеческой. Не певцу «Миниха» и некоторых других прекрасных элегий, свидетельствующих о чистоте вкуса и скромной тишине души самого певца, выступать было на поприще полемическое. «Современник» даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то что Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполненью. Он хотел сделать четвертное обозренье вроде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем, сильного желанья издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на изданье его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живей к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили; но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня провиденье, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной для всех утратой, а для тебя еще скорбнейшей, чем для всех, пораженный сиротством современного общества, очутившегося без поэзии, как без света, осужденного выслушивать пустые и черствые пренья и споры об искусстве наместо дел самого искусства, пораженный этим сиротством, которое, впрочем началось уже и при Пушкине, ты взялся горячо за издание журнала, стремясь насильно создать ту поэтическую Элладу, которая образовалась сама собой в начале поприща Пуш-

кина. В пылу великодушного увлеченья своего ты даже позабыл то, что не мы управляем делами и событиями, но чертится свыше всему черед свой. Ты даже не приметил того, что имел такую цель, которой ни в каком случае нельзя было достигнуть листками периодического ежемесячного издания. «Современник», как журнал, не удался бы даже и тогда, если бы ты заключал в себе все качества журналиста. Признаюсь, я даже не могу и представить себе, чем может быть нужно нынешнему времени появленье нового журнала. Это энциклопедическое образование публики посредством журналов уже не так теперь потребно, как было прежде. Публика уже более приготовлена. Уже все зовет ныне человека к занятиям более сосредоточенным, не только значительность современных вопросов, но даже самая пустота современного общества и легковесная ветреность дел его приглашают ныне человека взглянуть строго на самого себя, вопросить с большей отчетливостью свои силы и определить себе труд не временный, минутный, но тот живительный и полный, который ответствует одним тем способностям, которыми своеобразно наделен из нас каждый уже от самого рожденья своего. Никакой новый журнал не может дать теперь обществу пищи питательной и существенной. «Современник» должен отбросить от себя названье журнала; он должен сжаться по-прежнему в книги наместо листов и более еще, чем при Пушкине, походить на альманах: он должен скорей напомнить собой «Северные цветы» барона Дельвига, с которым было у тебя так много сходства в уменье наслаждаться и нежиться благоуханными звуками поэзии. Пусть лучше будет выходить он три раза всякий год в урочные времена: первый раз ко дню светлого воскресенья, как светлый подарок на праздник, во второй раз к 1 октября, то есть ко времени, когда все съезжаются у нас из дач и деревень в города, в третий раз — к новому году. Словом — пусть он будет современен тем эпохам, когда с большей жадностью встречается новая книга. Все собственно журнальное в нем не должно иметь места: ни возвещенья о новостях ежедневных, ни политические известия, ни поименования всех выходящих книг, разве только один строгий отчет о

замечательнейших из них за всю треть, в таком виде, чтоб он сам собой мог уже составить замечательную литературную статью. Нужно, чтобы здесь ничто не поминало читателю о том, что есть какие-нибудь распри в литературе и существует журнальная полемика. Самые статьи должны быть допущены сосредоточенные, полные, которые ничем не походили бы на торопливые, отрывочные статьи журналов. Нужно, чтобы здесь были одни лучшие цветы современной нашей литературы. Этого можно достигнуть только таким изданием, которое будет выходить не более трех раз в год: в три месяца можно набрать книжку. Современное нам время, слава богу, не без талантов. Часть прозаическая альманаха может быть теперь гораздо значительней и богаче, чем когда-либо прежде. Поименуем нарочно тех современных писателей, статьями которых может украситься «Современник». Прежде всего следует назвать графа Соллогуба, который бесспорно есть нынешний наш лучший повествователь. Никто не щеголяет таким правильным, ловким и светским языком. Слог его точен и приличен во всех выраженьях и оборотах. Остроты, наблюдательности, познаний всего того, чем занято наше высшее модное общество, у него много. Один только недостаток: не набралась еще собственная душа автора содержанья более строгого и не доведен еще он своими внутренними событиями к тому, чтобы строже и отчетливей взглянуть вообще на жизнь. Но если и это в нем совершится, он будет вполне верный живописец лучшего общества; значительность творений его выиграет больше чем сто на сто. Непосредственно за ним следует назвать другого писателя, который скрыл свое имя под выдуманным: козак Луганский. Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремленья производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живостью его слово. Все у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, кото-

рого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизанимательнейшая повесть. По мне, он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанью русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочинения — живая и верная статистика России. Все, что ни достанет он из своей многовмещающей памяти и что ни расскажет достоверным языком своим, будет драгоценным подарком для твоего альманаха. Я не знаю, почему замолчал Н. Павлов, писатель, который первыми тремя повестями своими получил с первого раза право на почетное место между нашими прозаическими писателями и который повредил себе только тем, что, не захотевши быть самим собой, вздумал копировать (в трех новых повестях своих) тех модных нувеллистов, которые гораздо его ниже. Он мог бы всегда, не прибегая ни к напряженным вымыслам поэтическим, ни к мозаичным искусственным украшениям речи, так изуродовавшим благородный и ясный слог его, взять на выдержку первое психологическое явленье нашего общества и рассказать его так отчетливо и умно, что повесть его имела бы все принадлежности тех строгих классических произведений, которые остаются навсегда образцами в литературе. Я вижу тоже много достоинств в писателе, который подписывает под своими сочинениями имя: Кулиш. Цветистый слог и большое познание нравов и обычаев Малой России говорят о том, что он мог бы прекрасно написать историю этой земли. Он мог бы еще с бо́льшим успехом составить живые статьи для альманаха и в них рассказать просто о нравах и обычаях прежних времен, не вставляя этого в повесть или драматический рассказ, подобно тому как некогда рассказывал Корнилович о временах до Петра и при Петре. Роман же его, довольно любопытный по частям, вял и скучен в целом: эти драгоценные перлы сведений исторических, которые рассыпаны на страни-

цах его, погибают там совершенно бесплодно. Мне сказывали, что вообще в последнее время *повесть* сделала у нас успех и несколько молодых писателей показали особенное стремленье к наблюденью жизни действительной. Из того, что удалось прочесть мне самому, я заметил также тому признаки, хотя постройка самих повестей мне показалась особенно неискусна и неловка; в рассказе заметил я излишество и многословие, а в слоге отсутствие простоты. Но я уверен, что если в каждом из этих писателей прежде сформируется человек, чем писатель,— все прочее придет само собою, и каждый из них, обнаружа еще сильней особенности пера своего, не покажет ни одного из этих недостатков. Не могу не упомянуть о писателе, выступившем на литературное поприще драмою «Смерть Ляпунова». Не имея в себе полной зрелости строенья драматического, которое доступно одним только опытным драматургам, драма эта имеет в себе много тех достоинств, которые пророчат в творце ее писателя замечательного. Слышать живость минувшего и уметь заговорить о нем таким живым языком — это свойство великое! Я бы на его месте так и впился в русские летописи и ни на миг не оторвался бы от этого чтения. Он может много извлечь оттуда прекрасных предметов. Почему знать, может быть, от такого чтения родилась бы в нем благословенная мысль написать правдивую историю времени, его преимущественно поразившего. Вполне историческое произведение, исполненное писателем, умеющим так живо чувствовать исторические характеры, и написанное таким живым пером, будет в несколько раз значительней исторических драм. Кстати о молодых и начинающих писателях. Мне бы очень хотелось, чтобы ты отыскал Прокоповича и умел склонить его взяться за перо повествователя. Из всех тех, которые воспитывались со мною вместе в школе и начали писать в одно время со мной, у него раньше, чем у всех других, показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива; все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило в нем плодовитейшего романиста. Он задремал теперь, я это знаю; он дал заснуть в

себе желанию действовать на поприще просторном, самый круг его стал тесен и перед ним мало жизненного поля для наблюдений. Но жизнь везде жизнь, и чем меньше ее простор и теснее ее круг, тем основательней и глубже он может быть нами исследуем и проникнут. Уже самая своя собственная душевная повесть, предметом которой будет взято собственное пробуждение от мертвенного застоя, заставляющее с ужасом взглянуть человека на животно-истраченную жизнь свою, может быть высоким предметом для романа. Какой бы праздник был душе моей, если бы я встретил в «Современнике» повесть, под которою было бы подписано его имя! Что же касается до меня самого, то я по-прежнему не могу быть работящим и ревностным вкладчиком в твой «Современник». Ты уже сам почувствовал, что меня нельзя назвать писателем в строгом классическом смысле. Из всех тех, которые начали писать со мною вместе, еще в лета моего школьного юношества, у меня менее, чем у всех других, замечались те свойства, которые составляют необходимые условия писателя. Скажу тебе, что даже в самых ранних помышлениях моих о будущем поприще моем никогда не представлялось мне поприще писателя. Столкнулся я с ним почти нечаянно. Некоторые мои наблюдения над некоторыми сторонами жизни, мне нужными для дела душевного, издавна меня занимавшего, были виной того, что я взялся за перо и вздумал преждевременно поделиться с читателем тем, чем мне следовало поделиться уже потом, по совершении моего собственного воспитанья. Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, первые необходимые орудия всякого писателя: они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или подобно мне живописать природу: он заставит их производить карикатуры.

Доказательство этому можешь видеть на некоторых молодых и неопытных подражателях моих, которые именно через это самое подражание стали несравненно ниже самих себя, лишив себя своей собственной самостоятельности. У меня никогда не было стремленья быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас,— стремленья, которое тревожит поэта во все продолженье его жизни и умирает в нем только с его собственной смертью. Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе. Итак, если я почувствую, что чистосердечный голос мой будет истинно нужен кому-нибудь и слово мое может принести какое-нибудь внутреннее примиренье человеку, тогда у тебя в «Современнике» будет моя статья; если ж нет — ее не будет. И ты на меня за это никак не гневайся. Я здесь не упомянул также ни об одном из тех современных прозаических писателей наших, которые, будучи заняты собственными изданиями или же сидя над трудами более отвлеченными, требующими полного внимания, не имеют ни возможности, ни досуга поработать для твоего «Современника». Их не следует и беспокоить. Здесь кстати я должен тебя побранить. Ты был несправедлив, приписывая безучастное невнимание многих литераторов к твоему журналу их равнодушию к общему делу, нелюбви к искусству, деньголюбию и т. п. У всякого есть свое внутреннее дело; у всякого совершается в душе свое собственное событие, на время его отвлекающее от участия в деле общем; и никак нельзя требовать, чтобы другой жертвовал собой и своей собственной целью для какой-нибудь нами любимой мысли или нашей цели, к которой мы предположили себе стремиться. Каждому определяет бог дорогу, непохожую на ту, которую назначено проходить другому, и нельзя мерять всех одним и тем же аршином. А потому уважай и самый отказ другого даже и тогда, если бы он не захотел объявить причины, почему не может дать статьи в «Современник». Довольствуйся тем, что дадут. Если только одни поименованные мною писатели дадут статьи свои, то и этого уже будет достаточно. Но я знаю, что дадут еще и другие, которых я не назвал. Вопреки людям, жалующимся на

недостаток талантов в нынешнее время, я вижу их теперь гораздо больше, чем когда-либо прежде. Они не попали на свою дорогу. Еще никто из них не умел стать самим собой, и это причина их неприметности; но многие из них уже болеют этим желанием, хотя и не знают, как удовлетворить ему. Стремленье узнать назначенье свое есть теперь страданье многих людей, одаренных способностями. Оно-то есть настоящая, истинная причина дремоты и бездейственности на поприще литературном.

Стихотворная часть «Современника» может быть также весьма богата, невзирая на то, что, по-видимому, в современном обществе угаснуло расположение к поэзии. Слава богу, еще здравствует сам патриарх нашей поэзии: еще небо хранит нам Жуковского. В награду за безукоризненную, чистую жизнь ему одному из всех нас дано почувствовать свежесть молодости в старческие лета и силу юноши для дела поэтического. Его нынешние труды далеко полновесней и значительней прежних. Не нужно судить о нем по тем стихотворным сказкам и повестям, которые были помещены в последнее время в «Современнике». Они не могли и не должны были произвесть никакого впечатленья на общество, и нечего удивляться, что общество, оценивая всякое новое произведение относительно своих собственных потребностей душевных, ища в нем ответа на тревожные исканья свои, назвало эти стихотворенья *ребячеством* Жуковского. Они, точно, назначены для малолетних детей. Повести и сказки эти должны были выйти особой книжкой под названием: «*Подарок детям от Жуковского*». Он сделал ошибку, пославши их в журнал. Я говорил это ему тогда же, советуя или ничего не посылать, или послать то, что пришлось бы по душе взрослому человеку. Но теперь я знаю, что он пришлет тебе в альманах который-нибудь из тех перлов, которые выработались во глубине его собственной души, где в последнее время так много произошло прекрасного. Еще, слава богу, здравствуют два другие первоклассные наши поэты: князь Вяземский и Языков, и могут подарить «Современник» новыми, дотоле не раздававшимися от них звуками — звуками, исторгнутыми из выстра-

давшегося сердца, песнями самой души, уже набравшейся строгого содержания высшей поэзии. Самые наши молодые, недавно показавшиеся поэты, которых я здесь не называю по именам, которые показали покуда одно благозвучие, легкость и щегольство стихосложенья, но еще не показали истинных и верных ощущений своих, могут заговорить струнами поэзии, более нам близкой. Поэзия есть чистая исповедь души, а не порожденье искусства или хотенья человеческого; поэзия есть правда души, а потому и всем равно может быть доступна. Способность вымысла и творчества есть слишком высокая способность и дается одним только всемирным гениям, которых появленье слишком редко на земле; опасно и вступать на этот путь другому. Многие даже из первоклассных талантов становились ниже себя, зашедши в область вымысла, но высоко возвышались даже и небольшие таланты, когда событиями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Приспевает время, когда жажда исповеди душевной становится сильнее и сильнее. Много поэтических звуков издадут даже и те, которые не помышляли быть поэтами; много прекрасных цветков, много драгоценных вкладов нанесут к тебе со всех сторон в твой «Современник». Ты сам, хотя уже давно не пробовал звуков оставленной и позабытой тобою лиры, примешься за нее вновь. Ты, верно, испытал в это время тоже не мало скорбных минут и никем не услышанного горя; твоя душа, верно, томилась также желаньем передать и объяснить себя, искала друга, которому могло бы быть доступно тяжкое состоянье ее, и, не найдя его нигде, обратилась наконец к тому родному всем нам существу, которое одно умеет принимать любовно на грудь к себе тоскующего и скорбящего и к которому наконец все живущее обратится. Припомни же все эти минуты, как минуты скорбей, так и минуты высших утешений, тебе ниспосланных; передай их, изобрази в той правде, в какой они были. Тебе помогут слезы умиленья и растроганные чувства признательной души твоей; они помогут тебе передать с такой силой, с какой не сумеет передать их великий, владеющий чародейством вымысла, но еще

не выстрадавшийся поэт. «Современник» тогда оправдает данное ему названье, но оправдает его в другом — высшем смысле: он будет современен всем высшим минутам русского писателя и человека. Он тогда ближе приблизится к той цели, которая доселе так отдаленно и неясно представлялась в твоих мыслях: он соединит эстетическим союзом прекрасного братства всех пишущих. Один только ты в России можешь предпринять и выполнить такое издание, потому что один только ты питал о нем постоянную мысль; один только ты не имел в виду денежных интересов и вознаграждений за труды; один ты безотчетно питал чистую, младенческую любовь к искусству, сделавшую тебя другом лучших поэтов наших и превратившую для тебя самое искусство в твое собственное, как бы родное и семейственное дело. Стало быть, одному только тебе может быть вверено такое издание. Оно должно быть роскошно; оно должно быть во всех отношениях драгоценным подарком; печататься со всей возможной типографической роскошью, украситься лучшими гравюрами и виньетами, какие могут только быть произведены у нас в России (граверов выбери русских, иностранцев сюда не вмешивай). Меру книгам дай небольшую, немного чем побольше «Северных цветов»; словом — чтобы и по достоинству и по виду изданье походило на драгоценность. Все это можешь исполнить один только ты, потому что, не имея в виду пользоваться доходами с него для своего собственного содержанья и прокормленья, ты можешь всё употребить на красоту самого издания и таким образом доставить хлеб бедным художникам нашим, которым приходится иногда претерпевать горькую чашу.

Итак, если все это, что я теперь сказал, пришлось тебе по сердцу, то, благословясь, приступай с богом к составленью первой книжки «Современника» ко времени наступающего праздника светлого воскресения 1847 года, а письмо мое поставь первой статьей, в виде программы или вступленья в самую книгу. До того же времени дай его прочесть всем тем, от которых ты пожелал бы иметь статью. Как ни слабо и ни поверхностно оно написано, но я уверен, что по прочтенье его всяк

согласится вместе с тобой и со мной в необходимости такого издания в России и, верно, даст тебе наилучшее из своих произведений. В газетных листах ты можешь объявить о нем только немногими словами — именно что «Современник» будет выходить в трех книгах в означенные сроки; прибавь к этому одни только имена тех, которых статьи будут помещены,— этого достаточно. Пусть лучше все остальное, как достоинство статей, так и роскошь самого издания, будет приятной неожиданностью для каждого читателя.

‹1846›

АВТОРСКАЯ ИСПОВЕДЬ

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как «Выбранные места из переписки с друзьями». И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть всё и воспользоваться этим случаем как указаньем свыше — рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осужденьями и упреками, уверясь, чем далее, более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон,— словом, тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом божиим. Но на этот раз, несмотря на то что многие упреки были

истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо *отчасти*, никак не может быть справедливо *вполне*. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке: прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознанье искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мненье о своих достоинствах; желанье искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смиренье и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще бóльших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и все, что таит внутри человек, выступило наружу; с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого все, что ни есть в душе, просится на свет; ударилось ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.

Но к этому заключению, может быть более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежущую точку воззрения. Издавая ее под влияньем страха смерти своей, который преследовал меня во все время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что дóлжно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состоянья. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неуменье выражаться — принадлежности не вполне организовавшегося писателя — все это споспешествовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений невпопад. Гордость отыскали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противуположною причиною; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничиженьем то, что было вовсе не уничиженьем. А что главнее всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только до-

ходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в сужденьях своих о моей книге всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого.

Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам совершенно ясным и, остановившись над двумя-тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противуположные духу всего сочинения. Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещенья народного,— это показалось мне очень странно, тем более что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещенье народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещенье самого народа, полезней просвещенье тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим вниманья к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем затем, чтобы жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя.

Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу[1]. Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значенье поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не менее странно также из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещенья европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершенствованья человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знанья эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли, наместо того чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу и что только с помощью этого знанья можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что, прежде чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе примененье самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом.

Словом, все эти односторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не считал одно-

---

[1] На завещанье не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред того, пред которым ни один человек не бывает прав. *(Прим. Н. В. Гоголя.)*

сторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположенье, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубежденье, прежде чем она явилась в свет, и всякий глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубежденье, а самого читателя успокоить. Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные, и притом не раздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть излиянье и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблужденье, как и всякий человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью — это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, — исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассужденню, как бы умен ни был рассуждаю-

щий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к охужденью себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произнесен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего — в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придирчивы сами. Благороден по крайней мере тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений,— запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принялся за другое, мне чуждое?

Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее обсудить меня, чтобы увидал читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или и в моей судьбе, так же как и во всем, следует признать участие того, кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя послужит объясненьем хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно и мне не легко самому от этого вихря недоразумений.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь и все это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребыванья моего в школе, были почти все в лирическом и серьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками, хотя в самих ранних сужденьях моих о людях находили уменье замечать те особенности, которые ускользают от вниманья других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но *угадать* человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза.

Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец один раз, после того как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за «Донкишота», никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и в заключенье всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.) На этот раз и я сам уже задумался серьезно,— тем более что стали приближаться такие годы, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь

смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После «Ревизора» я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я пробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то вроде отвращенья: все у меня выходило натянуто, насильно, и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая животворит все и без которой нейдет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности

и силы, и что, исполняя его, он служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменил множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства,— нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова. А потому и не мудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то что сгорал действительно желаньем служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил все: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем чтобы вдали и в уединенье от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно

те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которых не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни,—словом, чтобы по прочтеньи моего сочиненья предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем,— также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидал, что нужно со смехом быть очень осторожным,— тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя присту-

пить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время все современное; я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познанье людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познанья душевного, на которой стоял он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотоле как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движеньях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого,— словом, нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитанье довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об ученье пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном ученье, но и в простом нравственном, глядя на себя самого как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу; я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спо-

хватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желаньи своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и сгорать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем сам сын божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен отец ваш небесный». Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничиженье паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Противным я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благостный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякий раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя за то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Все меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякий раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь вроде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения — и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти всегда болезнию, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключеньем? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был — жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к тому, кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без вниманья людьми,— и я пришел к тому, который один полный ведатель души и от кого одного я мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.

Как только кончилось во мне это состояние и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желанье сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными, практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякий должностной и чем-нибудь занятый человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне казалось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не содержа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его как следует, верно, и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры — первые, какие им попадутся. Все это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне просто нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем противу действительности, противу времени или эпохи, какая им взята. Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не *писал* портрета, в смысле простой копии. Я *создавал* портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не вообра-

женья. Чем более вещей принимал я в соображенье, тем у меня верней выходило созданье. Мне нужно было знать гораздо больше сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображенье — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображенье мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей «Переписка с друзьями» несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них бóльшая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньем анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека, и наших русских вопросов занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела. Я сделал в то же время воззванье ко всем читателям «Мертвых душ» — воззванье несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на «Мертвые души»: мне хотелось под этим предлогом добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень, неподъемность на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтенье «Мертвых душ» может расшевелить, особен-

но если и карандаш и бумага будут при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщею известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь, более чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы всё стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтенье «Мертвых душ» наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе, в то время когда писаны были «Мертвые души», произошло некоторое обращенье на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что он верным и живым изображеньем людей, характеров и случаев своего времени может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любопытно занимает все, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал, как дитя; я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не

получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу все это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состоянья моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России. Для тех, которые не могут этого почувствовать, объяснюсь, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображеньем, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отдалимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частию избирали эпоху, от нас отдалившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас от всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда. У меня не было влеченья к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру. Притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряду других

и стать на такое место, откуда бы я мог увидать всю массу, а не людей только, возле меня стоящих,— как бы, отдалившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влеченья и страсти к чужим краям. Я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвованье и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле, тоскующим по своей отчизне; картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может быть, это было просто то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина,— ехать в чужие края единственно затем, чтобы, по выраженью его,

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.

Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влеченье было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытьи моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться,— точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я

всегда любил, что, прежде чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях, и, несмотря на то что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях,— и точно, во все время пребыванья моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет, не приходили мне никогда на мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорченья и, наконец, потребность бо́льшего уединения не заставили меня оставить Россию.

Два раза я возвращался потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большею частию любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в аглицком клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякий из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидать людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотверженья, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидать ее глубокий смысл и сильнейшее значение,— движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но, с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключенья из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того,

мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, когда всяк рассказывал только то, что видел, слышал на своем веку, и разговор казался собраньем анекдотов, а не рассужденьем. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.

Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского. Словом — во все пребыванье мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое; дух мой упадал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мыслях целой, желанье знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье выспрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжение недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении к тому, чтобы побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству не много возьмешь, останутся в голове только станции да трактиры. Знакомства и в городах и в деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности: могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если ж узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положенье еще смешнее: половина читающей России уверена серьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувство-

вал я так сильно потребности знать современное состояние нынешнего русского человека — тем более что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственною рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица моего сочинения крупней прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчисленные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным, будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет все ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, из которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассужденьем и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощенье в плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека,— словом, когда соображу все от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше выводить, чем выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и тороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге «Переписка с друзьями», в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для

многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.

Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос: «Зачем?» Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне определено было не иначе приобрести познанье души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к тому, кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем все это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?

Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько раз писать по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребленье, и едва только оправился от тяжкой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, чтобы она походила на дельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой счет, особенно после завещанья, обращенного к лицу

всех соотечественников. Я боялся сам рассматривать ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может она будет так же уничтожена, как я уничтожал «Мертвые души» и как уничтожал все, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращу внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня все отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить себя, перо мое получило бы беглость и страницы полились непринужденно одна за другою,— таково ли душевное состоянье мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества: благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще, и вслед за тем — для такого писателя, как я?

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общею. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внут-

ренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в ту сторону, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требованья от него слишком велики — и справедливо: для того чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишенные способности *творить*. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться недаром. Нужно, чтобы в созданье его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так по крайней мере определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту все, что проходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель, может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных во-

просов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он все разрешил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познанье земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепкой скалой человеку, тогда он выступай на поприще. Владея такими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху, и оденет их портретною живостью, которая делает то, что изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеется, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом на место самых жарких рассуждений этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей,— и двери сердец растворятся сами навстречу к принятью их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильней такого писателя и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влиянье может быть скорее вредно, чем полезно. Это строенье себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличнее от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явленье, законный ход его необыкновенного организма, состоянье временное духа, может показаться другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти.

Чем больше одушевится он любовью к героям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, больше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильней измененье в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в помышленье не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблужденье свое, от которого потом, может быть, и отказалась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово — как воробей, говорит наша пословица: выпустивши его, не схватишь потом.

Я сам писатель, не лишенный творчества; я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле того... помышляю я о своем собственном строенье, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга «Переписка с друзьями» служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более как рассуждение, говорят, неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы,— что же было, если бы я выступил с живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильней, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы застряли крепко в головы, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, что все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений, а мои убеждения... Как сравню эту книгу с уничтоженными мною «Мертвыми душами», не могу не возблагодарить за насланное мне внушение их уничтожить. В книге моих писем я все-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных «Мертвых душах». Темнота выражения во многих

местах сбивает только читателя, но если бы яснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных «Мертвых душах» гораздо больше выражалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом — как честный человек, я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благоразумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынешнюю книгу, должны по крайней мере рассмотреть поближе все это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякий ум вообще, если только наклонен к тому, чтобы делать выводы и заключенья, а сам в то же время еще... должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только те, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе названье Луганского козака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.

Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне не легко отказаться от писательства: одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслажденье *творить*. Но, повторяю вновь как честный

человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что,— скажу откровенно,— жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нет лишений, вослед которым нам не посылается замена, в свидетельство, что ни на малое время не оставляет человека создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может быть без какого-нибудь желанья. Как земля, на время освобожденная от пашни, износит другие травы, покуда вновь не обратится под пашню, оплодотворенная и удобренная ими, так и во мне,— как только способность писать меня оставила, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и в тех, которые в нем покуда скрыты и видны не для всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желаньем знать человека,— то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий; где я могу употребить с действительной пользой мое знанье человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразуме-

ний и что больше нам нужен всякий такой человек, который бы, при некотором познаньи души и сердца и при некотором знаньи вообще, проникнут был желаньем истинным мирить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объясненьем прекращать можно было много таких дел, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест, но что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготовлял уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить созданья поэтические. Теперь все должности мне кажутся равны, все места равно значительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, которое в нем бывает даже и среди множества недостатков, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключенье, проникнут точно любовью к России,— то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю, пристань и твердая земля.

Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русский и кому дорога честь земли русской, должно также брать многие места и должности в государстве, с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды противу неприятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила... С другой стороны, я убежден, что место и должность нужны для самого себя, для...

Как ни бурно нынешнее время, как ни мятутся и ни волнуются вокруг умы, как ни возмущает тебя собственный ум твой, но можно остаться среди всего этого в тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно

было дать и за который дашь ответ небу. Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, от мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда один, всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что он знает, что такое жизнь, когда этот один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в нем его божественности, тогда следует поверить ему на слово, даже и в таком случае, если бы он был просто человек. Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь.

Этого мало. Нам дан полнейший закон всех действий наших, тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого, однако ж, нельзя исполнять на воздухе: нужно для того стоять хоть на каком-нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь по дороге; не имея определенного места и должности, идешь через кусты и овраги как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче, нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность как на средство к достиженью не цели земной, но цели небесной, во спасенье своей души — увидишь, что закон, данный Христом, дан как бы для тебя самого, как бы устремлен лично к тебе самому, затем чтобы ясно показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности. Христианину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что, если хотя немного он из того исполнит, все высшие его полюбят. Христианину сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже, так что, если хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемирность человеколюбивого закона Христова, все это отношенье человека к человечеству может из нас перенести всяк на свое небольшое поприще. Стоит только всех тех людей, с которыми происходят у нас частные неприятности наищекотливейшие, обратить именно в тех самых ближних и братьев, которых повелевает больше всего прощать и любить Христос. Стоит только не смотреть

на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть на то, как тебя любят другие, а смотреть только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбляясь ничем, подавать первому руку на примиренье. Стоит поступать так в продолжение небольшого времени — и увидишь, что и тебе легче с другими, и другим легче с тобою, и в силах будешь точно произвести много полезных дел почти на незаметном месте. Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил себе, в чем его должность: ему трудней всего применить к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе; а потому и жизнь должна быть для него вечной загадкой. Пред ним узник в тюрьме имеет преимущество: он знает, что он узник, а потому и знает, что брать из закона. Пред ним нищий имеет преимущество: он тоже при должности, он нищий, а потому и знает, что брать из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем его должность, где его место, не определивший себе ничего и не остановившийся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает, кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя. Он ближе всех к холодной черствости душевной.

Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперед, я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства: что назначенье человека — служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем государю небесному, и потому иметь в виду его закон. Только так служа, можно угодить всем: государю, и народу, и земле своей.

Уверившись в этом, я уже готов был тогда взять всякую должность, хотя, соображаясь с своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить с русским человеком, чтобы, если возвратится мне способность писать, набрались бы у меня материалы. Одною из главных причин моего пу-

тешествия к святым местам было желанье искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполненье должности, на вступленье в жизнь у самого того, кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы его; поблагодарить за все, что ни случилось в моей жизни; испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого я себя воспитывал и к которому приготовлял себя. Тут я не нахожу ничего странного, если и ученик по окончании своего ученья спешит сказать благодарственное слово учителю. Если сын спешит на могилу отца перед тем, как предстоит ему поприще,— почему же и мне не поклониться той могиле, которой поклоняются все, на которой все получают себе какое-нибудь напутствие, где вдохновляются все, даже и не поэты? Странно, может быть, то, что я об этом сказал в печатной книге. Но я в то время только что оправился от тяжкой болезни. Я был слаб; я не думал, что буду в силах совершить это путешествие. Мне хотелось, чтобы помолились обо мне те, которых вся жизнь стала одною молитвой. Я не знал, как сделать, чтобы голос мой достигнул в глубину келий и стен затворников, в мысли, что авось кто-либо из прочитавших донесет им мое слово. Я просил обо мне и других молиться, потому что не знал, чья молитва из нас угодней тому, кому мы все молимся. Знаю только то, что наипрезреннейший из нас может завтра же сделаться лучше всех нас и его молитва будет всех ближе к богу. За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: просящему дай.

Как случилось, что я должен обо всем входить в объясненья с читателем, этого я сам не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наиискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений. Я решился твердо не открывать ничего из душевной своей истории, выносить всякие заключения о себе, какие бы ни раздавались, в уверенности, что, когда выйдет второй и третий том «Мертвых душ», все будет объяснено ими и никто не будет делать запроса: что такое сам автор? — хотя автор и должен был весь спрятаться за своих героев. Но, начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я дол-

жен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочиненья связаны тесно с делом моей души. Бог весть, может быть и в этом была также воля того, без воли которого ничто не делается на свете; может быть, произошло это именно затем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя самого. Мне легко было почувствовать некоторую гордость, особенно после того, как удалось мне действительно избавиться от многих недостатков. Эта гордость во мне бы жила беспрестанно, и ее бы мне никто не указал. Известно, что достаточно приобрести в обращеньях с людьми некоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить их уже не замечать в нас наших недостатков. Но когда выставишься перед лицо незнакомых людей, перед лицо всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякий поступок, и люди всех возможных убеждений, предубеждений, образов мыслей взглянут на тебя каждый по-своему, и посыплются со всех сторон упреки впопад и невпопад, ударят и с умыслом и невзначай по всем чувствительным струнам твоим,— тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы никогда на себя не взглянул; станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых никогда бы не вздумал прежде отыскивать. Это та страшная школа, от которой или точно свихнешь с ума, или поумнеешь больше чем когда-либо. Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в моей книге, но при всем том благодарю бога, давшего мне силы издать ее в свет. Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, замышленная от искреннего желания принести пользу другим, книга моя принесла прежде всего пользу мне самому.

Но да позволено мне будет сказать здесь несколько слов относительно полезности ее другим. Точно ли бесполезна моя книга другим, и особенно обществу в его нынешнем, современном виде? Мне кажется, все судившие ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, как-то уже слишком сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнее. Вместо того чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на суд перед

всю Россию, нужно было рассмотреть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем основании, а не останавливаться над частями и подробностями прежде, чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вышли пустые придирки к словам и приписанье многому такого смысла, который мне никогда и в ум не мог прийти.

Начать с того, что я всегда имел право сказать о том, о чем говорил в моей книге, если бы только выразился попроще и поприличнее. Учить общество в том смысле, какой некоторые мне приписали, я вовсе не думал. Учить я принимал в том простом значении, в каком повелевает нам церковь учить друг друга и беспрестанно, умея с такой же охотой принимать и от других советы, с какой подавать их самому. А я был готов в то время принимать и от других советы. Я не представлял себе общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим собратьям, соученикам как равный им соученик; принес несколько тетрадей, которые успел записать со слов того же учителя, у которого мы все учимся; принес на выбор, чтобы всяк взял, что кому придется. Тут были письма, писанные к людям разных характеров, разных склонностей, и притом находившимся на разных степенях своего собственного душевного состояния, которые никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схватит только что нужно ему, а на другое не обратит внимания. Я не думал, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будет кричать: «Это мне не нужно!» — и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим учителем. Я думал, что по прочтенье книги будет мне сказано: «Благодарю тебя, собрат», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не завещание, которое я поместил довольно неосторожно, в котором намекал о поученье, которое обязан дать всяк автор поэтическими созданьями своими, никто бы и не вздумал мне приписывать этого апостольства, несмотря

даже на решительный слог и некоторую лирическую торжественность речи. Но в книге моей отыщет много себе полезного всяк, кто уже глядит в собственную душу свою.

Что же касается до мненья, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключенью, что верховная инстанция всего есть церковь и разрешенье вопросов жизни — в ней. Стало быть, во всяком случае после книги моей читатель обратится к церкви, а в церкви встретит и учителей церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему наместо моей книги другие — позначительнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам.

В заключенье всего я должен заметить: сужденья большею частию были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк, укорявший меня в недостатке смиренья истинного, не показал смиренья относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить суд над другим. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно быть выше того, которого судишь. Можно делать замечанья по частям на то и на другое, можно давать и мненья, и советы; но выводить, основываясь на этих мненьях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели — это такого рода обвинения, которых я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеймен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что, прежде чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрог-

нуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света. Не мешало бы подумать, прежде чем произносить такое обвинение: «Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека — кладезь, не для всех доступный иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наиискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрезывали уже мертвый труп». Нет, в книге «Переписка с друзьями» как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу, иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумение были для меня очень тяжелы, тем более что я думал, что в книге моей скорей зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их бог никому получать. Не могу не изъявить также и благодарности тем, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немощной натуры человека, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевши ободриться. Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом.

⟨1847⟩

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

1. В. А. и М. И. ГОГОЛЯМ

⟨22 января 1824 г. Нежин.⟩

Дражайшие родители
папенька и маменька.

Скрыпку и другие присланные вами мне вещи исправно получил. Но вы еще писали, что присылаете мне деньги на смычок, которых я не получил, и не могу до сих пор узнать, почему они не дошли ко мне, или вы забыли, или что-нибудь другое.

Извините, что я вам не посылаю картин. Вы, видно, не поняли, что я вам говорил, потому что эти картины, которые я вам хочу послать, были рисованы пастельными карандашами и не могут никак дня пробыть, чтоб не потереться, ежели сейчас не вставить в рамки. И для того прошу вас и повторяю прислать мне рамки такой величины, как я вам писал, то есть две таких, которые бы имели $^3/_4$ аршина в длину и $^1/_2$ в ширину, а одна такая, которая бы имела $1^1/_4$ длины и $^3/_4$ ширины, да еще маленьких две — $^1/_4$ и 2 вершка длины и $^1/_4$ ширины.

Посылаю вам при сем «Вестник Европы» в целости и прошу вас покорнейше прислать мне комедии, как-то: «Бедность и благородство души», «Ненависть к людям и раскаяние», «Богатонов, или Провинциал в столице». И еще ежели каких можно прислать других, за что я вам очень буду благодарен и возвращу в целости.

Также ежели можете, то пришлите мне полотна и других пособий для театра. Первая пьеса у нас будет представлена «Эдип в Афинах», трагедия Озерова.

Я думаю, дражайший папенька, вы не откажете мне в удовольствии сем и прислать нужные пособия. Так, ежели можно прислать и сделать несколько костюмов сколько можно, даже хоть и один, но лучше ежели бы побольше, также хоть немного денег. Сделайте только милость, не откажите мне в этой просьбе. Каждый из нас уже пожертвовал, что мог, а я еще только. Как же я сыграю свою роль, о том я вас извещу.

Уведомляю вас, что я учусь хорошо, по крайней мере сколько дозволяют силы. Вы пишете, что я вас не извещаю о том, что у нас делается и случается со мною. Позвольте мне вам сказать, что мне бы самому очень бы было любопытно знать, что делается как с вами, так и с посторонними лицами. Например, к величайшему моему сожалению, узнал я о смерти Василия Васильевича Капниста. Но вы мне об этом ничего не сказали. Как будто бы еще о сю пору я ребенок и еще не в совершенных летах и будто бы на меня ничего нельзя положиться. Я думаю, дражайший папенька, ежели бы меня увидели, то точно бы сказали, что я переменился как в нравственности, так и успехах. Ежели бы вы увидели, как я теперь рисую (я говорю о себе без всякого самолюбия).

Машеньку вы отдали в пансион или нет? Что делает Аненька и Лизонька? Надеюсь, что вы на это мне дадите ответ. Ожидая ж оного, остаюсь вашим послушнейшим и искренно Вас любящим сыном

Николай Гоголь-Яновский.

1824 года, генваря 22-го. Нежин.

2. В. А. и М. И. ГОГОЛЯМ

1824-го года, июня 13 дня. ⟨Нежин.⟩

Непонятным для меня кажется ваше молчание. Или вы не получили письма моего, или другие посторонние обстоятельства удерживают вас.

Мне бы очень хотелось иметь ответ на прежнее мое письмо; хотелось бы услышать от вас самих о скором

нашем свидании, или по крайней мере мог бы быть двумя строчками, которые для меня сократили бы медлительность моего ожидания, успокоен.

Я вам писал о приятном путешествии, которое мы скоро предприимем; о радостном нашем свидании; о удовольствиях, которые я буду вкушать. Разве это такой мелочный предмет, который должно оставить без внимания? верьте, любезные родители! что вся, так сказать, жизнь моя основана на этом. Сие блаженное время я почитаю центром моих желаний, источником моих удовольствий. Итак, надеюсь, вы ускорите письмом вашим. Но, правда, теперь уже его не нужно, я и позабыл, что ныне 13-е июня и что чрез 10 дней вы пришлете за мною (каникулы будут 20 июня). Но так как еще мне надо сделать платье, то мы не ранее 23 выедем отсюда; как бы я желал скорее. Г-н Баранов и Данилевский с нетерпением ожидают вместе со мною каникул. Ежели вы будете присылать за нами, то, пожалуйста, пришлите нашу желтую коляску с решетками и шестеркою лошадей. Не забудьте коляску с зонтиком, в случае дождя чтоб нам спокойно было ехать, не боясь быть промоченными. Я думаю, папенька не забыл сделать того, о чем я его просил,— именно для меня лошадку. Еще сделайте милость, пришлите нам на дорогу для разогнания скуки долго оставаться на постоялых дворах несколько книг из Кибинец; будьте уверены, что мы их привезем такими, какими они будут нам вручены. Но вместо повестей пришлите вы нам книгу под заглавием: «Собрание образцовых сочинений в стихах», с портретами авторов, в шести томах, за что мы будем очень благодарны.

Я уже почти собрался, уклал все свое имущество и ожидаю со дня на день сего времени: уже вижу все милое сердцу,— вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий Псёл, мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я сброшу, насладясь истинным счастием, забыв протекшие быстро горести. Одна счастливая минута может вознаградить за годы скорбей.

Время не позволяет более писать; мы теперь приготовляемся к экзамену.

Прощайте! дражайшие родители, прощайте, по не-

долго. Скоро мы увидимся, и сия радостная мысль наполняет мою душу восторгом. Скоро вы увидите у ног своих благодарного сына.

Н. Гоголь-Яновского.

P. S. Прошу вас прислать мне денег десять рублей, которые мне следует получить. Еще раз, они теперь мне пренужны, ибо мне надо расплатиться и купить еще красок для рисованья.

3. В. А. ГОГОЛЮ

⟨1 октября 1824 г. Нежин.⟩

Дражайший папенька!

Письмо ваше получил я 28 сентября. Весьма рад, находя вас здоровыми; за деньги вас покорнейше благодарю. Вы писали мне про стихи, которые я точно забыл: две тетради с стихами и одна «Эдип», которые, сделайте милость, пришлите мне скорее. Также вы писали про одну новую балладу и про Пушкина поэму «Онегина»; то прошу вас, нельзя ли мне и их прислать. Еще нет ли у вас каких-нибудь стихов, то и те пришлите.

Сделайте милость, объявите мне, поеду ли я домой на рождество; то, по вашему обещанию, прошу мне прислать роль. Будьте уверены, что я ее хорошо сыграю, чем я вам буду много благодарен.

Между прочим, прошу вас еще: нельзя ли каким-нибудь образом достать «Собрание образцовых сочинений в стихах и прозе», ибо мы теперь, проходя поэзию и части эстетики, весьма нуждаемся в примерах, с тем только чтоб на время, и я вам в чистоте их пришлю, переписавши.

Еще прошу уведомить меня — не приедете ли вы в Нежин когда-нибудь посетить нас и осчастливить меня своим присутствием.

Прощайте, дражайший папенька!

Ваш послушнейший и покорнейший сын

Николай Гоголь-Яновский.

4. Г. И. ВЫСОЦКОМУ

1827 года, генваря 17-го. Нежин.

Теперь только приехал я из дому, где был все праздники, и сегодня только получил твою записку от Шапалинского. Извини меня, бесценный друг, что я так неблагодарно отплатил за твое дружеское расположение: на письмо твое не отвечал ни слова. Я знаю, что ты, зная меня, не подумаешь, чтобы это произошло от какого-либо небрежения или холодности: нет, друг! По крайней мере позволь сказать, что ни к кому сердце мое так не привязывалось, как к тебе. С первоначального нашего здесь пребывания уже мы поняли друг друга, а глупости людские уже рано сроднили нас; вместе мы осмеивали их и вместе обдумывали план будущей нашей жизни. Половина наших дум сбылась: ты уж на месте, уже имеешь сладкую уверенность, что существование твое не ничтожно, что тебя заметят, оценят, а я... зачем нам так хочется скоро видеть наше счастие? зачем нам дано нетерпение? мысль о нем и днем и ночью мучит, тревожит мое сердце: душа моя хочет вырваться из тесной своей обители, и я весь — нетерпенье. Ты живешь уже в Петербурге, уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить наслаждения, а мне еще не ближе полутора года видеть тебя, и эти полтора года длятся для меня нескончаемым веком... Много принесло мне удовольствия письмо твое; жадно перечитывал я тобою писанное, ловил слова, и мне казалось, будто я слышу из уст твоих. И после всего этого, после всей радости, которую ты прислал ко мне с письмом, я ни слова не сказал тебе. Какая неблагодарность чернее этой? Но еще раз прошу тебя, не вини меня: ты знаешь мою оплошность, которую теперь уже оставил и принял твердое намерение писать нарочно побольше писем в разные места, чтобы тем приучить себя к исправности. Сделай милость, Герасим Иванович, для нашей старой привязанности, для нашей дружбы, не забудь меня,— пиши ко мне раз в месяц. С этой поры никогда письмо твое не будет оставлено без ответа.

Пиши мне о своей жизни, о своих занятиях, удовольствиях, знакомствах, службе и обо всем, что только напоминает прелесть жизни петербургской. Это одно для меня развеет горечь моего заточения, сблизит урочное время и покажет мне тебя в твоем быту. Я знаю, что не оставишь меня, и уже с восхищением в мечтах читаю письмо, забывая и местопребывание свое, и весь мир, выключая тебя с Петербургом.

Я здесь совершенно один: почти все оставили меня; не могу без сожаления и вспомнить о вашем классе. Много и из моих товарищей удалилось. Лукашевич поехал в Одессу, Данилевский тоже выбыл. Не знаю, куда понесет его. Здесь он весьма худо вел себя. Из старых никого нет. Нас теперь весьма мало, но мне до них дела нет: я совершенно позабыл всех. Изредка только здешние происшествия трогают меня, впрочем я весь с тобою в столице. Об твоем аттестате я всегда надоедал Шапалинскому и теперь крепко настоял, чтоб отсылать к тебе. Он уже изготовлен, и ты скоро получишь. Каково теперь у вас? Как-то будете веселиться на масленице? Ты мне мало сказал про театр, как он устроен, как отделан. Я думаю, ты дня не пропускаешь — всякий вечер там. Чья музыка? Что тебе сказать об наших новостях? здесь их совершенно нет. Писать тебе про пансион? он у нас теперь в самом лучшем, самом благородном состоянии, и всем этим мы одолжены нашему инспектору Белоусову. К масленице затевают театр. Дураки всё так же глупы. Барончик, Доримончик, фоп Фонтик-Купидончик, Мишель Дюсенька, Хопцики здрав и невредим и час от часу глупеет. Демиров-Мышковский, Батюшечка и Урсо кланяются по пояс. Мыгалыч чуть-чуть было не околел. Впрочем, всё благополучно. Бодян только просит у тебя на водку. Но прости: я болтаю пустяки и надоел уже, думаю, тебе до сна. По следующей почте я намерен еще тебе сказать кое об чем; а до того времени не забудь твоего верного, всегда и везде тебя любящего старинного друга

Н. Гоголя.

Божко и Миллер благодарят, что ты не забыл их.

5. М. И. ГОГОЛЬ

1827-го года, февраля 26-го. Нежин.

К числу мечтательностей своих иногда желаю быть ясновидцем, знать, что у вас делается, чем вы занимаетесь, и верите ли, почтеннейшая маменька, с каким удовольствием я занимаюсь отгадыванием всего того, что вас занимает... Как вы проводили масленую? весело ли? были ли у вас веселые собрания? Извините, что закидал вас кучею вопросов. Обыкновенно человеку, как говорят порядком повеселившемуся, всегда хочется сделать участником других, особливо ближайших к нему. Кто ж ближе к моему сердцу, как не вы, почтеннейшая маменька. Ваша радость, ваше удовольствие — и я счастлив.

Посмотрите же, как я повеселился! Вы знаете, какой я охотник всего радостного? Вы одни только видели, что под видом иногда для других холодным, угрюмым таилось кипучее желание веселости (разумеется, не буйной), и часто в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают его, встретясь с ним.

Ежели об чем я теперь думаю, так это всё о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству. До сих пор я был счастлив, но ежели счастие состоит в том, чтобы быть довольну своим состоянием, то не совсем. Не совсем до вступления в службу, до приобретения, можно сказать, собственного постоянного места. Масленицу, всю неделю, мы провели так, что желаю всякому ее провесть, как мы всю неделю веселились без устали. Четыре дня сряду был у нас театр, и, к чести нашей, признали единогласно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего. Правда, играли все прекрасно. Две французские пьесы соч. Мольера и Флориана, одну немецкую соч. Коцебу. Русские: «Недоросль», соч. Фонвизина, «Неудачный примиритель» Княжнина, «Лукавин» Писарева и «Береговое право»,

соч. Коцебу. Декорации были отличные, освещение великолепное, посетителей много, и всё приезжие, и все с отличным вкусом. Музыка тоже состояла из наших: восемнадцать увертюр Россини, Вебера и других были разыграны превосходно. Короче сказать, я не помню для себя никогда такого праздника, какой я провел теперь. Дай бог чтобы вы провели его еще веселее. Ожидают у нас директора, г-на Ясновского, со дня на день. Не знаем его характера. Говорят, что слишком добр, даже до слабости, чего мы боимся.

Позвольте вас, почтеннейшая маменька, потрудить одною просьбою. Сделайте милость, пришлите мне холста самого толстого штуки две и, ежели можно, более; нам необходимо нужен. Вы этим много, много одолжите меня, а до того остаюсь с сыновним почтением и самою жаркою преданностью и любовью, остаюсь навсегда преданнейшим сыном

Н. Гоголем.

Бабушке свидетельствую почтение. Дяденьке Андрею Андреевичу и тетеньке Ольге Димитриевне скажите, что я никогда не забываю их ко мне внимания и любви и досадую, что не знаю, чем доказать благодарность свою.

6. Г. И. ВЫСОЦКОМУ

1827 год, июнь, число 26. Нежин.

Пишу к тебе таки из Нежина. Не думай, чтобы экзамен мог помешать мне писать к тебе. Письмами твоими я уже более сблизился с тобою, и потому буду беспрестанно надоедать. Мне представляется, что ты сидишь возле меня, что я имею право поминутно тебя расспрашивать. Милый Герасим Иванович, знаю привязанность твою: она вылилась вся в письме твоем. Она, кажется, растет между нами более и более и утверждается нашею разлукою. Люблю тебя еще более, чем прежде, и спешу соединиться с тобою, хотя ты меня ужаснул чудовищами великих препятствий. Но они бессильны;

или — странное свойство человека! — чем более трудностей, чем более преград, тем более он летит туда. Вместо того чтобы остановить меня, они еще более разожгли во мне желание. Меня восхищает, когда я подумаю, что там есть кому ждать меня, есть кому встретить родным приветствием и облеснуть лицо светлою радостью. Означились мне на сердце также и друзья-приятели твои. Я не знаю их, никогда не видал, но они друзья тебе, и я их так же люблю, как и ты. Зачем ты не наименил ни одного из них? Хотя имя не определит человека, не ознакомит с ним, однако я все бы мог из письма твоего узнать их характер, свойство, с кем ты более дружен, — особливо когда они будут действующими лицами в твоих письмах, чего мне непременно хочется. Уединясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине. Я иноземец, забредший на чужбину искать того, что только находится в одной родине, и тайны сердца, вырывающиеся на лице, жадные откровения, печально опускаются в глубь его, где такое же мертвое безмолвие. В таком случае я желаю знать тебя в кругу твоих друзей, где не скрываешься и где ваши занятия всегда радостны; хочу даже, чтобы ты писал мне ваши разговоры и целые происшествия замечательного дня. Может быть, я требую многого, но ты не откажешь в этом тому, у которого, кроме тебя, почти ничего не осталось и который только этим и бывает весел. И точно: я ничего теперь так не ожидаю, как твоих писем. Они — моя радость в скучном уединении. Несколько только и разгоняю его чтением новых книг, для которых берегу деньги, не составляющие для меня ничего, кроме их, и выписывание их составляет одно мое занятие и одну мою корреспонденцию. Никогда еще экзамен для меня не был так несносен, как теперь. Я совершенно весь истомлен, чуть движусь. Не знаю, что со мною будет далее. Только я и надеюсь, что поездкою домой обновлю немного свои силы. Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодатной свободы! Не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время!.. Как

тяжко быть зарыту вместе с созданьями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться... Из них не исключаются и дорогие наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь в зеркале видишь меня. Пожалей обо мне! может быть, слеза соучастия, отдавшаяся на твоих глазах, послышится и мне.

Ты уже и успел дать за меня слово об моем согласии на ваше намерение отправиться за границу. Смотри только, вперед не раскаяться! может быть, мне жизнь петербургская так понравится, что я поколеблюсь и вспомню поговорку: не ищи того за морем, что сыщешь ближе. Но уже так и быть: ты дал слово — нужно мне спустить твоей опрометчивости. Только когда это еще будет? Еще год мне нужно здесь да год, думаю, в Петербурге; но, впрочем, я без тебя не останусь в нем: куда ты, туда и я. Только будто ли меня ожидают? Меня это ужасть как приближает к Петербургу,— тем более что я внесен уже в ваш круг. Мое имя, я думаю, помнится между вами, и, может быть, по какому-то тайному сочувствию, кто-нибудь из друзей твоих наименит меня, как друга их друга, предугадывая, что он также добр. На днях я получил письмо от Любича, не знаю по какой благодати. Чего только он в нем не наговорил! и каламбуров и стишков. Изо всего письма я только мог заметить, что, увидевши мое письмо к тебе, он загорелся воспоминанием и решился подкрепить его посланием. На четырех страницах он не сказал об себе ни слова, даже не объявил при конце письма, что он Любич-Романович, а в заключение просил меня известить об *Кляроцьке* Курдюмовой, об которой ты, я думаю, сам знаешь, какого я глубокого сведения: даже не видал ее ни разу. Жалею, однако ж, что мне нет времени писать, особливо теперь. Чтоб он еще, однако ж, не почел за пренебрежение. Извини меня как-нибудь перед ним... Нет ли там у вас Николаевича-Кобеляцкого? Мы уже

год как его не видим. Сначала было наведывался к нам, а теперь пропал без вести. У нас теперь у Нежине завелось сообщение с Одессою посредством парохода, или брички Ваныкина. Этот пароход отправляется отсюда ежемесячно с огурцами и пикулями и возвращается набитый маслинами, табаком и гальвою. Семенозич Орлай, который теперь обретается в Одессе, подманил отсюда Демирова-Мышковского, которому давно уже гимназия открыла свободный, без препятствий пропуск за пьянство, и по сему поводу пароход совершил седьмую экспедицию для взятия в пассажиры Мышковского, а на место его в гувернеры высадил директорскую ключницу, ростом в сажень с половиною, которая привела было в трепет всю челядь гимназии высших наук князя Безбородко, пока один Бодяп не доказал, что русский солдат черта не боится, и в славном сражении при Шурше оборотил передние ее челюсти на затылок. Кукольник наш ходит теперь с бритою головою (опасаясь, верно, плотоядных животных), но, чтобы не выказать срамоты, заказал красную шапочку и этим точно охарактеризовал себя. И действительно, теперь он сделался таким, что всяк придет в недоумение, похож ли он на того человека, которому бреют голову, или на того, который ходит в красной шапочке и попеременно бесится, находясь то в степени (употреблю твое слово) амуристики, то в степени, обладавшей знаменитым изгнанником Демировым-Мышковским. Данилевский находится теперь в Москве — не могу наверно сказать где, но, кажется, в пансионе. Петр Александрович Баранов, наскуча недеятельною жизнью, захотел отведать трудностей воинских, и месяц назад я получил письмо, в котором объявляет он о своем определении в Северский конно-егерский полк. Адрес его: юнкеру Баранову, в Щигры, Курской губернии, отдать в квартиру полкового адъютанта.

Теперь гимназия наша заселена все семействами. Всем чиновникам пришла блажь жениться. Об женитьбе Шапалинского и Самойленка, я думаю, ты слышал: кроме того, Лаура (Персидский) совокупился законным браком с дочерью Капетихи. Вановский женится на

Филибертисе (он овдовел при тебе), Иеропес — на Базилевой сестрице, которая приехала из Одессы, Лопушевский на какой-то французской мамзели, которой имени, ей-богу, я до сих пор не знаю, хотя три месяца уже прошло после их обручения; и даже козак Моисеев намеревается, *вероятно*, уничтожить одиночество своей жизни, хотя это и *кроется во мраке баснословия*, но доказательством сему служит его покупка земли, на которой уже начал дом строить.

Мишель наш, барон Кунжут фон Фонтик — радуйся — снова у нас, а мы уже было думали, что он совсем нас оставит. Уже подал было прошение о принятии его в драгунский полк; но благоразумный отец, узнав об этом, отеческою рукою расписал ему задний фасад, в числе 150 ударов, и он, барончик Хопцики, обновленный явился у нас снова, празднуя свое перерождение. Но я, думаю, надоел тебе пустяками. Читая письмо мое, я думаю, ты почесываешь голову и частенько поглядываешь на часы, как на свидетелей теряемого времени. Но неужели мы должны век серьезничать,— и отчего же изредка не быть творителями пустяков, когда ими пестрится жизнь наша? Признаюсь, мне наскучило горевать здесь, и, не могши ни с кем развеселиться, мысли мои изливаются на письме и, забывшись от радости, что есть с кем поговорить, прогнав горе, садятся нестройными толпами в виде букв на бумагу, и в это время — вообрази — я на какую мысль набрел. Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, в той веселой комнатке окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в этаком райском месте или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире.

Но покуда еще неизвестно нам предопределение судьбы, ужели нельзя хотя помечтать о будущем? Этим богатством я всегда буду наделен. Оно не оставит меня во все дление жизни. Но слушай: будто ты сидишь у меня, будто говорим мы долго, будто смеемся, и —

веришь ли?— будто забывшись, перо выпадало раз двадцать на бумагу, разрушало мечтательные думы и с досады зачеркивало ничего ему не сделавшие слова. Ах, как в это время хотелось бы мне обнять тебя, увидеть тебя! Не знаю, может ли что удержать меня ехать в Петербург, хотя ты порядком пугнул и пристращал меня необыкновенною дороговизною, особливо съестных припасов. Более всего удивило меня, что самые пустяки так дороги, как-то: манишки, платки, косынки и другие безделушки. У нас, в доброй нашей Малороссии, ужаснулись таких цен и убоялись, сравнив суровый климат ваш, который еще нужно покупать необыкновенною дороговизною, и благословенный малороссийский, который достается почти даром, а потому многие из самых жарких желателей уже навостряют лыжи обратно в скромность своих недальных чувств и удовольнились ничтожностью, почти вечною. Хорошо, ежели они обратят свои дела для пользы человечества. Хотя в самой неизвестности пропадут их имена, но благодетельные намерения и дела освятятся благоговением потомков...

Какое теперь ужасное у нас плодородие, ты не поверишь,— особливо фруктов! Деревья гнутся, ломятся от тяжести. Не знаем, девать куда. Я воображаю об необыкновенной роскоши, которою я буду пресыщаться, приехавши домой. Уже два дни экипаж стоит за мною. С нетерпением лечу освежиться, ожить от мертвого усыпления годичного в Нежине, от ядовитого истомления вследствие нетерпения и скуки. Возвратясь, начну живее и спокойнее носить иго школьного педантизма, пока уроченное время, со всеми своими мучительными ожиданиями и нетерпением, не предстанет снова истомленному. Какая у нас засуха! более полтора месяца не шли дожди. Не знаю, что будет далее. Лето вдруг у нас переменилось: сделалось вдруг так холодно, что даже принуждены мерзнуть, особливо по утрам. Весна была нестерпимо жарка.

Позволь еще тебя, единственный друг Герасим Иванович, попросить об одном деле... надеюсь, что ты не откажешь... а именно: нельзя ли заказать у вас в Петербурге портному самому лучшему фрак для меня?

Мерку может снять с тебя, потому что мы одинакого росту и плотности с тобой. А ежели ты разжирел, то можешь сказать, чтобы немного у́же. Но об этом после, а теперь — главное — узнай, что стоит пошитье самое отличное фрака по последней моде, и цену выставь в письме, чтобы я мог знать, сколько нужно посылать тебе денег. А сукно-то, я думаю, здесь купить, оттого что ты говоришь — в Петербурге дорого. Сделай милость, извести меня, как можно поскорее, и я уже приготовлю всё так, чтобы по получении письма твоего сейчас всё тебе и отправить, потому что мне хочется ужасно как, чтобы к последним числам или к первому ноября я уже получил фрак готовый. Напиши, пожалуйста, какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны, выставь их цены и цену за пошитье. Извини, драгоценный друг, что я тебя затрудняю так. Я знаю, что ты ни в чем не откажешь мне, и для того надеюсь получить самый скорый от тебя ответ и уведомление. Как ты обяжешь только меня этим! Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется. С нетерпением жду от тебя ответа, милый, единственный, бесценный друг.

Письмо мое начал укоризнами уныния и при конце развеселился. Тебе хочется знать причину? вот она: я начал его в Нежине, а кончаю дома, в своем владении, где окружен почти с утра до вечера веселием. Желаю тебе вполне им наслаждаться, и чтобы никогда минута горести не отравляла часов твоей радости. А я до гроба твой неизменный, верный, всегда тебя любящий

Николай Гоголь.

Из Нежина к тебе кланяются все,— примечательнее: Лопушевский, буфетчик Марко (прежний фаворит твой, с своею красною женкою), барон фон Фонтик, Давинье, Гусь Евлампий, Григоров, Божко, Миллер и проч. и проч., а отсюдова один только я приветствую тебя поклоном заочно.

7. П. П. КОСЯРОВСКОМУ

Нежин. 3-го октября, 1827-й год.

Бесценнейший ответ ваш на письмо мое я получил. Не знаю, чем возблагодарить вам, почтеннейший дяденька Петр Петрович; между теперешними вашими заботами и недосугами вы таки находите время писать ко мне, это наполняет меня сладкою уверенностью, что вы меня любите (может быть, я сказал много), что по крайней мере приверженность моя к вам не несносна. И я сохраню ее всегда, хотя разрознение наше едва ли когда может соединиться; неизвестность вашей участи для вас может быть так темна, как и моей для меня. К тому времени, когда я возвращусь домой, может быть ваш полк выступит бог знает куда, а меня судьба загонит в Петербург, откуда навряд ли залучу когда-либо в Малороссию. Да, может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, по крайней мере такую цель начертал я уже издавна. Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принесть ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом,— быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех, законов, теперь занимаюсь отечественными. Исполнятся ли высокие мои на-

чертания? или Неизвестность зароет их в мрачной туче своей? В эти годы эти долговременные думы свои я затаил в себе. Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений, не делал ничего, что бы могло выявить глубь души моей. Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя,— не для того ли, чтобы смеялись над моим сумасбродством, чтобы считали пылким мечтателем, пустым человеком? Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных. Я не знаю, почему я проговорился теперь перед вами,— оттого ли, что вы, может быть, принимали во мне более других участия, или по связи близкого родства, этого не скажу; что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствие вошло в грудь мою, что вы не почтете ничтожным мечтателем того, который около трех лет неуклонно держится одной цели и которого насмешки, намеки более заставят укрепнуть в предположенном начертании. Ежели же вы и не поучаствуете во мне, по крайней мере вы затаите мое письмо, так же как я затаил в себе одном свои упрямые предначертания. Доказательством сему может быть, что во все время бытия моего с вами я ни разу не давал себя узнать, занимался игрушками и никогда почти не заводил речь о выборе будущей своей службы, о моих планах и пр. Даже маменька, которая хотела узнать мой образ мыслей, еще не может сказать наверно, куда я хочу, причин еще некоторых я не могу сказать теперь. Впрочем, это только для одного меня может только быть занимательно. Прошу вас, бесценнейший Петр Петрович, не оставлять того, который к вам привязан более, нежели ко всем на свете, который вам выверил совершенно себя. Вы, думаю, будете иногда писать ко мне, я знаю, что вы не почтете этого в тягость, хотя редко, хотя через несколько месяцев раз. Но не досадно ли? я не могу больше писать к вам. Совершенно истомился весь. 12-ть часов проиграло, а я еще не написал к сестре. Прощайте! милый, бесценный дяденька Петр Петрович, может быть, до другой почты.

Н. Гоголь-Яновский.

Бедный дяденька, вам будет холодно, а вы и не напомнили, когда я был с вами, про тулуп, а между тем еще и свое отдали. Ах, как вы добры! хорошо, что добрая маменька моя догадалась сказать вам об этом. Сделайте милость, закутывайтесь, он тепел, только слишком тяжел. Он мне был совсем ненужен, я даже его ни разу не надевал.

8. М. И. ГОГОЛЬ

1828-го года, март, 1 число ⟨Нежин⟩.

Я чувствовал, что принесу вам большое неудовольствие своею просьбою, зная трудность выполнения ее. Я точно во многом, очень во многом пред вами виноват, почтеннейшая маменька. Недавно только понял я, что имел нужды не по своему состоянию, и что моей бедности тягостно было удовлетворять и ближайшие издержки; и узнал это тогда, когда потребовались еще нужнейшие, для моих занятий.

Я не говорил никогда, что утерял целые шесть лет даром, скажу только, что нужно удивляться, что я в этом глупом заведении мог столько узнать еще. Вы изъявляли сожаление, что меня вначале не поручили кому, но знаете ли, что для этого нужны были тысячи... Да что бы из этого было? Видел я здесь и тех, которые находились под особенным покровительством: им только лучше ставили классные шары, а в прочем они были глупее прочих, потому что они совершенно ничем не занимались. Я не тревожил вас уведомлением об этом, зная, что лучшего воспитания вы дать мне были не в состоянии и что не во всякое заведение можно было так счастливо на казенный счет попасть. Кроме неискусных преподавателей наук, кроме великого нерадения и пр., здесь языкам совершенно не учат, доказательством сему служат те, которые, приехавши сюда с некоторыми познаниями в языках, выезжали позабывши последние. Ежели я что знаю, то этим обязан совершенно одному себе. И потому не нужно удивляться,

если надобились деньги иногда на мои учебные пособия, если не совершенно достиг того, что мне нужно. У меня не было других путеводителей, кроме меня самого, а можно ли самому, без помощи других совершенствоваться. Но времени для меня впереди еще много, силы и старание имею. Мои труды, хотя я их теперь удвоил, мнэ не тягостны нимало, напротив, они не другим чем мне служат, как развлечением, и будут также служить им и в моей службе, в часы, свободные от других занятий.

Что же касается до бережливости в образе жизни, то будьте уверены, что я буду уметь пользоваться малым. Я больше поиспытал горя и нужд, нежели вы думаете. Я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. Всё выносил я без упреков, без роптания, никто не слыхал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренно сам смеялся над собою вместе с вами. Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности. У иных — умен, у других — глуп... Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер, верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу. Вы меня называете мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем. Уроки, которые я от них получил, останутся навеки неизгладимыми, и они верная порука моего счастия. Вы увидите, что со временем за все их худые дела

я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло их мне обратилось в добро. Это непременная истина, что ежели кто порядочно пообтерся, ежели кому всякий раз давали чувствовать крепкий гнет несчастий, тот будет счастливейший...[1]

9. М. И. ГОГОЛЬ

⟨1829⟩ 30 апреля. С.-Петербург.

В сей день я только получил ваше письмо с деньгами; около двадцати дней шло оно да более недели пролежало уже здесь на почте, по той причине, что я переменил прежнюю свою квартиру. Вы не ошиблись, почтеннейшая маменька, я точно сильно нуждался в это время, но, впрочем, все это пустое; что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли еще будет на жизненном пути, всего понаберешься; знаю только, что если бы втрое, вчетверо, всотеро раз было более нужд, и тогда они бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге. Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег. Несмотря на то что я отказываюсь почти от всех удовольствий, что уже не франчу платьем, как было дома, имею только пару чистого платья для праздника или для выхода и халат для будня; что я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно,— и, несмотря на это все, по расчету менее 120 рублей никогда мне не обходится в месяц. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире, вот я и решился... Когда наши в поле — не робеют. Но как много еще и от меня закрыто тайною и я нестерпением желаю вздернуть таинственный покров, то в следующем письме извещу вас о удачах или неудачах.

Теперь же расскажу вам слова два о Петербурге. Вы, казалось мне, всегда интересовались знать его и

---

[1] Окончание письма утрачено.

восхищались им. Петербург вовсе не похож на прочие столицы европейские или на Москву. Каждая столица вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на нее печать национальности, на Петербурге же нет никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев, а русские в свою очередь обыностранились и сделались ни тем ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, всё служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что, поравнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собою, иной приправляет телодвижениями и размашками рук. Петербург — город довольно велик; если вы захотите пройтиться по улицам его, площадям и островам в разных направлениях, то вы, наверно, пройдете более 100 верст, и, несмотря на такую его обширность, вы можете иметь под рукою все нужное, не засылая далеко, даже в том самом доме. Дома здесь большие, особливо в главных частях города, но не высоки, большею частию в три и четыре этажа, редко очень бывают в пять, в шесть, только четыре или пять по всей столице, во многих домах находится очень много вывесок. Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе двух портных, одну марпанд де мод [1], сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками. Я живу на четвертом этаже, но чувствую, что и здесь мне не очень выгодно. Когда еще стоял я вместе с Данилевским, тогда ничего, а теперь очень ощутительно для кармана: что тогда платили пополам, за то самое я плачу теперь один. Но, впрочем, мои работы повернулись,

[1] Модистку (*франц.*).

и я, наблюдая внимательно за ними, надеюсь в недолгом времени добыть же что-нибудь; если получу верный и несомненный успех, напишу к вам об этом подробнее.

В Петербурге много гуляний. Зимою прохаживаются все праздношатающиеся от двенадцати до двух часов (в это время служащие заняты) по Невскому проспекту. Весною же, если только это время можно назвать весною, потому что деревья до сих пор еще не оделись зеленью, гуляют в Екатерингофе, Летнем саду и Адмиралтейском бульваре. Все эти, однако ж, гулянья несносны, особливо екатерингофское первое мая: все удовольствие состоит в том, что прогуливающиеся садятся в кареты, которых ряд тянется более нежели на 10 верст, и притом так тесно, что лошадиные морды задней кареты дружески целуются с богато убранными длинными гайдуками. Эти кареты беспрестанно строятся полицейскими чиновниками и иногда приостанавливаются по целым часам для соблюдения порядка, и все это для того, чтобы объехать кругом Екатерингоф и возвратиться чинным порядком назад, не вставая из карет. И я было направил смиренные стопы свои, но, обхваченный облаком пыли и едва дыша от тесноты, возвратился вспять. В это время Петербург начинает пустеть, все разъезжаются по дачам и деревням на весну и лето. Ночи теперь не продолжаются более часу, летом их и совсем не будет, только промежуток между захождением и восхождением солнца бывает занят столкнувшимися двумя зарями, вечернею и утреннею, и не похож ни на вечер, ни на утро.

Но на первый раз довольно об Петербурге. В другом письме еще я поговорю об нем. Теперь вы, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу, в свою очередь, сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий, наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщить мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как это все называлось у самых закоре-

нелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты; также нынешними замужними и мужиками.

Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкве одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов; я думаю, Анна Матвеевна или Агафия Матвеевна много знают кое-чего из давних годов.

Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей; об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут, прозвания не вспомню), которого мы видели учредителем свадьб и который знал, по-видимому, все возможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами; множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч., и проч., и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно. На этот случай, и чтобы вам не было тягостно, великодушная, добрая моя маменька, советую иметь корреспондентов в разных местах нашего повета. Александра Федоровна, которой сметливости и тонким замечаниям я всегда удивлялся, может в этом случае оказать нам очень большую помощь. Скажите ей, что я при моем заочном поцелуе ее ручки не забыл моего обещания касательно филейных иголок, но в британском магазине они все вышли, а русских я не хочу покупать; чуть только доставят их в здешнюю биржу, тот же час повергну их к рукам ее. Хотелось бы мне очень моей милой сестрице Марье Васильевне прислать чего-нибудь, но, бог видит,— не могу: проклятая болезнь, посетившая было меня при вскрытии Невы, помогла еще более истреблению денег; но как только сколько-нибудь разживемся, то непременно вышлем что-нибудь из заграничных диковинок.

Здоровы ли все наши? Свидетельствую мое почтение дедушке (скажите, пожалуйста, что его тяжба? имеет ли конец?), бабушке Марье Ильиничне, также и Анне

Матвеевне, а в заключение всем добрым, искренно вас любящим соседям. Поцелуйте за меня Анечку. Сделайте милость - прилагайте всевозможное старанье о воспитании этого умного дитяти, тайное какое-то предчувствие мне предрекает, что от него много можно ожидать. Также шалунью Лизу, с тем только, чтоб она не пукала.

Еще прошу вас выслать мне две папенькины малороссийские комедии: Овца-Собака и Романа с Параскою. Здесь так занимает всех все малороссийское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну из их поставить на здешний театр. За это по крайней мере достался бы мне хотя небольшой сбор; а по моему мнению, ничего не должно пренебрегать — на всё нужно обращать внимание. Если в одном неудача, можно прибегнуть к другому, в другом — к третьему, и так далее. Самая малость иногда служит большою помощью.

Прошу вас также, маменька, так как переписка наша теперь пойдет деятельнее, писать два раза в месяц — тем более что сами наблюдения ваши того требуют.

С истинным почтением и вечной признательностию ваш истинно любящий вас сын

Н. Гоголь.

10. М. И. ГОГОЛЬ

1829, мая 22-го. Санкт-Петербург.

Нынешние известия письма моего не будут слишком утешительны для вас, почтеннейшая маменька. Мои надежды (разумеется, малая часть оных) не выполнились; хорошо же, что я не вдавался уверительно им, хорошо, что я имею достаточный запас сомнения во всем могущем случиться. Все состояло в следующем: мои небольшие способности были призрены, и мне представлялся прекрасный случай ехать в чужие краи. Это путешествие, сопряженное обыкновенно с величайшими издержками, мне ничего не стоило, все бы за меня было заплачено, и малейшие мои нужды

во время пути долженствовали быть удовлетворяемы. Но вообразите мое несчастие, нужно же этому случиться. Великодушный друг мой, доставлявший мне все это, скоропостижно умер, его намерения и мои предположения лопнули. И я теперь испытываю величайший яд горести, но она не от неудачи, а оттого, что я имел одно существо, к которому истинно привязался было навсегда, и небу угодно было лишить меня его.

Итак, я остаюсь теперь в Петербурге. Мнѐ предлагают место с 1000 рублей жалованья в год. Но за цену ли, едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? и на совершенные пустяки, на что это похоже? в день иметь свободного времени не более как два часа, а прочее время не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников и проч., в которых мне столько пользы, сколько Елисею Васильевичу Надержинскому в сухом дереве, на котором нет ни хорошего листу, ни рясных ветвей. Итак, я стою в раздумье на жизненном пути, ожидая решения еще некоторым моим ожиданиям. Может быть, на днях откроется место немного выгоднее и благороднее, но признаюсь, ежели и там мне нужно будет употребить столько времени на глупые занятия, то я — слуга покорный.

Наконец я принужден снова просить у вас, добрая, великодушная моя маменька, вспомоществования. Чувствую, что в это время это будет почти невозможно вам, но всеми силами постараюсь не докучать вам более, дайте только мне еще несколько времени укорениться здесь, тогда надеюсь как-нибудь зажить своим состоянием. Денег мне необходимо нужно теперь триста рублей. Я думаю, вы не забудете моей просьбы извещать меня постоянно об обычаях малороссиян. Я все с нетерпением ожидаю вашего письма. Время свое я так расположил, что и самое отдохновение, если не теперь, то вскорости, принесет мне существенную пользу. Между прочим, я прошу узнать вас, почтеннейшая маменька, теперь о некоторых играх, из карточных: у *Панхвиля* как играть и в чем состоит он; равным

образом, что за игра *пашок*, *семь листов*; из хороводных — в *хрещика*, в *журавля*. Если знаете другие какие, то не премините. У нас есть поверья в некоторых наших хуторах, разные повести, рассказываемые простолюдинами, в которых участвуют духи и нечистые. Сделайте милость, удружите меня которою-нибудь из них.

Получивши ваше письмо, я буду иметь возможность распространиться более и известить вас о чем-нибудь из наших петербургских новинок. Приход весны в нашу пыльную столицу, которая вовсе не похожа на весну, заставляет меня с сожалением вспоминать о нашей малороссийской весне. Но не раньше, как разве в весну будущего года, удастся мне хотя на мгновение заглянуть к вам. Дай бог, чтобы до того времени все было спокойно и мирно в вашем владении и чтобы заботы, а особливо неприятности, менее всего смущали драгоценное для меня спокойствие ваше и здоровье. Может быть, мы будем жить когда-нибудь вместе, что всегда было моим пламеннейшим желанием, и тогда я постараюсь всеми силами выполнить священную обязанность к матери и к другу своему, так как прежде не имел сил выполнять ее.

Вечно и неизменно любящий вас сын

Н. Гоголь-Яновский.

Мой адрес: на Большой Мещанской, в доме каретного мастера Иохима.

11. М. И. ГОГОЛЬ

⟨1830.⟩ С.-Петербург. Февраль 2.

Я получил письмо ваше, почтеннейшая маменька, пущенное вами 12 генваря. Слава богу! вы вне опасности. Я так был напуган, узнав от Андрея Андреевича, что вы вместе со всем нашим семейством очень больны, что отдохнул тогда только, когда прочел собственные ваши строки. Недели три назад, как я отправил к вам письмо

с фасадом и планом дома, а я старался приспособить их так, чтобы сколько можно менее было издержек. Месяц назад я сам был нездоров, но теперь поправился, слава богу. Снова хожу каждый день в должность и в силу, в силу перебиваюсь. Еще недавно взял у Андрея Андреевича 150 р. на обмундировку. Думал, что останется что-нибудь в присоединение к моему содержанию; напротив, еще должен прибавить. Жалованья получаю сущую безделицу. Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку для г. журналистов, и потому вы не сердитесь, моя великодушная маменька, если я вас часто беспокою просьбою доставлять мне сведения о Малороссии или что-либо подобное. Это составляет мой хлеб. Я и теперь попрошу вас собрать несколько таковых сведений, если где-либо услышите забавный анекдот между мужиками в нашем селе, или в другом каком, или между помещиками. Сделайте милость, впишите для меня также нравы, обычаи, поверья. Да расспросите про старину хоть у Анны Матвеевны или Агафию Матвеевну: какие платья были в их время у сотников, их жен, у тысячников, у них самих; какие материи были известны в их время, и всё с подробнейшею подробностью; какие анекдоты и истории случались в их время, смешные, забавные, печальные, ужасные. Не пренебрегайте ничем, все имеет для меня цену. В столице нельзя пропасть с голоду имеющему хотя скудный от бога талант. Одного только нужно опасаться здесь бедняку — заболеть. Тогда-то уже ему почти нет спасенья: источники его доходов прекращаются, издержки на лекарства и лекарей для него совершенно невозможны, и ему остается одно средство — умереть. Но этого со мною никогда не может случиться: здесь есть Арендт, которого искусство и благородная душа чужды всякого интереса.

Часто наводит на меня тоску мысль, что, может быть, долго еще не удастся мне увидеться с вами. Как бы хотелось мне хотя на мгновение оторваться от душных стен столицы и подышать хотя на мгновение воздухом деревни! но неумолимая судьба истребляет даже надежду на то. Как подумаю о будущем лете, теперь даже томительная грусть залегает в душу. Вы помните, я думаю, как

я всегда рвался в это время на вольный воздух, как для меня убийственны были стены даже маленького Нежина. Что же теперь должно происходить в это время, когда столица пуста и мертва, как могила, когда почти живой души не остается в обширных улицах, когда громады домов с вечно раскаленными крышами одни только кидаются в глаза, и ни деревца, ни зелени, ни одного прохладного местечка, где бы можно было освежиться! Не мудрено, когда прошлый год со мною произошло такое странное, безрассудное явление; я был утопающий, хватившийся за первую попавшуюся ему ветку. Хотя бы на это время я был в состоянии нанять комнатку где-нибудь на даче, за городом; но там квартиры несравненно дороже, а при бедности моего состояния это почти невозможно.

Еще осмеливаюсь побеспокоить одною просьбою: ради бога, если будете иметь случай, собирайте все попадающиеся вам древние монеты и редкости, какие отыщутся в наших местах, стародавние, старопечатные книги, другие какие-нибудь вещи, антики, а особливо стрелы, которые во множестве находимы были в Псле. Я помню, их целыми горстями доставали. Сделайте милость, пришлите их. Я хочу прислужиться этим одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи. Нет ли в наших местах каких записок, веденных предками какой-нибудь старинной фамилии, рукописей стародавних про времена гетманщины и прочего подобного? Простите меня великодушно, маменька, что я вас забрасываю просьбами и причиняю великое беспокойство. Чтобы не было вам тягости, вы разделите свои поручения людям, на которых можете положиться в этом случае.

Дай бог, чтобы вы наконец пользовались благополучием, достойным вас, при каком желании и остаюсь ваш покорнейший и послушнейший сын

Николай Гоголь-Яновский.

P. S. Глубокое почтение и поклон дедушке Ивану Матвеевичу, бабушкам Марье Ильиничне и Анне Матвеевне.

Целую заочно ручки милой тетеньки Катерины Ивановны и милую сестрицу, также и маленьких.

Я слышал про ужасные холода и морозы, свирепствующие в наших местах. Тем более это для меня странно, что здесь, в С.-Петербурге, все это время довольно тепло. Турецкие посланники прибыли сюда благополучно и не нахвалятся учтивостью и ловкостью нашего садовника — форейтора Павла.

12. М. И. ГОГОЛЬ

Декабря 19 дня, 1830. ⟨Петербург.⟩

Чувствительно благодарю вас, почтеннейшая маменька, за присланные вами деньги сто рублей. Верьте, что я знаю им цену: могу ли я что-либо из них употребить на ненужное, когда на каждой из сих ассигнаций читаю я те величайшие труды, с которыми они достаются вам. Давно уже меня занимает одна и та же мысль — доставить вам в этом отношении облегчение. Мои удвоившиеся труды, мои успешные занятия и лестное внимание ко мне — все заставляет меня думать, что участь моя, к моему и вашему удовольствию, переменится, и в наступающем 1831 году, с которым заблаговременно поздравляю вас, желая счастия и всегдашнего здоровья, предвижу я для себя много хорошего. Будьте спокойны на мой счет и не слушайте никаких глупостей, разносимых ничтожными людьми. Прежде нежели вы решитесь верить человеку, рассмотрите наперед его внимательнее, достоин ли он того, чтобы верить ему. Человека, о котором вы говорите, я довольно хорошо знаю, хотя никогда не бывал коротко знаком с ним. О моих *великих дарованиях* и о *добром сердце* он не имеет никакого права говорить: о первых он не имеет понятия, второго не имел случая узнать. Если же он называет меня *чудаком*, потому что я избегал короткого обхождения с ним, то этакого чудака он должен встретить во всяком порядочном человеке. Занятий же у меня так много, что мне редко достается переговорить

даже с теми людьми, которых я истинно уважаю, и потому мне некогда было уделять времени *собакам*. Но чтобы решиться сделать подобный глупый поступок с Кутузовым, для этого нужно быть человеком просто сумасшедшим или не получившим совершенно никакого образования. Если бы я даже не был знаком с Кутузовым, я бы и тогда не отказал ему в уважении, зная его достоинство и услуги, оказанные им своему отечеству. Если бы вовсе незнакомый человек поклонился мне, хотя бы даже это был простой ремесленник или слуга, я бы отплатил ему тем же, потому что этого требуют правила учтивости и вежливости. Мне очень больно, что я принужден вам говорить об этом человеке, потому что я не люблю расславлять худого про кого бы то ни было, но вы сами заставили меня. Я отвечал сначала молчанием на расспросы о нем сестрицы моей и вовсе не хотел говорить о нем. Когда он у меня просил письма к вам, при отъезде своем отсюда (где он так славно окончил карьер свой), я не дал ему, потому что в письме должен был бы рекомендовать вам его с хорошей стороны и впоследствии вы бы, может быть, пеняли на меня, что я доставил вам такое знакомство. Теперь вы имеете случай узнать его сами и увидеть, что он за цаца.

Все эти сплетни от таких людей мне столько же приносят неудовольствия, сколько может принесть его не важное ни для кого происшествие. Но мне больно то, что вы сами, маменька, обо мне говорите худое. Я здесь разумею письмо ваше, писанное вами пред этим. Вы мне приписываете те сочинения, которых бы я никогда не признал своими ни за какие деньги. Зачем марать мое доброе, еще не запятнанное ничем имя? Если вы так мало знаете меня, что нашли в этих сочинениях мой дух, мой образ мыслей, то вы слишком худого мнения обо мне. Неужели я заслужил его от вас? Вы бы по крайней мере обратились к какому-нибудь человеку, которому известен ход нашей литературы; тот бы вам сказал, что отрывки из комедии «Светский быт» были помещаемы три года назад тому, когда я был еще в Нежине, в журналах и альманахах, с полною подписью автора: *Павел Свиньин*, от которого я получил

и роман «Якуб Скупалов». Сфера действия этого романа во глубине России, где до сих пор еще и нога моя не была. Если бы я писал что-нибудь в этом роде, то верно бы я избрал для этого Малороссию, которую я знаю, нежели страны и людей, которых я не знаю ни нравов, ни обычаев, ни занятий. Но главное, скажите: встретили ли вы хотя одну мысль, хотя одно чувство, принадлежащее мне? Третью же, самую глупейшую статью я принужден был теперь только прочитать нарочно. Что вы нашли моего в этом «Лоскутке бумаги»? и я, посвятивший себя всего пользе, обработывающий себя в тишине для благородных подвигов, пущусь писать подобные глупости, унижусь до того, чтобы описывать презренную жизнь каких-то низких тварей, и таким площадным, вялым слогом, буду способен на такое низкое дело, буду столько неблагодарен, черен душою, чтобы позабыть мою редкую мать, моих сестер, моих родственников, жертвовавших для меня последним, для какой-нибудь девчонки. Даже имя, подписанное под этой статьею, не похоже на мое,— там, если не ошибаюсь, написано: В. Б — в. Зная, что вы мне не поверите без доказательства (я не знаю, чем я утратил ваше ко мне доверие; я вам говорил, что вы не встретите в посылаемом вам журнале ничего моего, вы мне не поверили), я старался всеми силами узнать имя автора этой пьесы и наконец узнал, что с моей стороны и не хорошо, потому что автор сам, может быть, чувствовал глупость этой статьи и не выставил полного своего имени, а я принужден объявить: это некто *Владимир Бурнашев*, служащий здесь, говорят, даже хороший молодой человек.

Но чувствую, что я заговорился много об пустяках и мое оправданье походит даже несколько на выговор. Простите, великодушная моя маменька, оскорбленному некоторого рода самолюбию, которое таится у всякого человека и заставляет его защищать себя от часто несправедливо возводимых худых качеств. Верьте, бесценная маменька, единственный правдивый друг мой (я думаю, что я должен называть вас другом; я думаю, никто в мире не счастливее меня, имея такое неоцененное благо), что все мои желания, все мои мысли

ограничиваются доставлением вам утешения и забвения всех угнетавших вас горестей.

С каковыми чувствами и пребуду век вашим послушнейшим и нежно вас любящим сыном

Н. Гоголь.

13. А. С. ПУШКИНУ

СПб. Августа 21. ⟨1831.⟩

Насилу теперь только управился я с своими делами и получил маленькую оседлость в Петербурге. Но и теперь еще половиною — что я, половиною?— целыми тремя четвертями нахожусь в Павловске и Царском Селе. В Петербурге скучно до нестерпимости. Холера всех поразгоняла во все стороны. И знакомым нужен целый месяц антракта, чтобы встретиться между собою. У Плетнева я был, отдал ему в исправности ваши посылку и письмо. Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец сказал, что: *штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву*. Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни. Кстати о черни,— знаете ли, что вряд ли кто умеет лучше с нею изъясняться, как наш общий друг Александр Анфимович Орлов. В предисловии к новому своему роману: «Церемониал погребения Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина», он говорит, обращаясь к читателям: «Много, премного у меня романов в голове (его собственные слова), только все они сидят еще в голове; да такие бойкие ребятишки эти романы, так и прыгают из головы. Но нет, не пущу до время; а после, извольте, полдюжинами буду поставлять. Извольте! извольте! Ох вы, мои други сердечные! Народец православный!» Последнее обращение так и задевает за сердце русский народ. Это совершенно в его духе, и здесь-то не шутя

решительный перевес Александра Анфимовича над Фадеем Бенедиктовичем. Другой приятель наш, Бестужев-Рюмин, здравствует и недавно еще сказал в своей газете: «Должно признаться, что Северный Меркурий побойче таки иных Литературных прибавлений». Как-то теперь должен беситься Воейков! а он, я думаю, воображал, что бойче Литературных прибавлений нет ничего на свете. Еще о черни. Знаете ли, как бы хорошо написать эстетический разбор двух романов, положим: «Петра Ивановича Выжигина» и «Сокол был бы сокол, да курица съела». Начать таким образом, как теперь начинают у нас в журналах: «Наконец, кажется, приспело то время, когда романтизм решительно восторжествовал над классицизмом и старые поборники французского корана на ходульных ножках (что-нибудь вроде Надеждина) убрались к черту. В Англии Байрон, во Франции необъятный великостью своею Виктор Гюго, Дюканж и другие, в каком-нибудь проявлении объективной жизни, воспроизвели новый мир ее нераздельно-индивидуальных явлений. Россия, мудрости правления которой дивятся все образованные народы Европы, и проч., и проч., не могла оставаться также в одном положении. Вскоре возникли и у ней два представителя ее преображенного величия. Читатели догадаются, что я говорю о гг. Булгарине и Орлове. На одном из них, то есть на Булгарине, означено направление чисто байронское (ведь это мысль недурна сравнить Булгарина с Байроном). Та же гордость, та же буря сильных, непокорных страстей, резко означившая огненный и вместе мрачный характер британского поэта, видна и на нашем соотечественнике; то же самоотвержение, презрение всего низкого и подлого принадлежит им обоим. Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона; в самых даже портретах их заметно необыкновенное сходство. Насчет Александра Анфимовича можно опровергать мнение Феофилакта Косичкина; говорят, что скорее Орлов более философ, что Булгарин весь поэт». Тут недурно взять героев романа Булгарина: Наполеона и Петра Ивановича, и рассматривать их обоих как чистое создание самого поэта; натурально, что здесь нужно воору-

житься очками строгого рецензента и приводить места (каких, само по себе разумеется, не бывало в романе). Не худо присовокуплять: «Почему вы, г. Булгарин, заставили Петра Ивановича открыться в любви так рано такой-то, или почему не продолжили разговора Петра Ивановича с Наполеоном, или зачем в самом месте развязки впутали поляка (можно придумать ему и фамилию даже)?» Все это для того, чтобы читатели видели совершенное беспристрастие критика. Но самое главное — нужно соглашаться с жалобами журналистов наших, что действительно литературу нашу раздирает дух партий ужасным образом, и оттого никак нельзя подслушать справедливого суждения. Все мнения разделены на две стороны: одни на стороне Булгарина, а другие на стороне Орлова, и что они, между тем как их приверженцы нападают с таким ожесточением друг на друга, совершенно не знают между собою никакой вражды и внутренно, подобно всем великим гениям, уважают друг друга.

У нас бывают дожди и необыкновенно сильные ветры; вчерашнюю ночь даже было наводнение. Дворы домов по Мещанской, по Екатерининскому каналу и еще кое-где, а также и много магазинов, были наполнены водою. Я живу на третьем этаже и не боюсь наводнений; а кстати, квартира моя во 2 Адмиралтейской части, в Офицерской улице, выходящей на Вознесенский проспект, в доме *Брунста*.

Прощайте. Да сохранит вас бог вместе с Надеждою Николавною от всего недоброго и пошлет здравие навеки. А также да будет его благословение и над Жуковским.

Ваш Гоголь.

14. М. И. ГОГОЛЬ

СПб. Августа 21 ‹1831.›

Уже около недели живу я в Петербурге. Слава богу, жив и здоров. О болезни совсем и не слышно. Все веселятся. Письмо ваше с деньгами я наконец получил; виноват, записку, а не письмо. Посылаю вам книжку;

маменьке ридикуль; детям конфектов. Всего по капле, сколько мне было можно.

Книжка вам будет приятна, потому что в ней вы найдете мою статью, которую я писал, бывши еще в нежинской гимназии. Как она попала сюда, я никак не могу понять. Издатели говорят, что они давно ее получили при письме от неизвестного и если бы прежде знали, что моя, то не поместили бы, не спросивши наперед меня, и потому я прошу вас не объявлять ее моею никому; сохраняйте ее для себя. Приятно похвастать чем-нибудь совершенным; но тем, что носит на себе печать младенческого несовершенства, не совсем приятно. Она подписана четырьмя нулями: 0000. Прощайте, будьте здоровы! Целую вас и сестриц несколько сот раз и остаюсь вечно любящим вас сыном

Н. Гоголем.

Адресуйте мне: 2-й Адмиралтейской части, в Офицерской улице, в доме Брунста.

15. В. А. ЖУКОВСКОМУ

СПб. Сентяб. 10. ⟨1831.⟩

Насилу мог я управиться с своею книгою и теперь только получил экземпляры для отправления вам. Один собственно для вас, другой для Пушкина, третий, с сентиментальною надписью, для Розетти, а остальные тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга. Три дня я толкался беспрестанно из типографии в Цензурный комитет, из Цензурного комитета в типографию и наконец теперь только перевел дух. Боже мой, сколько бы экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, часто думаю себе, появился в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга ночной разбойник и украл этот несносный кусок земли, эти двадцать четыре версты от Петербурга до Царского Села и с ними бы дал тягу на край света или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их вместо завтрака

в свой медвежий желудок. О, с каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей прах сапогов ваших, возлег у ног Вашего поэтического превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших, приуготовленный самими богами из тмочисленного количества ведьм, чертей и всего любезного нашему сердцу. Но не такова досадная действительность или существенность; карантины превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? Что э... Но вы не поверите мне, назовете меня суевером. Что всему этому виною не кто другой, как враг честного креста церквей господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся его мимо и во мгновение ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута. Она уже прошла. Это случилось 8-го августа. И к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом:

Окна мелом
Забелены; хозяйки нет,
А где? Бог весть, пропал и след.

Осталось воспоминание и еще много кой-чего, что достаточно усладит здешнее одиночество: это известие, что сказка ваша уже окончена и начата другая, которой одно прелестное начало чуть не свело меня с ума. И Пушкин окончил свою сказку! Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены и купол, на славу векам, да поклоняются потомки и да имут место, где возносить умиленные молитвы свои. Как прекрасен удел ваш, великие зодчие! Какой рай готовите вы истинным христианам! И как ужасен ад, уготовленный для язычников, ренэ-

гатов и прочего сброду: они не понимают вас и не умеют молиться. Когда-то приобщусь я этой божественной сказки?.. Но скоро 12 часов, боюсь опоздать на почту. Прощайте! извините мою несвязную грамоту! не далось божественное писание в руки. Будьте здоровы, и да почиет над вами благословение божие, и да возбуждает оно вас чаще и чаще ударять в священные струны; а я, ваш верный богомолец, буду воссылать ему теплые за сие молитвы.

Вечно ваш неизменный

Гоголь.

Моя квартира в II Адмиралтейской части, в Офицерской улице, в доме Брунста.

16. М. В. ГОГОЛЬ

СПб. 19 сентября. ⟨1831.⟩

Поздравляю тебя, моя милая сестрица, с радостным для нас обоих днем и желаю тебе также быть здоровою и веселою. У меня есть к тебе просьба. Ты помнишь, милая, ты так хорошо было начала собирать малороссийские сказки и песни и, к сожалению, прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мне оно необходимо нужно. Еще прошу я здесь же маменьку, если попадутся где старинные костюмы малороссийские, собирать всё для меня. Если владельцы будут требовать за них дорого, пишите ко мне, я постараюсь собрать и выслать нужные деньги. Я помню очень хорошо, что один раз в церкве нашей мы все видели одну девушку в старинном платье. Она, верно, продаст его. Если встретите где-нибудь у мужика странную шапку или платье, отличающееся чем-нибудь необыкновенным, хотя бы даже оно было изорванное,— приобретайте! Также нынешний мужеский и женский костюм, только хороший и новый. Все это складывайте в один сундук или чемодан и при случае, когда встретится оказия, можете переслать ко мне. Но так как это не к спеху, то вам будет довольно времени для собирания. А сказки, песни, происшествия можете посылать в письмах или небольших посылках.

17. А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ

⟨1831.⟩ Ноября 2. СПб.

Вот оно как! Пятый месяц на Кавказе, и, может быть, еще бы столько прошло до первой вести, если бы *Купидо сердца не подогнало лозою.* Впустили молодца на Кавказ. *Ой лыхо закаблукам, достанетця й передам.* Знаешь ли, сколько раз ты в письме своем просил меня не забыть прислать нот? Шесть раз: два раза сначала, два в середине, да два при конце. Ге, ге, ге! Дело далеко зашло. Я, однако ж, тот же час решился исполнить твою просьбу; для этого довольно бы тебе раз упомянуть. Я обращался к здешним артисткам указать мне лучшее; но Сильфида Урусова и Ласточка Розетти требовали непременно, чтобы я поименовал Великодушную Смертную, для которой так хлопочу. Как мне поименовать, когда я сам не знаю, кто она. Я сказал только, что средоточие любви моей согревает ледовитый Кавказ и бросает на меня лучи косвеннее северного солнца. Как бы то ни было, только забрал всё, что было лучшего в здешних магазинах. Французские кадрили в большой моде здесь Титова. Однако ж я посылаю тебе и Россини, несколько французских романсов, русских новых песен, всего на тридцать рублей. Да что за вздор такой ты мелешь, что пришлешь мне деньги после. К чему это? Я тебе и без того должен 65 рублей. Я думал было и на остальные набрать тебе всякой всячины, конфект и прочего, да раздумал: может быть, тебе что нужнее будет. Ты, пожалуйста, без церемоний напиши, что прислать тебе на остальные 35 рублей, и я немедленно вышлю. В здешних магазинах получено из-за моря столько дамских вещей и прочего, и всё совершенное объядение.

Порося мое давно уже вышло в свет. Один экземпляр послал я к тебе в Сорочинцы. Теперь, я думаю, Василий Иванович, совокупно с любезным зятем, Егором Львовичем, его почитывают. Однако ж на всякий случай посылаю тебе еще один. Оно успело уже заслужить славы дань, кривые толки, шум и брань. В Сорочинцы я тебе отправил и Ольдекопов словарь. Письмо твое я получил

сегодня, то есть 2 ноября (писанное тобою 18 октября). Пишу ответ сегодня же, а отправляю завтра. Кажется, исправно, зато день хлопот. Это я для того тебе упоминаю, чтобы ты умел быть благодарным и писал в следующем письме подробнее. Напиши также, в который день ты получишь письмо мое вместе с сею посылкою. Мне любопытно знать, сколько времени оно будет по почте идти к тебе.

Ну, известное лицо города Пятигорска! более сказать мне тебе нечего. Ведь ты же сам меня торопишь скорее отправлять письмо.

Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Стало быть, не был свидетелем времен терроризма, бывших в столице. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная: «Кухарка», в которой вся Коломна и петербургская природа живая. Кроме того, сказки русские народные — не то что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами, и прелесть невообразимая. У Жуковского тоже русские народные сказки, одни экзаметрами, другие просто четырехстопными стихами — и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего. А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут.

Ты мне обещал описать прибытие свое домой, прием, встречи и прочее и прочее, да мне кажется, что у тебя на квартире и пера чиненого нет, только один карандаш в часы досуга подмахивает злодейское деревцо.

Прощай, будь здоров и любим, да не забывай твоего неизменного

Гоголя.

Хотя по назначенному тобою адресу можно было меня отыскать, но всё лучше и скорее будет, когда ты станешь употреблять следующий: *2 Адмиралтейской части, в Офицерскую улицу, в доме Брунста.*

18. А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ

1 генварь, 1832. ⟨Петербург.⟩

Подлинно много чудного в письме твоем. Я сам бы желал на время принять твой образ с твоими страстишками и взглянуть на других таким же взором, исполненным сарказма, каким глядишь ты на мышей, выбегающих на середину твоей комнаты. Право, должно быть, что-то не в шутку чрезвычайное засело Кавказской области в город Пятигорск. Поэтическая часть твоего письма удивительно хороша, но прозаическая довольно в плохом положении. Кто это кавказское солнце? Почему оно именно один только Кавказ освещает, а весь мир оставляет в тени, и каким образом ваша милость сделалась фокусом зажигательного стекла, то есть привлекла на себя все лучи его? За такую точность ты меня назовешь бухгалтерскою книгою или иным чем, но сам посуди, если не прикрепить красавицу к земле, то черты ее будут слишком воздушны, неопределенно общи и потому бесхарактерны.

Посылаю тебе всё, что только можно было скоро достать: «Северные цветы» и «Альциону». «Невский альманах» еще не вышел, да вряд ли в нем будет что-нибудь путнее. Галстуков черных не носят; вместо них употребляют синие. Я бы тебе охотно выслал его, но сижу теперь болен и не выхожу никуда. Духи же, я думаю, сам ты знаешь, принадлежат к жидкостям, а жидкости на почте не принимают. После постараюсь тебе и другое прислать, теперь же не хочу задерживать письма. Притом же «Северные цветы», может быть, на первый раз приведут в забвение неисправность в прочем. Тут ты найдешь Языкова так прелестным, как еще никогда, Пушкина чудную пьесу «Моцарт и Сальери», в которой, кроме яркого поэтического создания, такое высокое драматическое искусство, картинного «Делибаша», и все, что ни есть его,— чудесно. Жуковского «Змия». Сюда затесалась и Красненького «Полночь».

Письма твоего, писанного из Лубен, в котором ты описываешь приезд свой домой, я, к величайшему сожалению, не получал. Проклятые почты! Незадолго до твоего я получил письмо от Василия Ивановича,

в котором он извещает меня, что книги, посланные мною тебе в Семереньки, он получил. Не излишним почитаю при сем привесть его слова, сказанные в похвалу моей книги: «Если выдадите еще книгу в свет «Вечера», то пришлите для любопытства и прочёту. Мы весьма знаем, что присланная вами книга есть сочинение ваше. Это есть прекраснейшее дело, благороднейшее занятие. Я читал и рекомендацию ей от Булгарина в «Северной пчеле» очень с хорошей стороны и к поощрению сочинителя. Это видеть приятно». Видишь, какой я хвастун: Читал ли ты новые «Баллады» Жуковского? Что за прелесть! Они вышли в двух частях вместе со старыми и стоят очень недорого: десять рублей. Что тебе сказать о наших? Они все, слава богу, здоровы, прозябают по-прежнему, навещают каждую среду и воскресение меня, старика, и, к удивлению, до сих пор еще ни один из них не имеет звезды и не директор департамента. Рассмешила меня до крайности твоя приписка или обещание в конце письма: «Может быть, в следующую почту напишу к тебе еще, а может быть нет». К чему такая благородная скромность и сомнение? К чему это *может быть* нет? Как будто удивительная твоя аккуратность мало известна. Писал бы к тебе еще, но болезнь моя мешает. Отлагаю до удобнейшего времени, а теперь прощай. Обнимаю тебя и вместе завидую, что ты находишься в стране здравия.

Твой Гоголь.

Да вот молодец. Пишу 1-го генваря и забыл поздравить с Новым годом. Желаю тебе провесть его в седьмом небе блаженства.

19. А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ

СПб., марта 30. ⟨1832.⟩

Я нимало не удивляюсь, что мое письмо шло так долго. Должно вспомнить, что теперь время самое неблагоприятное для почт: разлитие рек, негодность

дороги и проч. Я получил твои деньги и не могу скоро выполнить твоего порученья. Если бы ты наперед хорошенько размыслил всё, то, верно, не прислал бы мне теперь денег, верно бы вспомнил, что за две недели до праздника ни один портной не возьмется шить, и потому в наказанье ты будешь ждать три сверхсрочных недели своего сюртука, потому что спустя только неделю после праздника примутся шить его тебе. На требование же мое поставить тебе сукно по 25 р. аршин Руч дал мне один обыкновенный свой ответ, что он низких сортов сукон не держит.

Теперь несколько слов о твоем письме. С какой ты стати начал говорить о шутках, которыми будто бы было наполнено мое письмо? и что ты нашел бессмысленного в том, что я писал к тебе, что ты говоришь только о поэтической стороне, не упоминая о прозаической? Ты не понимаешь, что значит поэтическая сторона? Поэтическая сторона: «Она несравненная, единственная» и проч. Прозаическая: «Она Анна Андреевна такая-то». Поэтическая: «Она принадлежит мне, ее душа моя». Прозаическая: «Нет ли каких препятствий в том, чтоб она принадлежала мне не только душою, но и телом и всем,— одним словом— ensemble?»[1] Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака; но тот только показал один порыв, одну попытку к любви, кто любил до брака. Эта любовь не полна; она только начало, мгновенный, но зато сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека. Но вторая часть, или, лучше сказать, самая книга,— потому что первая только предуведомление к ней,— спокойна, и целое море тихих наслаждений, которых с каждым днем открывается более и более; и тем с большим наслаждением изумляешься им, что они казались совершенно незаметными и обыкновенными. Это художник, влюбленный в произведенье великого мастера, с которого уже он никогда не отрывает глаз своих и каждый день открывает в нем новые и новые очаровательные и полные обширного гения черты, изумляясь сам себе, что

[1] Всё вместе (*франц.*).

он не мог их увидать прежде. Любовь до брака — стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь — это поэзия Пушкина: она не вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частию, небольшою рекою, впадающею в этот океан. Видишь, как я прекрасно рассказываю! О, с меня бы был славный романист, если бы я стал писать романы! Впрочем, это самое я докажу тебе примером, ибо без примера никакое доказательство не доказательство, и древние очень хорошо делали, что помещали его во всякую хрию. Ты, я думаю, уже прочел «Ивана Федоровича Шпоньку». Он до брака удивительно как похож на стихи Языкова, между тем как после брака сделается совершенно поэзией Пушкина.

Хочешь ли ты знать, что делается у нас, в этом водяном городе? Приехал Возвышенный с паном Пла́тоном и Пеликаном. Вся эта труппа пробудет здесь до мая, а может быть, и долее. Возвышенный все тот же, трагедии его всё те же. «Тасс» его, которого он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст, занимает четверть стопы бумаги. Характеры всё необыкновенно благородны, полны самоотверженья, и вдобавок выведен на сцену мальчишка 13 лет, поэт и влюбленный в Тасса по уши. А сравненьями играет, как мячиками; небо, землю и ад потрясает, будто перышко. Довольно, что прежние: *губы посинели у него цветом моря*, или: *тростник шепчет, как шепчут в мраке цепи*, — ничто против нынешних. Пушкина всё попрежнему не любит. «Борис Годунов» ему не нравится.

Красненький кланяется тебе. Он еще не актер, но скоро будет им, и, может быть, тотчас после святой.

У вас, я думаю, уже весна давно. Напиши, с которого времени начинается у вас весна. Я давно уже не нюхал этого кушанья.

20. И. И. ДМИТРИЕВУ

⟨Около 20 июля 1832 г. Васильевка.⟩

Милостивый государь Иван Иванович. Приехавши на место, я почел долгом писать к вам. Ваш ласковый прием и ваша доброта напечатлелись неизгладимо в моей памяти. Мне кажется, я вижу вас, нашего патриарха поэзии, в ту самую минуту, когда вы радушно протянули руку еще безызвестному и не доверяющему себе автору. С того времени мне показалось, что я подрос по крайней мере на вершок. Минувши заставу и оглянувшись на исчезающую Москву, я почувствовал грусть. Мысль, что все прекрасное и радостное мгновенно, не оставляла меня до тех пор, пока не присоединилась к ней другая, что через три или четыре месяца я снова увижусь с вами. В дороге занимало меня одно только небо, которое по мере приближения к югу становилось синее и синее. Мне надоело серое, почти зеленое северное небо, так же как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы. Теперь я живу в деревне, совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным. Мне кажется, что он копировал малороссийскую деревню: так краски его ярки и сходны с здешней природой. Чего бы, казалось, недоставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. Всему виною недостаток сообщения. Он усыпил и обленивил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает, а они рыскают с горя за зайцами. Признаюсь, мне очень грустно было смотреть на расстроенное имение моей матери; если бы одна только лишняя тысяча, оно бы в три года пришло в состояние приносить шестерной против нынешнего доход. Но деньги здесь совершенная редкость. Но я, думаю, уже наскучил вам статистикой здешнего края.

Так как вы были столько снисходительно добры, что изъявили желание знать об обстоятельствах того, который, еще не видавши вас лично, питал к вам благоговейное уважение и привязался к вам всею душою, то скажу, что здоровье мое поправляется и, кажется, в лучшем состоянии, нежели в Москве. Совершенного же здоровья не надеюсь скоро дождаться. Позвольте по крайней мере пожелать вам, чтобы еще в продолжение нескольких лет вы не знали совершенно никаких болезней, чтобы горе не смело переступить через порог ваш. А я, упрашивая вас не переменять драгоценного вашего расположения ко мне, остаюсь с совершенным почтением и вечною признательностию вашего высокопревосходительства покорнейшим слугою

Николай Гоголь.

21. И. И. ДМИТРИЕВУ

⟨30 ноября 1832 г. Петербург.⟩

Милостивый государь Иван Иванович. Я очень виноват перед вашим высокопревосходительством. Никаким образом не удалось мне быть у вас перед выездом моим в Петербург. Одна только уверенность, что вы, зная мою нелицемерную признательность и то глубокое уважение к вам, которое должно находиться в сердце каждого русского, меня извините,— эта одна уверенность совершенно меня успокоивает. Сегодня будет месяц, как я нахожусь здесь, и хотя еще не успел побывать у кого бы следовало (чему причиною лень, вывезенная мною из Малороссии), однако ж виделся с Пушкиным. Газеты он не будет издавать,— и лучше! В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно и для неизвестного человека; но гению этим заняться значит помрачить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком. Князь Одоевский скоро порадует нас собранием своих повестей, вроде «Квартета Бетховена», помещенного в «Северных цветах» на 1831. Их будет около десятка, и те, которые им написаны теперь, еще лучше

прежних. Воображения и ума — куча! Это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке! Они выйдут под одним заглавием «Дом сумасшедших».

Вот все почти наши новости! Желая загладить перед вами невольный проступок мой, я спешу скорее отправить письмо и потому не распространяюсь. Но в следующий раз (если только это не нанесет вам скуки) постараюсь уведомить и об моих занятиях, которые, впрочем, незначительны. С чувством всегдашней признательности и глубочайшего почтения остаюсь вашего высокопревосходительства покорный слуга.

Н. Гоголь.

1832. СПб. 30 ноября.

Если на случай вам понадобится знать мой чердак, то вот его адрес: 2-й Адмиралтейской части, в Новом переулке, дом Демут-Малиновского, близ Мойки.

22. М. П. ПОГОДИНУ

1833. Февраль 1. СПб.

Насилу дождался я письма вашего! Узнавши из него причину вашего молчания, уже не досадую на вас. Зависть только одолевает меня. Как! в такое непродолжительное время и уже готова драма, огромная драма, между тем как я сижу, как дурак, при непостижимой лени мыслей. Это ужасно! Но поговорим о драме. Я нетерпелив прочесть ее. Тем более что в Петре вашем драматическое искусство несравненно совершеннее, нежели в Марфе. Итак, Борис, верно, еще ступенькою стал выше Петра. Если вы хотите непременно вынудить из меня примечание, то у меня только одно имеется. Ради бога, прибавьте боярам несколько глупой физиогномии. Это необходимо так даже, чтоб они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время. Через это небольшой ум между ними уже будет резок. Об нем идут речи, как об разученой голове. Так бывает

в государстве. А у вас, не прогневайтесь, иногда бояре умнее теперешних наших вельмож. Какая смешная смесь во время Петра, когда Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили. Вообразите, что один бранит антихристову новизну, а между тем сам хочет сделать новомодный поклон и бьется из сил сковеркать ужимку французокафтанника. Я не иначе представляю себе это, как вообразя попа во фраке. Не пожалейте красненькой, нарядите попа во фрак, за другую — обрейте ему бороду и введите его в собрание или толкните меж дам. Я это пробовал, и клянусь, что в жизнь не видел ничего лучше и смешнее: каждое слово и движение нового фрачника нужно было записывать. Благословенный вы избрали подвиг! Ваш род очень хорош. Ни у кого столько истины и истории в герое пьесы. Бориса я очень жажду прочесть. Как бы мне достать ваших «Афоризмов»? Меня очень обрадовало, что у вас их целая книга. Эх, зачем я не в Москве!

Журнальца, который ведут мои ученицы, я не посылаю, потому что они очень обезображены посторонними и чужими прибавлениями, которые они присоединяют иногда от себя из дрянных печатных книжонок, какие попадутся им в руки. Притом же я только такое подносил им, что можно понять женским мелким умом. Лучше обождите несколько времени: я вам пришлю или привезу чисто свое, которое подготовляю к печати. Это будет всеобщая история и всеобщая география в трех, если не в двух, томах, под названием «Земля и люди». Из этого гораздо лучше вы узнаете некоторые мои мысли об этих науках.

Да. Я только теперь прочел изданного вами Беттигера. Это, точно, одна из удобнейших и лучших для нас история. Некоторые мысли я нашел у ней совершенно сходными с моими и потому тотчас выбросил их у себя. Это несколько глупо с моей стороны, потому что в истории приобретение делается для пользы всех и владение им законно. Но что делать, проклятое желание быть оригинальным!

Я нахожу только в ней тот недостаток, что во многих местах не так развернуто и охарактеризовано время.

Так, Александрийский век слишком бледно и быстро промелькнул у него. Греки, в эпоху национального образованного величия, у него — звезда не больше других, а не солнце древнего мира. Римляне, кажется, уже слишком много, внутренними и внешними разбоями, заняли места против других. Но это замечания собственно для нас, а для Руси, для преподавания, это самая золотая книга.

Вы спрашиваете об Вечерах Диканских. Черт с ними! Я не издаю их. И хотя денежные приобретения были бы не лишние для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекуляционными оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих Вечеров, и вы только напомнили мне об этом. Впрочем, Смирдин отпечатал полтораста экземпляров 1-й части, потому что второй у него не покупали без первой. Я и рад, что не больше. Да обрекутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня.

Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого не хочется! великое не выдумывается! Одним словом, умственный запор. Пожалейте обо мне и пожелайте мне! Пусть ваше слово будет действительнее клистира.

Видите ли, какой я сделался прозаист и как гадко выражаюсь. Всё от бездействия.

Обнимая и целуя вас, остаюсь ваш

Гоголь.

23. М. П. ПОГОДИНУ

Февраль 20. ⟨1833. Петербург.⟩

Я получил письмо твое еще февраля 12-го и почти неделю промедлил ответом. Винюсь, прости меня! Журнала девиц я потому не посылал, что приводил его в порядок, и его-то, совершенно преобразивши, хотел я издать под именем «Земля и люди». Но я не знаю, отчего на меня нашла тоска... корректурный листок выпал из рук моих, и я остановил печатание. Как-то не так теперь работается! Не с тем вдохновенно-полным

наслаждением царапает перо бумагу. Едва начинаю и что-нибудь совершу из истории, уже вижу собственные недостатки: то жалею, что не взял шире, огромнее объему, то вдруг зиждется совершенно новая система и рушит старую. Напрасно я уверяю себя, что это только начало, эскиз, что оно не нанесет пятна мне, что судья у меня один только будет, и тот один — друг. Но не могу, не в силах. Черт побери пока труд мой, набросанный на бумаге, до другого, спокойнейшего времени. Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется внаружу. Но я до сих пор не написал ровно ничего. Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написалось на белой толстой тетради: «Владимир 3-ей степени», и сколько злости! смеху! соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит. А что из того, когда пьеса не будет играться? Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела. Какой же мастер понесет напоказ народу неконченое произведение? Мне больше ничего не остается как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости! Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за историю — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и — история к черту. И вот почему я сижу при лени мыслей.

Беттигера я не читал на немецком. Прочел в переводе. Имеется ли у него и новая история? или только одна древняя? Мне нравится в ней то, что есть по крайней мере хоть несколько верный анатомический скелет. У нас и этого нигде не найдешь. Не будет ли еще чего-нибудь у вас исторического, переведенного университетскими. А что Европейская история?

Пушкин недавно говорил о тебе с государем насчет Петра и желания твоего трудиться вместе с ним. Государь наперед желал узнать о трудах твоих, и когда

ему вычислили длинный ранг твоих изданий, то он тот же час изъявил согласие, и Пушкин говорит, что ты можешь, живя здесь или в Москве, издавать всё выкапываемое в архивах и брать за это деньги. Как же велико будет твое жалованье, это ему еще неизвестно.

Крылова нигде не попал, чтобы напомнить ему за портрет. Этот блюдолиз, несмотря на то что породою слон, летает как муха по обедам. Смирдину напоминал. Читал ли ты смирдинское «Новоселье»? Книжища ужасная; человека можно уколотить. Для меня она замечательна тем, что здесь в первый раз показались в печати такие гадости, что читать мерзко. Прочти Брамбеуса: сколько тут и подлости, и вони, и всего. Я слышал, у вас в Москве альманах составляется и участвуют люди такие, которых статьи непременно будут значительны. Будешь ли там? Мне очень нравится «Комета Галлея». Есть что-то чертовски утешительное в минуты некоторых мыслей...

У меня теперь голова страшно забита кучей хлопот вчера и сегодня, так что я... я думаю, пишу довольно бестолково и спешу отправить.

От всей души обнимая, остаюсь

твой Гоголь.

Хотел было предложить два исторические вопроса, сильно меня занимавшие. Не разрешишь ли? — но после. Они требуют много бумаги. Видишь, я, несмотря на все, все-таки не могу совершенно освободиться от Истории.

24. М. П. ПОГОДИНУ

⟨1833.⟩ Мая 8. СПб.

Теперь только что получил я твою записку чрез Краевского. Хорош комиссионер попался! В ней я прочел странный упрек, который я втайне было делал тебе. Странно: я писал к тебе письмо не так давно. Неужели ты не получал его! Еще страннее, что я не видел и не читал того письма, о котором пишешь, что

я, верно, удивился, когда прочел его. Не приложу ума, какому сатаненку достались наши письма.

Ну, очень рад, что уже «Самозванец» пишется. Может быть, он и кончен! Когда-то мне достанется читать! Хотелось бы.

Я не иначе надеюсь отсюда вырваться, как только тогда, когда зашибу деньгу большую. А это не иначе может сделаться, как по написании увесистой вещи. А начало к этому уже сделано. Не знаю, как пойдет дальше.

Скоро ли у вас выйдет хоть один том Европейской истории? Кстати, случалось ли когда-нибудь тебе слышать про «Историю Римской империи и славянских народов»? Это чудо, а не книга, типографическая редкость! 1503 года и вся в опечатках; а главное, что во введении прежде всего говорится о истреблении вшей и привезенных в Германию индейских клопов. Издана в Оснабрике.

Пушкин уже почти кончил «Историю Пугачева». Это будет единственное у нас в этом роде сочинение. Замечательна очень вся жизнь Пугачева. Интересу пропасть! Совершенный роман! Что делают наши москвичи? Что, Максимович печатает точно Наума и песни или только нас надувает? А Киреевский, неужели он до сих пор на ложе лени? Не делает ли чего Баратынский? и не будет ли кто из вас этого лета в Петербурге?

Адресуй мне пока на имя Смирдина, потому что я думаю переменить на этой или на той неделе квартиру непременно.

Ты, кажется, желал иметь «Вечера на хуторе». Теперь только я достал их и посылаю. Где будешь лето проводить, в городе или в деревне?

Нельзя ли напечатать скорее «Афоризмы», у меня горло пересохло от жажды. С генваря месяца и до сих пор я не встретил нигде ни одной новой исторической истины. Набору слов пропасть, выражения усилены, сколько можно усилить, и фигурно чрезвычайно, а мысль, разглядишь, давно знакомая.

Прощай! Целую тебя несколько раз, и да не отлучается от тебя вдохновенье и творческая сила!

Твой Гоголь.

27. М. А. МАКСИМОВИЧУ

⟨1833.⟩ Ноября 9. СПб.

Я получил ваше письмо, любезнейший земляк, чрез Смирдина. Я чертовски досадую на себя за то, что ничего не имею, чтобы прислать вам в вашу «Денницу». У меня есть сто разных начал, и ни одной повести, и ни одного даже отрывка полного, годного для альманаха. Смирдин из других уже рук достал одну мою старинную повесть, о которой я совсем было позабыл и которую я стыжусь назвать своею; впрочем, она так велика и неуклюжа, что никак не годится в ваш альманах. Не гневайтесь на меня, мой милый и от всей души и сердца любимый мною земляк. Я вам в другой раз непременно приготовлю, что вы хотите. Но не теперь. Если бы вы знали, какие со мною происходили странные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал! Но теперь я надеюсь, что все успокоится и я буду снова деятельный, движущийся. Теперь я принялся за историю нашей единственной, бедной Украины. Ничто так не успокоивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили.

Я очень порадовался, услышав от вас о богатом присовокуплении песен и собрании Ходаковского. Как бы я желал теперь быть с вами и пересмотреть их вместе, при трепетной свече, между стенами, убитыми книгами и книжною пылью, с жадностью жида, считающего червонцы. Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!

Я сам теперь получил много новых, и какие есть между ними прелести. Я вам их спишу. Не так скоро, потому что их очень много. Да, я вас прошу, сделайте милость, дайте списать все находящиеся у вас песни, выключая печатных и сообщенных вам мною. Сделайте милость и пришлите этот экземпляр мне. Я не могу жить без песен. Вы не понимаете, какая это мука. Я знаю, что есть столько песен, и вместе с тем не знаю.

Это все равно если б кто перед женщиной сказал, что он знает секрет, и не объявил бы ей. Велите переписать четкому, красивому писцу в тетрадь in quarto [1] на мой счет. Я не имею терпения дождаться печатного; притом я тогда буду знать, какие присылать вам песни, чтобы у вас не было двух сходных дублетов. Вы не можете представить, как мне помогают в истории песни. Даже не исторические, даже похабные; они все дают по новой черте в мою историю, все разоблачают яснее и яснее, увы, прошедшую жизнь и, увы, прошедших людей... Велите сделать это скорее. Я вам за то пришлю находящиеся у меня, которых будет до двухсот; и что замечательно — что многие из них похожи совершенно на антики, на которых лежит печать древности, но которые совершенно не были в обращении и лежали зарытые.

Прощайте, милый, дышащий прежним временем земляк, не забывайте меня, как я не забываю вас.

Лучше вычеркнуть.

Пишите ко мне.

Вечно ваш Н. Гоголь.

26. М. А. МАКСИМОВИЧУ

⟨После 20 дек. 1833. Петербург.⟩

Благодарю тебя за все: за письмо, за мысли в нем, за новости и проч. Представь, я тоже думал. Туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев! Он наш, он не их, неправда? Там, или вокруг него, деялись дела старины нашей.

Я работаю. Я всеми силами стараюсь; но на меня находит страх: может быть, я не успею. Мне надоел Петербург, или, лучше, не он, но проклятый климат его: он меня допекает. Да, это славно будет, если мы займем с тобой киевские кафедры. Много можно будет наделать добра.

А новая жизнь среди такого хорошего края! Там можно обновиться всеми силами. Разве это малость?

---

[1] В четвертую долю листа (*лат.*).

Но меня смущает, если это не исполнится... Если же исполнится, да ты надуешь,— тогда одному приехать в этот край, хоть и желанный, но быть одному совершенно, не иметь с кем заговорить языком души — это страшно! Говорят, уже очень много назначено туда каких-то немцев, это тоже не так приятно. Хотя бы для святого Владимира побольше славян. Нужно будет стараться кого-нибудь из известных людей туда впихнуть, истинно просвещенных и так же чистых и добрых душою, как мы с тобою. Я говорил Пушкину о стихах. Он написал, путешествуя, две большие пьесы, но отрывков из них не хочет давать, а обещается написать несколько маленьких. Я с своей стороны употреблю старание его подгонять.

Прощай до следующего письма. Жду с нетерпением от тебя обещанной тетради песен, тем более что беспрестанно получаю новые, из которых много есть исторических, еще больше — прекрасных. Впрочем, я нетерпеливее тебя и никак не могу утерпеть, чтобы не выписать здесь одну из самых интересных, которой, верно, у тебя нет:

Наварыла сечевыци
Поставыла на полыци.
Сечевыця сходыть, сходыть,
Сам до мене козак ходыть.
Наварыла гороху
Да послала Явдоху.
    Що се с биса, нема с лиса?
    Що се братця, як барятця?
Наварыла каши з лоем,
Налыгалась з упокоем.
    Що се с биса, нема с лиса,
    Що се братця, як барятця.
〈А〉 я с того поговору
Пишла 〈.....〉 за комору.
    Що се с биса, нема с лиса,
    Що се братця, як барятця.
Сила дивка, тай заснула[1],
Свынья бигла, тай зопхнула.
    Що се с биса, нема с лиса,
    Що се братця, як барятця.

---

[1] Черта совершенно малороссийская. (*Прим. Н. В. Гоголя.*)

Бижыть свынья кова́пая:
«Чого сыдыш, поганая?
Чого сыдыш, надулася?
Чому в кожух не вдягласяʔ»
— Бодай в тебе стильки дух,
Як у мене есть кожух.
    Що се с биса, нема с лиса,
    Що се братця, як барятця.
Ведуть свынью перед пана,
Крычыть свынья: «Я не пхала,
Вона сама в ⟨.....⟩ впала».
Крычыть свынья, репетуе,
Нихто еи не ратуе.
    Що се с биса, нема с лиса,
    Що се братця, як барятця.

27. А. С. ПУШКИНУ

23 декабря 1833. ⟨Петербург.⟩

Если бы вы знали, как я жалел, что застал вместо вас одну записку вашу на моем столе. Минутой мне бы возвратиться раньше, и я бы увидел вас еще у себя. На другой же день я хотел непременно побывать у вас; но как будто нарочно все сговорилось идти мне наперекор: к моим геморроидальным добродетелям вздумала еще присоединиться простуда, и у меня теперь на шее целый хомут платков. По всему видно, что эта болезнь запрет меня на неделю. Я решился, однако ж, не зевать и вместо словесных представлений набросать мои мысли и план преподавания на бумагу. Если бы Уваров был из тех, каких не мало у нас на первых местах, я бы не решился просить и представлять ему мои мысли. Как и поступил я назад тому три года, когда мог бы занять место в Московском университете, которое мне предлагали, но тогда был Ливен, человек ума недального. Грустно, когда некому оценить нашей работы. Но Уваров собаку съел. Я понял его еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гете. Не говорю уже о мыслях его по случаю экзаметров, где столько философического познания языка и ума быстрого. Я уверен, что

у нас он более сделает, нежели Гизо во Франции. Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты.

Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украйны и юга России и напишу всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе нет. А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.! Кстати, ко мне пишет Максимович, что он хочет оставить Московский университет и ехать в Киевский. Ему вреден климат. Это хорошо. Я его люблю. У него в «Естественной истории» есть много хорошего, по крайней мере ничего похожего на галиматью Надеждина. Если бы Погодин не обзавелся домом, я бы уговорил его проситься в Киев. Как занимательными можно сделать университетские записки; сколько можно поместить подробностей, совершенно новых о самом крае! Порадуйтесь находке: я достал летопись без конца, без начала, об Украйне, писанную, по всем признакам, в конце XVII века. Теперь покамест до свиданья! как только мне будет лучше, я явлюсь к вам.

Вечно ваш Гоголь.

28. М. П. ПОГОДИНУ

⟨1834.⟩ Генварь 11. ⟨Петербург.⟩

Эге, ге, ге, ге!.. Уже 1834-го захлебнуло полмесяца! Да, давненько! Много всякой дряни уплыло на свете с тех пор, как мы в последний раз перекинулись жиденькими письмами, а еще больше с тех пор, как показали друг другу свои фигуры!

Поздравил бы тебя с Новым годом и пожелал бы... да не хочу: во-1-х потому, что поздно, а во-2-х потому, что желания наши гроша не стоят. Мне кажется, что

судьба больше ничего не делает с ними, как только подтирается, когда ходит в нужник.

До сих пор мне все желания не доставили алтына.

Счастлив ты, златой кузнечик, что сидишь в новоустроенном своем доме, без сомнения холодном. (NB: Но у кого на душе тепло, тому не холодно снаружи.) Рука твоя летит по бумаге; фельдмаршал твой бодрствует над ней; под ногами у тебя валяется толстый дурак, то есть первый № смирдинской «Библиотеки»... Кстати о «Библиотеке». Это довольно смешная история. Сенковский очень похож на старого пьяницу и забулдыжника, которого долго не решался впускать в кабак даже сам целовальник, но который, однако ж, ворвался и бьет очертя голову спьяна сулеи, штофы, чарки и весь благородный препарат.

Сословие, стоящее выше Брамбеусины, негодует на бесстыдство и наглость кабачного гуляки; сословие, любящее приличие, гнушается и читает. Начальники отделений и директоры департаментов читают и надрывают бока от смеху. Офицеры читают и говорят: «Сукин сын, как хорошо пишет!» Помещики покупают и подписываются и, верно, будут читать. Одни мы, грешные, откладываем на запас для домашнего хозяйства. Смирдина капитал растет. Но это еще все ничего. А вот что хорошо. Сенковский уполномочил сам себя властью решить, вязать: марает, переделывает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам. Натурально, что если все так будут кротки, как почтеннейший Фадей Венедиктович (которого лицо очень похоже на лорда Байрона, как изъяснялся не шутя один лейб-гвардии кирасирского полка офицер), который объявил, что он всегда за большую честь для себя почтет, если его статьи будут исправлены таким высоким корректором, которого «Фантастические путешествия» даже лучше его собственных. Но сомнительно, чтобы все были так робки, как этот почтенный государственный муж.

Но вот что плохо, что мы все в дураках! В этом и спохватились наши тузы литературные, да поздно. Почтенные редакторы зазвонили нашими именами, набрали подписчиков, заставили народ разинуть рот и на наших же спинах и разъезжают теперь. Они поставили

новый краеугольный камень своей власти. Это другая «Пчела»! И вот литература наша без голоса! А между тем наездники эти действуют на всю Русь. Ведь в столице нашей чухонство, в вашей купечество, а Русь только среди Руси. Но прощай. Скоро ли тебя поздравить отцом, и каким? Умного дитища, то есть книжного? или такого, которое будет со временем умно, то есть того, которое не пером работается?

Твой Гоголь.

Я весь теперь погружен в историю малороссийскую и всемирную; и та и другая у меня начинает двигаться. Это сообщает мне какой-то спокойный и равнодушный к житейскому характер, а без того я бы был страх сердит на все эти обстоятельства.

Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! полных, свежих! мне кажется, что сделаю кое-что необщее во всеобщей истории. Малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней слишком уже горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна! Кстати: я прочел только из всего № 1-го Брамбеуса твои «Афоризмы». Мне с тобою хотелось бы поговорить о них. Я люблю всегда у тебя читать их, потому что или найду в них такие мысли, которые верны и новы, или же найду такие, с которыми хоть и не соглашусь иногда, но они зато всегда наведут меня на другую новую мысль. Да печатай их скорей!

Поцелуй за меня Киреевского! Правда ли, что он печатает русские песни?

Поклон всем нашим.

29. И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ

СПб. Марта 6. 1834.

Ваше приятное для меня письмо я получил 2 марта. От всей души благодарю вас за вашу готовность помогать мне в труде моем и крепко пожимаю вашу руку.

Вы правы: нам одинаково нужны материалы; но хотя бы ваша книга превратилась в историю, мы и тогда бы не были соперниками. Я рад всему, что ни появляется о нашем крае. И если бы я узнал, что в эту минуту кто-нибудь готовит тоже историю Украйны, я бы приостановил свое издание до тех пор, покамест ему нужно для сбыта своей книги. Чем больше попыток и и опытов, тем для меня лучше, тем моя история будет совершеннее. Я уверен, что в образе мыслей не встречусь с другими, денежной прибыли от нее не ищу — стало быть, у меня нет соперников! Вы уже сделали мне важную услугу изданием «Запорожской старины». Где выкопали вы столько сокровищ? Все думы, и особенно повести бандуристов, ослепительно хороши. Из них только пять были мне известны прежде, прочие были для меня все — новость! Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого невольно (если бы он даже был совершенно недеятелен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ... Я недоволен польскими историками, они очень мало говорят об этих подвигах; впрочем, они могли знать хорошо только со времени унии, но и там ни одного летописца с нечерствою душою, мыслями. Если бы крымцы и турки имели литературу, я бы был уверен, что ни одного самостоятельного тогда народа в Европе не была бы так интересна история, как козаков. И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи, если можно назвать летописями не современные записки, но поздние выписки, начавшиеся уже тогда, когда память уступила место забвению. Эти летописи похожи на хозяина, прибившего замок к своей конюшне, когда лошади уже были украдены. Хорошо еще, если между ними попадались с резкою физиономией, с характером: как, например, Конисский, который выхватил хоть горсть преданий и знал, о чем он пишет. Но все другие так пусты, так бесцветны! и, вместо того чтобы дослу-

шиваться к умирающему голосу последних воспоминаний, они обезьянски переписывали друг у друга вырванные листки не происшествий, а разве оглавления происшествий. Если бы наш край не имел такого богатства песен — я бы никогда не писал истории его, потому что я не постигнул бы и не имел понятия о прошедшем, или История моя была бы совершенно не то, что я думаю с нею сделать теперь. Эти-то песни заставили меня с жадностью читать все летописи и лоскутки какого бы то ни было вздору. Я имел случаї многие перечесть и, к сожалению, пропустил случаї многие переписать. Из означенных вами в «Запорожской старине» мне неизвестны две: «Пространная повесть об Украине до смерти Хмельницкого». Заглавие этой рукописи мне показалось незнакомым. Уведомите меня, имеется ли в ней что-нибудь новое против летописей Конисского, Шафонского, Ригельмана? если, на мое счастье, в ней окажется новое, то я буду надеяться на снисхождение ваше и попрошу вас отдать ее теперь же понемногу переписывать. Мне хочется иметь ее всю, тогда я могу в ней отыскать, может быть, другими не замеченное или не казавшееся важным, что случалось со мною довольно часто. Я очень знаю, что наши списки летописей иногда между собою разнят: у одних выпущено что-нибудь и у других прибавлено. Иногда одна прибавка стоит всей летописи. Потому-то я имею и стараюсь иметь по нескольку списков. Для этого-то я и не означал, какие находятся у меня материалы, зная, что тогда я не получу многих списков. Печатные есть у меня почти все те, которыми пользовался Бантыш-Каменский. Песен я знаю и имею много. Около 150 песен я отдал прошлый год Максимовичу, совершенно ему неизвестных. После того я приобрел еще около 150. У Максимовича теперь уже 1200. Но я бьюсь об чэм угодно, что теперь же еще можно сыскать в каждом хуторе, подальше от большой дороги и разврата, десятка два неизвестных другому хутору. Если я управлюсь с моими делами, то, может быть, летом буду в Малороссию и буду благодарить вас, может быть, лично за ваше радушие и готовность. А между тем ожидаю с нетерпением страшным выхода в свет вашей

«Старины» третьей и четвертой книжки. Я уверен, что там будет много для меня пищи. Но — до следующего письма! Я хотел вам еще о чем-то писать, но небольшой случай перебил мои мысли.

Чувствуя вполне ваше благорасположение, остаюсь всегда вашим покорнейшим и благодарным слугою

Н. Гоголь.

80. М. А. МАКСИМОВИЧУ

⟨1834.⟩ Марта 26. СПб.

Во-первых, твое дело не клеится как следует, несмотря на то что и князь Петр и Жуковский хлопотал об тебе. И их мнение, и мое вместе с ними есть то, что тебе непременно нужно ехать самому. За глаза эти дела не делаются, да и Мекка (NB) любит поклонение. Теперь поется, что ты-де нужен Московскому университету, что в Киеве место почти занято уже, и прочее. Но если ты сам прибудешь лично и объявишь свои резоны, что ты бы и рад, дескать, но твое здоровье и прочее, тогда будет другое дело; князь же с своей стороны и Жуковский не преминут подкрепить, да и Пушкин тоже. Приезжай! я тебя ожидаю. Квартира же у тебя готова. Садись в дилижанс и валяй! потому что зевать не надобно: как раз какой-нибудь олух влезет на твою кафедру.

Ты, нечего сказать, мастер надувать. Пишет: посылаю песни, а между тем о них ни слуху ни духу; заставил разинуть рот, а вареника и не всунул. А я справлялся около недели в почтамте и у Смирдина, нет ли посылки ко мне. Вацлав, я тебе говорил, что отжилен у меня совершенно безбожно одним молодцом, взявшим на два часа и улизнувшим, как я узнал, совершенно из города. Поговорим об объявлении твоем: зачем ты делишь свое собрание на гульливые, козацкие и любовные? Разве козацкие не гульливые и гульливые не все ли козацкие. Впрочем, я не знаю настоящего значения твоего слова: козацкие.

Разве нет таких песней, у которых одна половина любовная, а другая гульливая? По мне, разделения не нужно в песнях. Чем больше разнообразия, тем лучше. Я люблю вдруг возле одной песни встретить другую, совершенно противного содержания. Мне кажется, что песни должно разделить на два разряда: в первом должны поместиться все твои три первые отделения, во втором — обрядные. Много же, если на три разряда: 1-й — исторические, 2-й — все, выражающие различные оттенки народного духа, и 3-й — обрядные. Впрочем, как бы то ни было, разделение вещь последняя.

Я рад, что ты уже начал печатать. Если бы я имел у себя списки твоих песен, я бы прислужился тебе и, может быть, даже несколько помог. Но в теперешнем состоянии не знаешь, за что взяться. Да и несносно ужасно делать комментарии, не зная на что, а если и зная, то не будучи уверен, кстати ли они будут и не окажутся ли лишними. Если не пришлешь песен, то хоть привези с собой да приезжай поскорей. Мы бы так славно все обстроили здесь, как нельзя лучше. Я очень многое хотел писать к тебе, но теперь у меня бездна хлопот, и все совершенно вышло из головы. Прощай до следующей почты. Мысленно целую тебя и молюсь о тебе, чтобы скорей тебя выпхнули в Украину.

Твой Гоголь.

31. М. А. МАКСИМОВИЧУ

⟨1834.⟩ 20 апреля. СПб.

Письмо твое от 16 я получил сегодня. Ну, я рад от души и от сердца, что дело твое подтвердилось уже официально. Теперь тебе, точно, незачем уже ехать в Петербург. Тебя только беспокоят дела московские. Смелее с ними: одно побоку, другому киселя дай, и все кончено. Из необходимого нужно выбирать необходимейшее, и ты выкрутишься скоро. Я сужу по себе. Да, кстати о мне: знаешь ли, что представления Брадке чуть ли не больше значат, нежели наших здешних

ходатаев. Это я узнал верно. Слушай, сослужи службу. Когда будешь писать к Брадке, намекни ему о мне вот каким образом: что вы бы, дескать, хорошо сделали, если бы залучили в университет Гоголя, что ты не знаешь никого, кто бы имел такие глубокие исторические сведения и так бы владел языком преподавания, и тому подобные скромные похвалы, как будто вскользь. Для примера ты можешь прочесть предисловие к грамматике Греча или Греча к романам Булгарина. Он, сколько я заметил, основывается на видимом авторитете и на занимаемом месте. Ты, будучи ординарным профессором Московского университета, во мнении его много значишь. Я же, бедный, почти нуль для него; грешных сочинений моих он не читывал, имени не слыхивал, стало быть ему нечего и беспокоиться обо мне. Тем более мне это нужно, что министр, кажется, расположен сделать для меня все что можно, если бы только попечитель ему хоть слово прибавил от себя. Тогда бы я скорее в дорогу и, может быть, еще бы застал тебя в Москве.

Благодарю тебя за песни. Я теперь читаю твои толстые книги; в них есть много прелестей. Отпечатанные листки меня очень порадовали. Издание хорошо. Примечания с большим толком. О переводах я тебе замечу вот что. Иногда нужно отдаляться от слов подлинника нарочно для того, чтобы быть к нему ближе. Есть пропасть таких фраз, выражений, оборотов, которые нам, малороссиянам, кажутся очень будут понятны для русских, если мы переведем их слово в слово, но которые иногда уничтожают половину силы подлинника. Почти всегда сильное лаконическое место становится непонятным на русском, потому что оно не в духе русского языка; и тогда лучше десятью словами определить всю обширность его, нежели скрыть его.

Этих замечаний, впрочем, ты не можешь еще приноровить к приведенному тобою переводу, потому что он очень хорош; окончание его прекрасно... Но, чтобы и к нему сделать придирку, вот тебе замечание на первый случай, мотай на ус:

Федора Безродного, атамана куренного, постреляли, порубили, только не поймали чуры.

1836 Спб. Апрѣл. 29.

Наконецъ пишу къ вамъ
безцѣннѣйшій Михаилъ Семено-
вичъ. Едва ли, сколько мнѣ кажется,
это не въ первый разъ происходитъ
явленіе такъ очень замѣчательное.
Два первые лѣнивца въ мірѣ на-
конецъ рѣшаются изумить другъ
друга письмомъ. Посылаю вамъ
Ревизора. Можетъ быть до васъ
уже дошли слухи о немъ. Я писалъ
къ Лѣнивцу 1й гильдіи и неакурат-
нѣйшему человѣку въ мірѣ Пого-
дину, чтобы онъ увѣдомилъ васъ.
Хотѣлъ даже посылать къ ~~вамъ~~ [его]
но раздумалъ желая самъ привезть
~~къ вамъ~~ и прочитать собственногла-
но дабы онъ которыхъ [illegible]
не составилъ заблаговременно
превратныя понятія которыя я
знаю чрезвычайно трудно потом

Автограф письма Н. В. Гоголя к М. С. Щепкину

Во-первых, *постреляли* не русское слово, оно не по-русски спрягнулося и скомпоновалося, и вместе с словом *порубили* на русском слабее выражает, нежели на нашем. Мне кажется, вот как бы нужно было сказать:

Куренного атамана, Федора Безродного, они всего пронизали пулями, всего изрубили, не поймали только его чуры.

В переводе более всего нужно привязываться к мысли и менее всего к словам, хотя последние чрезвычайно соблазнительны, и, признаюсь, я сам, который теперь рассуждаю об этом с таким хладнокровным беспристрастием, вряд ли бы уберегся от того, чтобы не влепить звонкое словцо в русскую речь, в простодушной уверенности, что его и другие так же поймут. Помни, что твой перевод для русских, и потому все малороссийские обороты речи и конструкцию прочь! Ведь ты, верно, не хочешь делать подстрочного перевода? Да, впрочем, это было бы излишне, потому что он у тебя и без того приложен к каждой песне. Ты каждое слово так удачно и хорошо растолковал, что кладешь его в рот всякому, кто захочет понять песню. Я бы тебе много кой-чего хотел еще сказать, но, право, чертовски скучно писать о том, что можно переговорить гораздо с большею ясностью и толком. Да притом это такая длинная материя, зацепи только — и пойдет тянуться. В подобных случаях более всего нужны толки с другою головою, потому что, верно, одна заметит то, что другая пропустит. Как бы то ни было, я с радостью ребенка держу в руках твой первый лист и говорю: «Вот все, что отстоялось от прежних дум, от прежних лет!» — как выразился Дельвиг. Я еще никому не успел показать его, но понесу к Жуковскому и похвастаюсь Пушкину и мнения их сообщу тебе поскорее. А между тем подгоняй свои типографские станки. Я тебе пришлю скоро кое-какие песни, которые, впрочем, войдут в последний разве только отдел твоего первого тома. За «Песнями люду Галичского» я послал в Варшаву, и как только получу их, то ту же минуту пришлю их тебе. Здешние скоты книгопродавцы так пугаются всего, что выходит на польском языке, что даже польского букваря нигде не отыщешь, и с важ-

ным видом говорят только: запрещен. Одоевскому скажу, чтобы он скорее пристроил твоего Наума. Эти дни, может быть, не увижу его, потому что ты сам знаешь, что за безалаберщина деется у людей на праздниках: они все как шальные. По улицам мечутся шитые мундиры и трехугольные шляпы, а дома между тем никого. У Плетнева постараюсь тоже на этих днях отобрать нужные для тебя сведения. Но до того прощай. Поручаю тебя ангелу-хранителю твоему. Да будешь ты здрав и спокоен.

Весь твой Гоголь.

32. М. А. МАКСИМОВИЧУ

〈1834.〉 Мая 29. 〈Петербург.〉

Только что я успел отправить к тебе вчерашнее письмо мое, как вдруг получил два твоих письма: одно еще от 10 мая, другое от 19 мая. Ну, теперь я не удивляюсь твоему молчанию. Смирдин никуда не годится: он их изволил продержать у себя больше недели. Благодарю, очень благодарю тебя за листки песен. Я не пишу к тебе никаких замечаний, потому что я ужасно не люблю печатных или письменных критик, то есть не читать их не люблю, но писать. Недавно Сергей Семенович получил от Срезневского экземпляр песней и адресовался ко мне с желанием видеть мое мнение о них в «Журнале просвещения»; так же как и о бывших до него изданиях — твоем и Цертелева. Что ж я сделал? я написал статью, только самого главного позабыл: ничего не сказал ни о тебе, ни о Срезневском, ни о Цертелеве. После я спохватился и хотел было прибавить и проболтаться о твоем великолепном новом издании, но опоздал: статья уже была отпечатана. Так как не скоро к вам доходят петербургские книги, то посылаю тебе особый отпечатанный листок, также и листок из истории Малороссии, которой мне зело не хотелось давать. Я слышал уже суждения некоторых присяжных знатоков, которые глядят на этот кусок как на полную историю Малороссии, позабывая, что еще

впереди целых 80 глав они будут читать и что эта глава — только фронтиспис. Я бы, впрочем, весьма желал видеть твои замечания, тем более что этот отрывок не войдет в целое сочинение, потому что оно начато писаться после того гораздо позже и ныне почти в другом виде. Но из новой моей истории Малороссии я никуда не хочу давать отрывков. Кстати. Ты просил меня сказать о твоем разделении истории. Оно очень натурально и, верно, приходило в голову каждому, кто только слишком много занимался чтением и изучением нашего прошедшего. У меня почти такое же разделение, и потому я не хвалю его, считая неприличным хвалить то, что сделалось уже нашим — и твоим, и моим вместе.

Прощай! Целую тебя несколько раз.

Твой Гоголь.

33. А. С. ПУШКИНУ

⟨Конец декабря 1834 г.— начало января 1835 г. Петербург.⟩

Вышла вчера довольно неприятная зацепа по цензуре по поводу «Записок сумасшедшего». Но, слава богу, сегодня немного лучше. По крайней мере я должен ограничиться выкидкою лучших мест. Ну, да бог с ними! Если бы не эта задержка, книга моя, может-быть, завтра вышла. Жаль, однако ж, что мне не удалось видеться с вами. Я посылаю вам предисловие. Сделайте милость, просмотрите, и если что, то поправьте и перемените тут же чернилами. Я ведь, сколько вам известно, серьезных предисловий еще не писал и потому в этом деле совершенно неопытен.

Вечно ваш Гоголь.

34. А. С. ПУШКИНУ

⟨Около 22 января 1835 г. Петербург.⟩

Я до сих пор сижу болен, мне бы очень хотелось видеться с вами. Заезжайте часу во втором; ведь вы, верно, будете в это время где-нибудь возле меня. Посылаю

вам два экземпляра «Арабесков», которые, ко всеобщему изумлению, очутились в 2-х частях. Один экземпляр для вас, а другой, разрезанный,— для меня. Вычитайте мой и сделайте милость, возьмите карандаш в ваши ручки и никак не остановливайте негодование при виде ошибок, но тот же час их всех налицо. Мне это очень нужно.

Пошли вам бог достаточно терпения при чтении!

Ваш Гоголь.

35. А. С. ПУШКИНУ

Октября 7. 1835. СПб.

Решаюсь писать к вам сам; просил прежде Наталью Николаевну, но до сих пор не получил известия. Пришлите, прошу вас убедительно, если вы взяли с собою, мою комедию, которой в вашем кабинете не находится и которую я принес вам для замечаний. Я сижу без денег и решительно без всяких средств, мне нужно давать ее актерам на разыграние, что обыкновенно делается по крайней мере за два месяца прежде. Сделайте милость, пришлите скорее и сделайте наскоро хотя сколько-нибудь главных замечаний. Начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь.

Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. Если ж сего не случится, то у меня пропадет даром время, и я не знаю, что делать тогда с моими обстоятельствами. Я, кроме моего скверного жалованья университетского 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смеш-

нее черта. Ради бога. Ум и желудок мой оба голодают. И пришлите «Женитьбу». Обнимаю вас и целую и желаю обнять скорее лично.

Ваш Гоголь.

Мои ни «Арабески», ни «Миргород» не идут совершенно. Черт их знает, что это значит. Книгопродавцы такой народ, которых без всякой совести можно повесить на первом дереве.

36. М. П. ПОГОДИНУ

1835. Декабря 6. СПб.

Здравствуй, душа моя! Спасибо тебе, что ты приехал и написал ко мне. Но я думал, что ты сделаешь лучше и приедешь прежде в Петербург. Мне бы хотелось на тебя поглядеть и послушать,— послушать, что и как было в пути и что Немещина и немцы. Этого мне хотелось потому, что твои глаза ближе к моим, чем кого другого. Но на письме я знаю сам, что писать об этом слишком громоздко и для нас, людей ленивых, очень скучно. Я жадно читал твое письмо в «Журнале просвещения», но еще хотел бы слушать изустных прибавлений. Уведомь, какие книги привез и что есть такого, о чем нам неизвестно.

Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный козак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся,— в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает. Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторг-

нетесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч., и проч... Я тебе одному говорю это; другому не скажу я: меня назовут хвастуном, и больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышел я на свежий воздух. Это освежение нужно в жизни, как цветам дождь, как засидевшемуся в кабинете прогулка. Смеяться, смеяться давай теперь побольше. Да здравствует комедия! Одну наконец решаюсь давать на театр, прикажу переписывать экземпляр для того, чтобы послать к тебе в Москву вместе с просьбою предуведомить кого следует по этой части. Скажи Загоскину, что я буду писать к нему об этом и убедительно просить о всяком с его стороны вспомоществовании, а милому Щепкину: что ему десять ролей в одной комедии; какую хочет, пусть такую берет, даже может разом все играть. Мне очень жаль, что я не приготовил ничего к бенефису его. Так я был озабочен это время, что едва только успел третьего дни окончить эту пьесу. Той комедии, которую я читал у вас в Москве, давать не намерен на театр. Ну, прощай, мой Погодин. Обнимаю тебя очень крепко! Поцелуй за меня ручку супруги своей.

Твой Гоголь.

37. М. П. ПОГОДИНУ

21 февраля 1836. СПб.

Никак не могу разрешить причины твоего молчания. Два письма я писал к тебе, и ни на одно ответа. Жив ли ты, здоров ли ты, что делаешь — я решительно ничего не знаю. Конечно, между нами, людьми пишущими, леность извинительна, но все же нужно знать меру. Грех тебе, право грех! Загладь хоть теперь его и напиши строчку.

Я теперь занят постановкою комедии. Не посылаю тебе экземпляра потому, что беспрестанно переправляю. Не хочу даже посылать прежде моего приезда актерам, потому что ежели они прочтут без меня, то

уже трудно будет переучить их на мой лад. Думаю быть если не в апреле, то в мае в Москве. Не можешь ли прислать мне каталога книг, приобретенных тобою и не приобретенных относительно славянщины, истории и литературы — очень обяжешь,— и, если можно, в двух-трех словах означить достоинство каждой и в каком отношении может быть полезна.

Новостей особенных здесь никаких. О журнале Пушкина, без сомнения, уже знаешь. Мне известно только то, что будет много хороших статей, потому что Жуковский, князь Вяземский и Одоевский приняли живое участие. Впрочем, узнаешь подробнее о нем от него самого, потому что он, кажется, на днях едет к вам в Москву.

Прощай! Хоть что-нибудь напиши. Авось-либо это письмо мое будет счастливее других и дождется ответа.

Твой Гоголь.

88. М. С. ЩЕПКИНУ

1836. СПб. Апреля 29.

Наконец пишу к вам, бесценнейший Михаил Семенович. Едва ли, сколько мне кажется, это не в первый раз происходит. Явление, точно, очень замечательное: два первые ленивца в мире наконец решаются изумить друг друга письмом. Посылаю вам «Ревизора». Может быть, до вас уже дошли слухи о нем. Я писал к ленивцу 1-й гильдии и беспутнейшему человеку в мире, Погодину, чтобы он уведомил вас. Хотел даже посылать к вам его, но раздумал, желая сам привезти к вам и прочитать собственногласно, дабы о некоторых лицах не составились заблаговременно превратные понятия, которые, я знаю, чрезвычайно трудно после искоренить. Но, познакомившись с здешнею театральною дирекциею, я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать и поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо. К довершению, наконец, возможнейших мне пакостей здешняя

дирекция, то есть директор Гедеонов, вздумал, как слышу я, отдать главные роли другим персонажам после четырех представлений ее, будучи подвинут какой-то мелочной личной ненавистью к некоторым главным актерам в моей пьесе, как-то: к Сосницкому и Дюру. Мочи нет. Делайте что хотите с моей пьесой, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне больше и лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит между тем братскою любовью. Комедию мою, читанную мною вам в Москве, под заглавием «Женитьба», я теперь переделал и переправил, и она несколько похожа теперь на что-нибудь путное. Я ее назначаю таким образом, чтобы она шла вам и Сосницкому в бенефис здесь и в Москве, что, кажется, случается в одно время года. Стало быть, вы можете адресоваться к Сосницкому, которому я ее вручу. Сам же через месяца полтора, если не раньше, еду за границу и потому советую вам, если имеется ко мне надобность, не медлить вашим ответом и меньше предаваться общей нашей приятельнице лени.

Прощайте. От души обнимаю вас и прошу не забывать вашего старого земляка, много, много любящего вас Гоголя.

Раздайте прилагаемые при сем экземпляры по принадлежности. Неподписанный экземпляр отдайте по усмотрению, кому рассудите.

89. М. С. ЩЕПКИНУ

1836, мая 10. СПб.

Я забыл вам, дорогой Михаил Семенович, сообщить кое-какие замечания предварительные о «Ревизоре». Во-первых, вы должны непременно, из дружбы ко мне, взять на себя все дело постановки ее. Я не знаю никого из актеров ваших, какой и в чем каждый из них хорош. Но вы это можете знать лучше, нежели кто другой. Сами вы, без сомнения, должны взять роль городничего, иначе она без вас пропадет. Есть еще трудней роль во всей пьесе — роль Хлестакова. Я не знаю, выберете ли вы для нее артиста. Боже сохрани, если ее будут играть с обыкновенными фарсами, как играют хвастунов и повес театральных. Он просто глуп, болтает потому только, что видит, что его расположены слушать; врет, потому что плотно позавтракал и выпил порядочно вина. Вертляв он тогда только, когда подъезжает к дамам. Сцена, в которой он завирается, должна обратить особенное внимание. Каждое слово его, то есть фраза или речение, есть экспромт совершенно неожиданный, и потому должно выражаться отрывисто. Не должно упустить из виду, что к концу этой сцены начинает его мало-помалу разбирать. Но он вовсе не должен шататься на стуле; он должен только раскраснеться и выражаться еще неожиданнее, и чем далее, громче и громче. Я сильно боюсь за эту роль. Она и здесь была исполнена плохо, потому что для нее нужен решительный талант. Жаль, очень жаль, что я никак не мог быть у вас: многие из ролей могли быть совершенно понятны только тогда, когда бы я прочел их. Но нечего делать. Я так теперь мало спокоен духом, что вряд ли бы мог быть слишком полезным. Зато по возврате из-за границы я намерен основаться у вас в Москве... С здешним климатом я совершенно в раздоре. За границей пробуду до весны, а весною к вам.

Скажите Загоскину, что я все поручил вам. Я напишу к нему, что распределение ролей я послал к вам. Вы составьте записочку и подайте ему, как сделанное мною. Да еще: не одевайте Бобчинского и Добчинского в том костюме, в каком они напечатаны. Это их одел Храпо-

вицкий. Я мало входил в эти мелочи и приказал напечатать по-театральному. Тот, который имеет светлые волосы, должен быть в темном фраке, а брюнет, то есть Бобчинский, должен быть в светлом. Нижнее обоим — темные брюки. Вообще чтобы не было фарсирования. Но брюшки у обоих должны быть непременно, и притом остренькие, как у беременных женщин.

Покамест прощайте. Пишите. Еще успеете. Еду не раньше 30 мая или даже, может, первых дней июня.

Н. Гоголь.

Кланяйтесь всем вашим отраслям домашним, моим землякам и землячкам.

40. М. П. ПОГОДИНУ

Мая 10. 1836. СПб.

Я виноват, очень виноват, мой добрый, мой милый Погодин, что бранил тебя за твое невнимание к моим письмам. Дело теперь объясняется само собою: всему виноваты знакомые и приятели, через которых ты писал и которые имели обыкновение проживать на дороге у знакомых или жить в Петербурге по целому месяцу и потом уже припоминали о твоих письмах. Теперь только я получаю письма твои, писанные в феврале, генваре и марте. Прости меня за то, что я напустился на тебя. На что и как теперь отвечать тебе? Многие вопросы твои уже потеряли свою современность. После разных волнений, досад и прочего мысли мои так рассеяны, что я не в силах собрать их в стройность и порядок. Я хотел было ехать непременно в Москву и с тобой наговориться вдоволь. Но не так сделалось. Чувствую, что теперь не доставит мне Москва спокойствия, а я не хочу приехать в таком тревожном состоянии, в каком нахожусь ныне. Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку

нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими всё принимается, частное принимается за общее, случай за правило. Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух-трех плутов — тысяча честных людей сердится,— говорит: мы не плуты. Но бог с ними. Я не оттого еду за границу, чтобы не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровье, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постояннее пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора уже мне творить с бо́льшим размышлением. Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь. Если удастся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе. Может быть, там увидимся с тобою, если только это правда, что ты тоже думаешь ехать. Отправляюсь или в конце мая, или в начале июня. Письмо твое еще может застать меня. Только, пожалуйста, не пиши чрез приятелей: они чрезвычайно долго задерживают письма. Лучше по почте, хотя и за почтой нашей, которая до сих пор была пример исправности, начали водиться грехи. Я писал к тебе три письма и адресовал их прямо в университет. Кажется, довольно точный адрес, а между тем, как вижу из слов твоих, ты ни одного не получил. Это письмо я вкладываю в письмо к Щепкину. Авось-либо это будет вернее. Прощай.

41. М. П. ПОГОДИНУ

Мая 15. 〈1836.〉 СПб.

Я получил письмо твое. Приглашение твое убедительно, но никаким образом не могу: нужно захватить время пользования на водах. Лучше пусть приеду к вам в Москву обновленный и освеженный. Приехавши,

я проживу с тобою долго, потому что не имею никаких должностных уз и не намерен жить постоянно в Петербурге. Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня. Не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос. Грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него, и нет никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Он зажигатель! Он бунтовщик!» И кто же говорит? Это говорят люди государственные, люди выслужившиеся, опытные, люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтоб понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере русский свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы? Я огорчен не нынешним ожесточением против моей пьесы; меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны, но жизнь петербургская ярка перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее — и как тогда заговорят мои соотечественники? И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества; а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту — значит, в переводе, опозорить все сословие и вооружить против него других или

его подчиненных. Рассмотри положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих же соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, утешит ли это его? Москва больше расположена ко мне, но отчего? Не оттого ли, что я живу в отдалении от ней, что портрет ее еще не был виден нигде у меня, что, наконец... но не хочу на этот раз выводить все случаи. Сердце мое в эту минуту наполнено благодарностью к ней за ее внимание ко мне. Прощай. Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения и возвращусь к тебе, верно, освеженный и обновленный. Все, что ни делалось со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание. И ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня.

Целую тебя несчетно. Пиши ко мне. Еще успеешь.

Твой Гоголь.

42. М. С. ЩЕПКИНУ

Мая 15-го. ‹1836.› С.-Петербург.

Не могу, мой добрый и почтенный земляк, никаким образом не могу быть у вас в Москве. Отъезд мой уже решен. Знаю, что вы все приняли бы меня с любовью. Мое благодарное сердце чувствует это. Но не хочу и я тоже с своей стороны показаться вам скучным и не разделяющим вашего драгоценного для меня участия. Лучше я с гордостью понесу в душе своей эту просвещенную признательность старой столицы моей родины и сберегу ее, как святыню, в чужой земле. Притом, если бы я даже приехал, я бы не мог быть так полезен вам, как вы думаете. Я бы прочел ее вам дурно, без малейшего участия к моим лицам. Во-первых, потому что охладел к ней; во-вторых, потому что многим недоволен в ней, хотя совершенно не тем, в чем обвиняли меня мои близорукие и неразумные критики.

Я знаю, что вы поймете в ней все как должно и в теперешних обстоятельствах поставите ее даже лучше, нежели если бы я сам был. Я получил письмо от Сергея Тимофеевича Аксакова тремя днями после того, как я писал к вам, со вложением письма к Загоскину. Аксаков так добр, что сам предлагает поручить ему постановку пьесы. Если это точно выгоднее для вас тем, что ему, как лицу стороннему, дирекция меньше будет противуречить, то мне жаль, что я наложил на вас тягостную обузу. Если же вы надеетесь поладить с дирекцией, то пусть остается так, как порешено. Во всяком случае, я очень благодарен Сергею Тимофеевичу, и скажите ему, что я умею понимать его радушное ко мне расположение.

Прощайте. Да любит вас бог и поможет вам в ваших распоряжениях, а я дорогою буду сильно обдумывать одну замышляемую мною пьесу. Зимой в Швейцарии буду писать ее, а весною причалю с ней прямо в Москву, и Москва первая будет ее слышать. Прощайте еще раз! Целую вас несколько раз. Любите всегда также вашего Гоголя.

Мне кажется, что вы сделали бы лучше, если бы пьесу оставили к осени или зиме.

Все остающиеся две недели до моего отъезда я погружен в хлопоты по случаю моего отъезда, и это одна из главных причин, что не могу исполнить ваше желание ехать в Москву.

43. М. П. ПОГОДИНУ

Женева. Сентября 22/10 ⟨1836⟩.

Здравствуй, мой добрый друг! как живешь? что делаешь? скучаешь ли, веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да ленишься? Бог в помощь тебе, если занят делом! Пусть весело горит пред тобою свеча твоя!.. Мне жаль, слишком жаль, что я не видался с тобою перед отъездом. Много я отнял у себя приятных минут... Но на Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на

них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь, не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь: ты, да несколько других близких, да небольшое число заключивших в себе прекрасную душу и верный вкус. Я не пишу тебе ничего о моем путешествии. Впечатления мои уже прошли, уже я привык к окружающему, и потому описание его, сомневаюсь, чтобы было любопытно. Два предмета только поразили и остановили меня: Альпы да старые готические церкви. Осень наступила, и я должен положить свою дорожную палку в угол и заняться делом. Думаю остаться или в Женеве, или в Лозанне, или в Веве, где будет теплее (здесь нет наших теплых домов). Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтера Скотта, а там, может быть, за перо.

Письма адресуй ко мне в Лозанну. Ты должен писать ко мне теперь чаще. Тебе должно быть известно, что значит получить письмо из родины. Прощай! Обнимаю тебя. Уведоми меня о том, что говорят обо мне в Москве. Я не имею до сих пор ни об чем никаких известий. Ни одного русского журнала не вижу. До другого письма!

Твой Гоголь.

41. В. А. ЖУКОВСКОМУ

12 ноября ⟨н. ст. 1836. Париж⟩.

Я давно не писал к вам. Я ждал, чтобы минуло лето, потому что в это время обыкновенно как-то мало вспоминается об отсутствующих. К тому ж у меня не было ничего достойного писать к вам. Но я знаю, что вы меня любите и что с наступлением осени вы вспомните обо мне, который каждую минуту вас видит перед собою. Я к вам писал, кажется, в самом начале моего путешествия.

Прошатавшись лето на водах, я перебрался на осень в Швейцарию. Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом; для этого поселился в загородном доме близ Женевы. Там принялся перечитывать я Мольера,

Шекспира и Вальтер Скотта. Читал я до тех пор, покамест сделалось так холодно, что пропала вся охота к чтению. Женевские холода и ветры выгнали меня в Веве. Никого не было в Веве; один только Блашне выходил ежедневно в 3 часа к пристани встречать пароход. Сначала было мне несколько скучно, потом я привык и сделался совершенно вашим наследником: завладел местами ваших прогулок, мерял расстояние по назначенным вами верстам, колотя палкою бегавших по стенам ящериц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика «Шильонского узника»; впрочем, даже не было и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев. В низу последней колонны, которая в тени, когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин. Недоставало только мне завладеть комнатой в вашем доме, в котором живет теперь великая кн. Анна Федоровна.

Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвых душ», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь — вещь, которая вынесет мое имя. Каждое утро, в прибавление к завтраку, вписывал я по три страницы в мою поэму, и смеху от этих страниц было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокий день. Но наконец и в Веве сделалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не мог найти. Мне тогда представился Петербург, наши теплые домы, мне живее тогда представились вы, вы в том самом виде, в каком встречали меня, приходившего к вам, и брали меня за руку и были рады моему приходу... и мне сделалось страшно скучно,

меня не веселили мои «Мертвые души», я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжить их. Доктор мой отыскал во мне признаки ипохондрии, происходившей от геморроид, и советовал мне развлекать себя; увидевши же, что я не в состоянии был этого сделать, советовал переменить место. Мое намерение до того было провести зиму в Италии. Но в Италии бушевала холера страшным образом; карантины покрыли ее, как саранча. Я встречал только бежавших оттуда итальянцев, которые от страху в масках проезжали свою землю. Не надеясь развлечься в Италии, я отправился в Париж, куда вовсе не располагал было ехать. Здесь встретил я своего двоюродного брата, с которым выехал из Петербурга. Это лучший из выпущенных вместе со мною из Нежина. Жаль, что вы не знаете его стихов, которые под величайшим страхом показал он только одному мне, и то не прежде, как затворивши все двери, чтобы и французы не услышали.

Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня, мест для гулянья множество — одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно делаю препорядочный моцион, что для меня теперь необходимо. Бог простер здесь надо мной свое покровительство и сделал чудо: указал мне теплую квартиру, на солнце, с печкой, и я блаженствую; снова весел. «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы — словом, вся православная Русь. Мне даже смешно, как подумаю, что я пишу «Мертвых душ» в Париже. Еще один Левиафан затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю о нем; слышу кое-что из него... божественные вкушу минуты... но... теперь я погружен весь в «Мертвые души». Огромно велико мое творение, и не скоро конец его. Еще восстанут против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне делать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. *Терпенье!* Кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что мое имя

после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, может быть с глазами, влажными от слез, произнесут примирение моей тени. Пришлите мне портрет ваш. Ради всего, что есть для вас дорогого на свете, не откажите мне в этом, но чтобы он был теперь снят с вас. Если у вас нет его, не поскупитесь, посидите два часа на одном месте; если вы не исполните моей просьбы, то... но нет, я не хочу и думать об отказе. Вы не захотите меня опечалить. Акварелью в миниатюре, чтобы он мог, не сворачиваясь, уложиться в письмо, и отдайте его для отправления Плетневу. Я вам пришлю свой, который закажу я налитографировать только в числе пяти экземпляров, чтобы никто, кроме моих ближайших, не имел его. Напишите что-нибудь ко мне, хоть только две строчки, что вы здоровы и что получили мое письмо. Если б вы знали, какую бодрость вдвинут в меня ваши строки. Я думаю, что я пробуду в Париже всю зиму, тем более что здесь жить для меня несравненно дешевле, нежели было доселе в Германии и Швейцарии. А с началом февраля отправлюсь в Италию, если только холера прекратится, и «Души» потекут тоже за мной.

Адрес мой: Place de la Bourse [1], № 12.

Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь — потому, как бы то ни было, но ваше воображение, верно, увидит такое, чего не увидит мое. Сообщите об этом Пушкину, авось-либо и он найдет что-нибудь с своей стороны. Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не представились; но, несмотря на это, вы всё еще можете мне сказать много нового, ибо что голова, то ум. Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет «Мертвых душ». Название можете объявить всем. Только три человека, вы, Пушкин да Плетнев, должны знать настоящее дело. Прилагаемое письмо прошу вас покорнейше вручить Плетневу немедленно, оно нужное.

[1] Биржевая площадь (*франц.*).

Будьте всегда здоровы и веселы, и да хранит вас бог от почечуев и от встреч с теми физиогномиями, на которые нужно плевать, — и да бегут они от вас, как ночь бежит от дня.

Прощайте до следующего письма.

45. М. П. ПОГОДИНУ

Нсября 28 ⟨н. ст. 1836. Париж⟩.

Письмо твое я получил в Париже. Холера, свирепствующая в Италии, не пустила меня туда. Я сижу здесь и, думаю, пробуду всю зиму. Спасибо тебе за письмо и уведомление о себе. Ты все тот же, деятельный, трудолюбивый. Пошли тебе бог успехов во всем. Благодарных будет тебе, верно, много. Но берегись слишком увлечься и рассеяться многосторонностью занятий. Избери один труд, влюбись в него душою и телом, и жизнь твоя потечет полнее и прекраснее, а самый труд будет проникнут тем одушевлением, которое недоступно для истрачивающего талант свой на повседневное. Я не одобряю предприятия твоего издавать журнал по задуманному тобою плану. Дело журнала требует более или менее шарлатанства. Посмотри, какие журналы всегда успевали! Те, которых издатели шли очертя голову, напролом всему, надевши на себя грязную рубаху ремесленника, предполагая заранее, что придется мараться и пачкаться без счету. Необходимого для этого шарлатанства и отваги у тебя нет. Конечно, можно предположить, что с прямою и твердою волею, совестью можно противустать (хотя и неприлично употреблять умные речи с кабачными бойцами), но в таком случае нужно неослабного внимания, нужно всё бросить и издавать один журнал, жить и говорить только этим журналом. На это, я знаю, тоже недостанет у тебя упрямой воли и терпения. Я могу уже судить из самого письма твоего: ты замышляешь с генваря начать его издание, а между тем в мае думаешь ехать за границу. Стало быть, он не очень горячо будет

издаваться. Повести, конечно, могли бы доставить небольшое развлечение зевающим, но где их набрать? У меня нет ни одной, и не подымется больше рука моя писать их. Пиши их тот, кому нечего больше писать. Когда я писал мои незрелые и неокончательные опыты,— которые я потому только назвал повестями, что нужно же было чем-нибудь назвать их,— я писал их для того только, чтобы пробовать мои силы и знать, так ли очинено перо мое, как мне нужно, чтобы приняться за дело. Видевши негодность его, я опять чинил его и опять пробовал. Это были бледные отрывки тех явлений, которыми полна была голова моя и из которых долженствовала некогда создаться полная картина. Но не вечно же пробовать. Пора наконец приняться за дело. В виду нас должно быть потомство, а не подлая современность.

Вещь, над которой сижу и тружусь теперь, и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей «Мертвые души» — вот все, что ты должен покамест узнать об ней. Если бог поможет выполнить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем.

Жребий мой кинут. Бросивши отечество, я бросил вместе с ним все современные желания. Неперескочимая стена стала между им и мною. Гордость, которую знают только поэты, которая росла со мною в колыбели, наконец не вынесла. О, какое презренное, какое низкое состояние... дыбом волос подымается. Люди, рожденные для оплеухи, для сводничества... и перед этими людьми... мимо, мимо их! и доныне недостает духа назвать их. Не тревожь меня мелочными просьбами о статейках «журнальных». Я не могу и не в силах заняться ими. Никакие толки, ни добрая, ни худая молва не занимает меня. Я мертв для текущего. Не води речи о театре: кроме мерзостей, ничего другого не соединяется с ним. Я даже рад, что вздорную комедию, которую я хотел было отдать в театр, зачитал у меня здесь один земляк, который, взявши ее на два дни, пропал с нею, как в воду, и я до сих пор не знаю о теперешнем ее местопребывании.

Сам бог внушал ему это сделать. Эта глупость не должна была явиться в свет. Если б я услышал, что что-нибудь мое играется или печатается, то это было бы мне только неприятно, и больше ничего. Я вижу только грозное и правдивое потомство, преследующее меня неотразимым вопросом: «Где же то дело, по которому бы можно было судить о тебе?» И чтобы приготовить ответ ему, я готов осудить себя на всё — на нищенскую и скитающуюся жизнь, на глубокое, непрерываемое уединение, которое отныне я ношу с собою везде: было ли бы это в Париже, или в африканской степи. Пиши ко мне. Есть несколько друзей, от которых письма — что благоухающий ветер с родины. Зловоние не долетит ко мне. Все, что относится собственно к тебе, литературное и не литературное, для меня дорого, и ты меня этим обяжешь. О Париже тебе ничего не пишу. Здешняя сфера совершенно политическая, а я всегда бежал политики. Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как молчаливый монах, живет он в мире, не принадлежа к нему, и его чистая, непорочная душа умеет только беседовать с богом. Прощай! обнимаю тебя!

Адрес мой: Place de la Bourse, № 12.

46. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ

Париж, 25 генварь ⟨н. ст.⟩ 1837.

Я давно не писал к тебе. Я хотел получить прежде твое письмо, о котором я знал, что оно лежит в Лозанне, и которое пришло ко мне довольно поздно. Прежде всего нужно тебя поздравить с Новым годом. Желаю одного: чтобы он был плодороднее для тебя прочих, чтобы ты наконец принялся за дело. Тебе нужно испытать горькое и приятное нашего ремесла. Жизнь твоя не полна, ты теперь должен иногда чувствовать пустоту ее. Пора, брат, пора! Вот тебе и желание мое и упрек вместе. Из письма Данилевского ты, я думаю, уже узнал о моем пребывании здесь. Я попал в Париж почти нечаянно. В Италии холера, в Швейцарии холодно.

На меня напала хандра, да притом и доктор требовал для моей болезни перемены места. Я получил письмо от Данилевского, что он скучает в Париже, и решился ехать разделять его скуку. Париж город хорош для того кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою,— не думаю, разве нужно скинуть с каждого из нас по 8 лет. К удобствам здешним приглядишься, тем более что их более, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда все приестся,— нет: итак, нет того, что бы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая, жизнь, вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобою. Здесь всё политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная! Гризи, Тамбурини, Рубини, Лаблаш — это такая четверня, что даже странно, что они собрались вместе. На свете большею частию бывает так, что одна вещь находится в одном углу, а другая, которой бы следовало быть возле нее, в другом. Не приведи бог принести сюда Пащенка. Беда была бы нашим ушам. Он бы напевал, я думаю, ежедневно и ежеминутно. Я был не так давно в Théâtre Français [1], где торжествовали день рождения Мольера. Давали его пьесы «Тартюф» и «Мнимый больной». Обе были очень хорошо играны, по крайней мере в сравнении с тем, как играются они у нас. Каждый год Théâtre Français торжествует день рождения Мольера. В этом было что-то трогательное. По окончании пьесы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голове его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он, и где он слышит это?.. Видел в трех пьесах M-lle

[1] Французском театре (*франц.*).

Mars. Ей 60 лет. В одной пьесе играла она 18-летнюю девицу. Немножко смешно было сначала, но потом, в других действиях, когда девица становится замужней женщиною, ей прощаешь лишние годы. Голос ее до сих пор гармонический, и, зажмуривши глаза, можно вообразить живо пред собою 18-летнюю. Все просто, живо; очищенная натура, в местах патетических тоже слова исходят прямо из глубоко тронутой души; ничего дикого, ни одной фальшивой или искусственной ноты. На русском нашем театре далеко недостает до Mars. Актеров много, очень много хороших. На каждом театре есть два или три своих корифея. Видел наследника Тальмы Ligier. Среднего росту, пожилых лет человек, бегает по сцене довольно свободно, как дома, не складывает рук крестом и не глядит из-за плеча. Пьес, где герой является идеалом физической силы, он, как кажется, избегает. Я его не видел, по крайней мере никогда ни в старых трагедиях, ни в новых драмах, где герои сильно страдают и много беснуются. Играл он Людовика XI в пьесе Делавиня, и, кажется, вряд ли Делавиню так написать, как Ligier играл. Он был даже смешон — до такой степени хорош. Король, распоряжающийся очень коварно и плутовски и между тем дающий всему этому вид необходимости, им же самим наложенной, был очень занимателен для зрителя. В пьесах Мольера старики, дяди, опекуны и отцы играются очень хорошо, плуты-слуги тоже прекрасно. Если бы собрать с каждого из здешних театров по три первых персонажа, то можно бы таким образом обставить пьесу, как только может себе составить идею один комик или трагик. Театры все устроены прекрасно. Они не имеют великолепных наружных фасадов, но внутри всё как следует. От первого до последнего слова слышно и видно всем. Балеты становятся с такою роскошью, как в сказках; особливо костюмы необыкновенно хороши, с страшною историческою точностью. Сколько прежде французы глядели мало на дух века, столько теперь приглядываются на мелочи; само собою, что при этом ускользает много крупного. Золота, атласу и бархату на сцене много. Как у нас одеваются на сцене первые танцовщицы, так здесь все до одной фигурантки. Далеко Ге-

деонову до Петрова дни, хотя ему и значительно помогает в украшении декораций Федор Андреевич. Тальони — воздух! Воздушнее еще ничего не бывало на сцене. Впрочем, здесь около десяти есть таких танцовщиц, или солисток, перед которыми Пейсар — Пащенко. Скажи Жюлю: как, право, не совестно ему жить с мамзель Жорж. Ведь ей 67 лет. Да притом видно, что она только красотой своей брала. Игра ее очень монотонна и часто напыщенна. Впрочем, говорят, что ее нужно видеть только в старых трагедиях, которых, однако ж, не играют вовсе на том театре, где она теперь находится. Играет она в театре Porte St. Martin [1], где играются только одни новые драмы и мелодрамы и где зрители шумят больше, нежели на всех других театрах. Всякий почти раз в партере произойдет какая-нибудь комедия или даже и водевиль, если у зрителей хорош голос. Тогда актеры делаются зрителями: сначала слушают, а потом уходят со сцены, занавес опускается, музыка начинает играть, и пьесу начинают снова. Народ очень любит драмы, и особливо партия республиканская. Это народ сумрачный, аплодирует редко. Прочие ходят в водевиль, среднее сословие — в театр Variété или в театр Палерояль (лучшие водевильные театры!). *Знать*, как бывает всегда, корчит меломанов и ходит в итальянскую или в Большую оперу (на французском диалекте), где конопатят до сих пор еще «Гугенотов» и «Роберта», ударяя в медные горшки и тазы сколько есть духу; или иногда в Opéra Comique [2] (французскую оперу). Но бог с ними, со всеми этими операми, водевилями и комедиями! Поговорим теперь о тебе. Что ты поделываешь теперь? Там же ли ты, где и прежде, на той ли самой квартире? Так же ли похаживаешь по комнате с трубочкою, в том ли самом халате, несколько поизношенном, как бывает у всех порядочных людей? Ты ничего мне не написал об этом. Может быть, ты квартиру свою переменил и письмо мое долго будет таскаться из дома в дом, а может быть, не попадется даже и в руки к тебе... Это, признаюсь, было бы мне страшно неприят-

---

[1] У ворот св. Мартина (*франц.*).
[2] В Комическую оперу (*франц.*).

но. Я все имею надежду на скорый твой ответ, который для меня теперь почти такое же заключает в себе наслаждение, как чтение прекрасной поэмы. Душенька, пиши ко мне! Ты должен это делать чаще моего, потому что твое письмо доставит мне теперь больше удовольствия, нежели мое тебе. Тощи ваши петербургские литературные новости. Да скажи, пожалуйста, с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч. ... и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» — плевать, а во-вторых... к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава богу, это ложь: я вижу через каждые три дня русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе! ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже нет. Пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили *всё* то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей. Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ними «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне в течение долгого времени ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова — я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы! не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки. Но ты должен узнать ее. Ты должен начать с нее непременно, вкусить и горькие и сладкие плоды, покамест безотчетные лирические чувства объемлют душу и не потребовал тебя на суд твой внутренний грозный судья. Моим голосом, который теперь должен иметь над тобой двойную силу и власть, я заклинаю тебя стряхнуть лень. Не принимайся за большое дело, примись сна-

чала за малое; пиши повести, все что угодно, но только пиши непременно, рядись на все журналы, помещай и бери деньги. У тебя есть язык, но еще не разболтался. Год или два употреби непременно, чтобы расписаться, и тогда... нечего говорить, ты и сам узнаешь и постигнешь тогда свое назначение и решишь, за что и как нужно взяться. Кстати о литературных новостях: они, однако ж, не тощи. Где выберется у нас полугодие, в течение которого явились бы разом две такие вещи, каковы «Полководец» и «Капитанская дочь». Видана ли была где-нибудь такая прелесть! Я рад, что «Капитанская дочь» произвела всеобщий эффект. Даже Иван Григорьевич пишет, что чудная вещь. Когда эта музыкальная душа признала ее достоинство, то что же, я думаю, говорят прочие! Что ты ничего не пишешь обстоятельней о тех литературных новостях, которые хоть и не так сильно выглядывают, но дороги нам потому, что творцы их или кумовья, или другие близкие нам родственники, например: Кукольник, Базили. Ты очень легко упомянул о «Художественной газете». Можно бы даже привести отрывочек. Это было бы приятно. Также о «Босфоре». Нет ли там еще какого-нибудь реверанса? Не дурно также бы упомянуть несколько и об их частной жизни, о новых подвигах их на пользу отечества, а также и на собственную пользу, которая, без сомнения, ни в каком случае не забывается. В каком салоне виден теперь Базили и какую имеет моральную физиогномию? А другой Базили — с кистью вместо пера, художник Мокрицкий? Это тоже лицо не бездельное. Обо всем этом непременно нужно говорить; все это родственники, которые будут интересовать нас в продолжение всей нашей жизни. Второстепенные лица в этом романе также необходимы, и потому от времени до времени непременно нужно будет говорить о философе Данченке и об меньших братцах. Само собою, что сюда должны войти и кумовья, как-то: Жюль, Комаровы и все, которых мы близко и коротко знаем. Всем им поклон мой. Жюля особенно попроси, чтобы написал ко мне. Ему есть о чем писать. Верно, в канцелярии случился какой-нибудь анекдот. Если действующие лица выше надворных советников, то, пожалуй, он может

поставить вымышленные названия или господин NN. Скажи ему, что если он меня сколько-нибудь любит, пусть непременно напишет тоже повесть, напечатает и пришлет мне. Я читал одну из старых его повестей, которая длинна и растянута, но в ней много есть такого, что говорит, что вторая будет лучше, а третья еще лучше. Извести меня, что это такое «Литературные прибавления», которые издает Краевский и о которых пишет Пащенко? и отчего мое бедное имя туда заехало? или ему суждено валяться, как векселю несостоявшегося банкрота, от которого хотя не ждут никакой пользы, но не раздирают его потому только, что когда-то он стоил денег. Впрочем, мне это неприятно; и только в нашем литературном мире могут случаться такие самоуправства. Я не желал бы, очень не желал, чтобы мое имя упоминалось в печати. Прощай, душа моя! Не забывай же, пиши ко мне. Ты еще можешь один раз писать ко мне в Париж потому, что я не раньше как через месяц еду в Италию. Мой усердный поклон Марье Никифоровне. Здоров ли сын твой Николай — мой имевшийся быть крестник, о чем я беспрестанно сожалею? И что такое он теперь болтает? И есть ли какое приумножение в семействе, а если есть, то что такое бог послал, сына или дочь? и как идут дела корпусные твои? что делает Кушакевич, Стефин и прочие? и где ты теперь разглагольствуешь? Все то, что кажется тебе не занимательно, все то занимательно для меня, особливо если оно касается тебя. Да что делает Лукашевич? Уехал ли он за границу, или нет? и если не уехал, то почему? и что делает он теперь? Пожалуйста, передай ему мой поклон и скажи ему, что я надеюсь с ним увидеться. Получили ли вы куплеты «*Да здравствует нежинская бурса*», которые Данилевский послал в письме к Пащенку? Уведоми, часто ли ты видишься с Плетневым и кто теперь у него бывает и о чем говорят? Кланяйся ему и скажи, что деньги получены мною с невероятною исправностью.

Адрес мой: Place de la Bourse, 12. Пиши фамилию мою правильнее, иначе происходят на почте недоразумения. Пиши просто, как произносится: Gogol.

47. П. А. ПЛЕТНЕВУ

Март 28/16. ⟨1837.⟩ Рим.

Что месяц, что неделя, то новая утрата, но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепет не вкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание... Я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!.. Напишите мне хоть строчку, что делаете вы, или скажите об этом два слова Прокоповичу. Он будет писать ко мне. Я был очень болен, теперь начинаю немного оправляться. Пришлите мне деньги, которые должен внести мне Смирдин к первым числам апреля. Вручите их таким же порядком Штиглицу, дабы он отправил их к одному из банкиров в Риме для передачи мне. Лучше, если он переведет на Валентина, — этот, говорят, честнее прочих здешних банкиров. Если возможно, то ускорите это сколько возможно. Я не мог вам написать прежде, потому что не установился на месте и шатался все в дороге.

Да хранит вас бог и сбережет от всего злого. Мой адрес: Via S. Isidoro, № 17, rimpetto alla chiesa S. Isidoro, vicino alla Piazza Barbierini [1].

N. Гоголь.

---

[1] Улица св. Исидора, № 17, напротив церкви св. Исидора, близ площади Барбьерини (*итал.*).

48. М. П. ПОГОДИНУ

Март 30 ⟨н. ст. 1837⟩. Рим.

Я получил письмо твое в Риме. Оно наполнено тем же, чем наполнены теперь все наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше. Ты скорбишь как русский, как писатель, я... я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, известную под именем публики; мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтоб повторить вечную участь поэтов на родине! Или ты нарочно сделал такое заключение после сильного тобой приведенного примера, чтобы сделать еще разительнее самый пример. Для чего я приеду? Не видал я разве дорогого сборища наших просвещенных невежд? Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до действительных тайных? Ты пишешь, что все люди, даже холодные, были тронуты этою потерею. А что эти люди готовы были делать ему при жизни? Разве я не был свидетелем горьких, горьких минут, которые приходилось чувствовать Пушкину? Несмотря на то что сам монарх (буди за то благословенно имя его) почтил талант. О! когда я вспомню наших судий, меценатов, ученых умников, благородное наше аристократство... Сердце мое содрогается при одной мысли. Должны быть сильные причины, когда

они меня заставили решиться на то, на что я бы не хотел решиться. Или, ты думаешь, мне ничего, что мои друзья, что вы отделены от меня горами? Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли?

Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов всё перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей — никогда. Мои страдания тебе не могут быть вполне понятны. Ты в пристани, ты, как мудрец, можешь перенесть и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы. Сложить мне голову свою не на родине.

Если ты имеешь желание ехать освежиться и возобновить свои силы, увидеть меня — приезжай в Рим. Здесь мое всегдашнее пребывание. На июнь и июль еду в Германию на воды и, возвратившись, провожу здесь осень, зиму и весну. Небо чудное. Пью его воздух и забываю весь мир.

Напиши мне что-нибудь про ваши московские гадости. Ты видишь, как сильна моя любовь, даже гадости я готов слушать из родины.

Прощай! твой Гоголь.

Мой адрес: Via di Isidoro, 17, casa Giovanni Massuci[1].

---

[1] Улица Исидора, 17, дом Джованни Массучи (*итал.*).

49. Н. М. СМИРНОВУ

Сентября 3 ‹н. ст. 1837›. Франкфурт.

Ящик ваш я дотащил до Франкфурта. В здоровом состоянии отдал его Заргу, который обещался исполнить в точности ваше желание. Что же касается до медленного движения вашего путешествия, то я сам езжу не скорее вашего. Пароход доставил мне приятный сюрприз — ехать вместо одного дни два. Дождь, верный спутник рейнского путешествия, усугубил приятность. Все пассажиры столпились в одну каюту, и немецкий запах сделался до такой степени густ, что можно было 700 топоров повесить в воздухе. Круглые окна нашей каюты до такой степени визжали и обливались слезами, что тоска проходила меня насквозь от головы и до пяток. А мокрые зонтики, сальные сапоги и всеобщий насморк доныне мне грезятся. Наконец я доехал до Франкфурта и вот уже три дня любуюсь гнуснейшею погодою, какая когда-либо была в мире ‹...›. Да, вот чуть было не позабыл сказать: во Франкфурте встретился я с Тургеневым, с которым мы провели полдни. Он интересовался о вас и особенно о здоровье Александры Осиповны. Я его удовлетворил как мог. Он поехал теперь в Штутгарт, потом еще куда-то (имя я позабыл — какой-то немецкий город), а потом в Париж в конце этого же месяца. Государь очень был доволен сделанными им разысканиями и говорил ему несколько раз, что читал с большим наслаждением его портфели, и отпустил его теперь, куда хочет, вытряхивать и рыть все, что ни есть в кладовых Европы. Тургенев, между прочим, сказал важную истину, которая отчасти известна, может быть, и Александре Осиповне,— что, живя за границею, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию, как уже тошнит от России. Я получил, между прочим, небольшое письмецо от Жуковского, писанное еще им в марте месяце. Пять или шесть строк, но такой исполнены грусти по недавней великой утрате, что я не мог их читать равнодушно. Он все так же добр и так же любит меня и говорит, что он думает о мне очень часто. На письмо мое, писанное из Рима, я еще ничего не получал.

Оно, верно, лежит в Зимнем дворце и дожидается его прибытия из путешествия. У Тургенева я видел совершенно оконченную печатанием первую книжку «Современника». Там есть стихи Пушкина под названием «Отрывок», в которых он говорил, как он посетил свою деревню, в которой не был уже десять лет, какими показались ему его домик, его комната, за стеной которой уже не раздавались тяжелые шаги его бедной няни, и те же деревья с новыми молодыми. Удивительная простота, и такая тихая и вместе глубокая грусть, что я даже не в силах был переписать, мне так сделалось грустно. Я еду сегодня. Отправляюсь в Женеву, где буду ожидать, покамест будет свободен пропуск в Италию от всяких холерных наваждений. Вообразите себе мое несчастие: в Риме холера. Меня это как громом хватило; а я уже помышлял, с какою радостью увижу я знакомый купол и места, сделавшиеся для меня второю родиною. Не ездите в Берлин. Там холера, говорят, беснуется, бог с ним. Будьте здоровы, и да принесет вас добрый ветер благополучно к невским берегам, и да заботятся святые силы о здоровье Александры Осиповны, этого прекрасного украшения, которого так мало достойна наша пошлая столица.

Если будете писать ко мне в продолжение сентября, октября или ноября, то адресуйте в Женеву, в poste restante [1].

50. С. П. ШЕВЫРЕВУ

Вена. 〈10 сентября н. ст. 1839.〉

...Что касается до меня, я... странное дело, я не могу и не в состоянии работать, когда я предан уединению, когда не с кем переговорить, когда нет у меня между тем других занятий и когда я владею всем пространством времени, неразграниченным и неразмеренным.

---

[1] До востребования (*франц.*).



Гоголь, читающий «Мертвые души»
Рисунок Э. Мамонова. 1839.

Меня всегда дивил Пушкин, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться в деревню, одному и запереться. Я, наоборот, в деревне никогда ничего не мог делать, и вообще я не могу ничего делать, где я один и где я чувствовал скуку. Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге, и именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро... В Вене я скучаю. Погодина до сих пор нет. Ни с кем почти не знаком, да и не с кем, впрочем, знакомиться. Вся Вена веселится, и здешние немцы вечно веселятся. Но веселятся немцы, как известно, скучно, пьют пиво и сидят за деревянными столами, под каштанами, — вот и все тут. Труд мой, который начал, не идет; а, чувствую, вещь может быть славная. Или для драматического творения нужно работать в виду театра, в омуте со всех сторон уставившихся на тебя лиц и глаз зрителей, как я работал во времена оны? Подожду, посмотрим. Я надеюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге. Неужели я еду в Россию? я этому почти не верю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совсем отвык от холодов: каково мне переносить? Но обстоятельства мои такого рода, что я непременно должен ехать: выпуск моих сестер из института, которых я должен устроить судьбу и чего нет возможности никакой поручить кому-нибудь другому. Словом, я должен ехать, несмотря на все мое нежелание. Но как только обделаю два дела — одно относительно сестер, другое — драмы, если только будет на это воля всемогущего бога, доселе помогавшего мне в этом, как только это улажу, то в феврале уже полечу в Рим, и, я думаю, тебя еще застану там. Между тем я сижу все еще в Вене. Погодина еще нет. Время стоит прекрасное. Тепло и вечно хорошая погода.

Прощай. Пиши и не забудь просьбы...

Твой Гоголь.

51. М. С. ЩЕПКИНУ

⟨Вена, 10 августа н. ст. 1840.⟩

Ну, Михаил Семенович, любезнейший моему сердцу! половина заклада выиграна: комедия готова. В несколько дней русские наши художники перевели. И как я поступил добросовестно! всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою. В афишке вы должны выставить дба заглавия: русское и итальянское. Можете даже прибавить тотчас после фамилии автора: «первого итальянского комика нашего времени». Первое действие я прилагаю при письме вашем, второе будет в письме к Сергею Тимофеевичу, а за третьим отправьтесь к Погодину. Велите ее тотчас переписать как следует, с надлежащими пробелами, и вы увидите, что она довольно толста. Да смотрите, до этого не потеряйте листков: другого экземпляра нет, черновой пошел на задние обстоятельства. Комедия должна иметь успех; по крайней мере в итальянских театрах и во Франции она имела успех блестящий. Вы, как человек, имеющий тонкое чутье, тотчас постигнете комическое положение вашей роли. Нечего вам и говорить, что ваша роль — сам дядька, находящийся в затруднительном положении; роль ажитации сильной. Человек, который совершенно потерял голову: тут сколько есть комических и истинных сторон! Я видел в ней актера с большим талантом, который, между прочим, далеко ниже вас. Он был прекрасен, и так в нем было все натурально и истинно! Слышен был человек, не рожденный для интриги, а попавший невольно в оную,— и сколько натурально комического! Этот гувернер, которого я назвал дядькой, потому что первое, кажется, не совсем точно, да и не русское, должен быть одет весь в черном, как одеваются в Италии доныне все эти люди: аббаты, ученые и проч.: в черном фраке не совсем по моде, а так, как у стариков, в черных панталонах до колен, в черных чулках и башмаках, в черном суконном жилете, застегнутом плотно снизу доверху, и в черной пуховой шляпе, трехугольной,—⟨не⟩ как носят у нас, что называют вареником, а в той, в какой нарисован блудный сын, пасущий ста-

да, то есть с пригнутыми немного полями на три стороны. Два молодые маркиза точно так же должны быть одеты в черных фраках, только помоднее, и шляпы вместо трехугольных круглые, черные, пуховые или шелковые, как носим мы все, грешные люди; черные чулки, башмаки и панталоны короткие. Вот все, что вам нужно заметить о костюмах. Прочие лица одеты, как ходит весь свет.

Но о самих ролях нужно кое-что. Роль Джильды лучше всего если вы дадите которой-нибудь из ваших дочерей. Вы можете тогда более дать ее почувствовать во всех ее тонкостях. Если же кому другому, то, ради бога, слишком хорошей актрисе. Джильда умная, бойкая; она не притворяется; если ж притворяется, то это притворное у ней становится уже истинным. Она произносит свои монологи, которые, говорит, набрала из романов, с одушевлением истинным; а когда в самом деле проснулось в ней чувство матери, тут она не глядит ни на что и вся женщина. Ее движения просты и развязны, а в минуту одушевления картины она становится как-то вдруг выше обыкновенной женщины, что удивительно хорошо исполняют итальянки. Актриса, игравшая Джильду, которую я видел, была свежая, молодая, проста и очаровательна во всех своих движениях, забывалась и одушевлялась, как природа. Француженка убила бы эту роль и никогда бы не выполнила. Для этой роли, кажется, как будто нужна воспитанная свежим воздухом деревни и степей.

Играющему роль Пиппето никак не нужно сказывать, что Пиппето немного приглуповат: он тотчас будет выполнять с претензиями. Он должен выполнить ее совершенно невинно, как роль молодого, довольно неопытного человека, а глупость явится сама собою, так, как у многих людей, которых вовсе никто не называет глупыми.

Больше, кажется, не нужно говорить ничего... Вы сами знаете, что чем больше репетиций вы сделаете, тем будет лучше и актерам сделаются яснее их роли. Впрочем, ролей немного, и постановка не обойдется дорого и хлопотливо. Да! маркиза дайте какому-нибудь хорошему актеру. Эта роль энергическая: бешеный,

взбалмошный старик, не слушающий никаких резонов. Я думаю, коли нет другого, отдайте Мочалову; его же имя имеет магическое действие на московскую публику. Да не судите по первому впечатлению и прочитайте несколько раз эту пьесу,— непременно несколько раз. Вы увидите, что она очень мила и будет иметь успех...

Итак, вы имеете теперь две пьесы. Ваш бенефис укомплектован. Если вы обеим пьесам сделаете по большой репетиции и сами за всех прочитаете и объясните себе роли всех, то бенефис будет блестящий, и вы покажете шиш тем, которые говорят, что снаряжаете себе бенефис как-нибудь. Еще Шекспировой пьесы я не успел второпях поправить. Ее переводили мои сестры и кое-какие студенты. Пожалуйста, перечитайте ее и велите переписать на тоненькой бумаге все монологи, которые читаются неловко, и перешлите ко мне поскорее; я вам все выправлю, хоть всю пьесу пожалуй. За хвостом комедии сходите сейчас к Аксакову и Погодину.

52. С. Т. АКСАКОВУ

28 декабря ‹н. ст.› 1840 года. Рим.

Я много перед вами виноват, друг души моей, Сергей Тимофеевич, что не писал к вам тотчас после вашего мне так всегда приятного письма. Я был тогда болен. О моей болезни мне не хотелось писать к вам, потому что это бы вас огорчило. Вы же в это время и без того, как я узнал, узнали великую утрату; лгать мне тоже не хотелось, и потому я решился обождать. Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни! Вы, в вашем письме, сказали, что верите в то, что мы увидимся опять. Как угодно будет всевышней силе! Может быть, это желание, желание сердец наших, сильное обоюдно, исполнится. По крайней мере обстоятельства идут как будто бы к тому.

Я, кажется, не получу места, о котором — помните?— мы хлопотали и которое могло бы обеспечить мое пребывание в Риме. Я почти, признаюсь, это предвидел, потому что Кривцова, который надул всех, я разгадал почти с первого взгляда. Это человек, который слишком любит только одного себя и прикинулся любящим и то и се потому только, чтобы посредством этого более удовлетворять своей страсти, то есть любви к самому себе. Он мною дорожит столько же, как тряпкой. Ему нужно иметь при себе непременно какую-нибудь европейскую знаменитость в художественном мире, в достоинство внутреннее которого он хотя, может быть, и сам не верит, но верит в разнесшуюся его знаменитость; ибо ему — что весьма естественно — хочется разыграть со всем блеском ту роль, которую он не очень смыслит. Но бог с ним! я рад всему, всему, что ни случается со мною в жизни, и как погляжу я только, к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами, то растроганная душа моя не находит слов благодарить невидимую руку, ведущую меня.

Другое обстоятельство, которое может дать надежду на возврат мой,— мои занятия. Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое переработываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете. Болезнь моя много отняла у меня времени; но теперь, слава богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора, которого за это благослови бог и который думает, что мне холодное лечение должно помочь. Воздух теперь чудный в Риме, светлый. Но лето, лето— это я уже испытал — мне непременно нужно провести

в дороге. Я повредил себе много, что зажился в душной Вене. Но что же было делать? признаюсь — у меня не было средств тогда предпринять путешествие; у меня слишком было все рассчитано. О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня... Но обратимся к началу. В моем приезде к вам, которого значения я даже не понимал вначале, заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу. И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву, вы знаете! Что я разумею, вам за этим незачем далеко ходить, чтобы узнать, какое это приобретение. Да, я не знаю, как и чем благодарить мне бога. Но уже когда я мыслю о вас и об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне,— я чувствую в этом что-то такое сладкое.

Но довольно; сокровенные чувства как-то становятся пошлыми, когда облекаются в слова. Я хотел было обождать этим письмом и послать вместе с ним перемененные страницы в «Ревизоре» и просить вас о напечатании его вторым изданием — и не успел. Никак не хочется заниматься тем, что нужно к спеху, а все бы хотелось заняться тем, что не к спеху. А между тем оно было бы очень нужно скорее. У меня почти дыбом волос, как вспомню, в какие я вошел долги. Я знаю, что вам подчас и весьма нужны деньги; но я надеюсь через неделю выслать вам переправки и приложения к «Ревизору», которые, может быть, заставят лучше покупать его. Хорошо бы, если бы он выручил прежде должные вам, а потом тысячу, взятую у Панова, которую я пообещал ему уплатить было в феврале.

Панов молодец во всех отношениях, и Италия ему много принесла пользы, какой бы он никогда не приобрел в Германии, в чем он совершенно убедился. Это не мешает довести, между прочим, до сведения коекого. А впрочем, если рассудить по правде, то я не знаю,

почему вообще молодым людям не развернуться в полноте сил и в русской земле. Но почему — может увлечь в длинные рассуждения. Покамест прощайте...

Обнимаю и целую вас несколько раз и все ваше семейство также.

53. С. Т. АКСАКОВУ

Марта 5 ⟨ст. ст. 1841⟩. Рим.

Мне грустно так долго не получать от вас вести, Сергей Тимофеевич. Но, может быть, я сам виноват: может быть, вы ожидали высылки мною обещанных изменений и приложений, следуемых ко второму изданию «Ревизора». Но я не мог найти нигде их. Теперь только случаем нашел их там, где не думал. Если б вы знали, как мне скучно теперь заниматься тем, что нужно на скорую руку,— как мне тягостно на миг оторваться от труда, наполняющего ныне всю мою душу! Но вот вам наконец эти приложения. Здесь письмо, писанное мною к Пушкину, по его собственному желанию. Он был тогда в деревне. Пьеса игралась без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам. Из этого письма я выключил то, что, собственно, могло быть интересно для меня и для него, и оставил только то, что может быть интересно для будущей постановки «Ревизора», если она когда-нибудь состоится. Мне кажется, что прилагаемый отрывок будет нелишним для умного актера, которому случится исполнять роль Хлестакова. Это письмо под таким названием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пьесы, а за ним непосредственно следуют две прилагаемые выключенные из пьесы сцены. Небольшую характеристику ролей, которая находится в начале книги первого издания, нужно исключить. Она вовсе не нужна. У Погодина возьмите приложенное в его письме изменение четвертого акта, которое совершенно необходимо. Хорошо бы издать «Ревизора» в миниатюрном формате, а впрочем, как найдете лучшим.

Теперь я должен с вами поговорить о деле важном. Но об этом сообщит вам Погодин. Вы вместе с ним сделаете совещание, как устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бога: подобное внушенье не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу мне не нужно. Теперь мне нужны необходимо дорога и путешествие: они одни, как я уже говорил, восстановляют меня. У меня все средства истощились уже несколько месяцев. Для меня нужно сделать заем. Погодин вам скажет. В начале же 42 года выплатится мною все, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты.

Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Все было дивно и мудро расположено высшею волею: и мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим,— все было благо. Никому не говорите ничего ни о том, что буду к вам, ни о том, что я тружусь,— словом, ничего. Но я чувствую какую-то робость возвращаться одному. Мне тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович и Константин Сергеевич: им же нужно — Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергеевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться. А милее душе моей этих двух, которые могли бы за мною приехать, не могло бы для меня найтиться никого. Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы

домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь. Жду вашего ответа; чем скорее, тем лучше. Если бы вы знали, как я теперь жажду обнять вас! До свиданья! Как прекрасно это слово!

Перецелуйте моим поцелуем всех ваших: Ольгу Семеновну, Веру Сергеевну, Ольгу Сергеевну — всех! всех! Письма мне адресуйте на имя банкира Валентини; это будет вернее, чем poste restante. Адрес его: Piazza Apostoli, Palazzo Valentini [1].

51. П. А. ПЛЕТНЕВУ

Генваря 7 ⟨1842. Москва⟩.

Расстроенный и телом и духом, пишу к вам. Сильно хотел бы ехать теперь в Петербург, мне это нужно, это я знаю, и при всем том не могу. Никогда так не в пору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы... но бог с ними, не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить. Удар для меня никак не ожиданный: запрещают всю рукопись. Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев через два дни объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной, и в отношении к цели и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что, кроме одного незначительного места — перемены двух-трех имен (на которые я тот же час согласился и изменил),— нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же

---

[1] Апостольская площадь, дом Валентини (*итал.*).

самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в комитет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо обвинения все без исключения были комедия в высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина: «Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертья». В силу, наконец, мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские души, произошла еще бóльшая кутерьма. «Нет! — закричал председатель и за ним половина цензоров.— Этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа — уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Наконец сам Снегирев, увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям, что здесь совершенно о другом речь, что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупщика и на всеобщей ералаше, которую произвела такая странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.

«Предприятие Чичикова,— стали кричать все,— есть уже уголовное преступление».— «Да, впрочем, и автор не оправдывает его»,— заметил мой цензор. «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслуживших и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите,

а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого, хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но все же это имя душа, душа человеческая, она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет». Это главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как-то: в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» — сказал цензор (Каченовский). Тут по поводу завязался у цензоров разговор единственный в мире. Потом произошли другие замечания, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места. Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня вдобавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком серьезно. Из-за их комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и все мое существованье заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод, другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня не много, а теперь просто у меня отымаются руки. Но что я пишу вам, уже не помню, я думаю, вы не разберете вовсе моей руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю. Я об этом пишу к Александре Осиповне Смирновой. Я просил ее через великих княжон или другими путями, это ваше дело, об этом вы сделаете

совещание вместе. Попросите Александру Осиповну, чтобы она прочла вам мое письмо. Рукопись моя у князя Одоевского. Вы прочитайте ее вместе, человека три-четыре, не больше. Не нужно об этом деле производить огласки. Только те, которые меня очень любят, должны знать. Я твердо полагаюсь на вашу дружбу и на вашу душу, и нечего между нами тратить больше слов! Обнимаю сильно вас, и да благословит вас бог! Если рукопись будет разрешена и нужно будет только для проформы дать цензору, то, я думаю, лучше дать Очкину для подписанья, а впрочем, как найдете вы. Не в силах больше писать.

Весь ваш Гоголь.

55. П. А. ПЛЕТНЕВУ

17 марта ⟨1842⟩. Москва.

Вот уже вновь прошло три недели после письма вашего, в котором вы известили меня о совершенном окончании дела, а рукописи нет как нет. Уже постоянно каждые две недели я посылаю каждый день осведомиться на почту, в университет и во все места, куда бы только она могла быть адресована,— и нигде никаких слухов! Боже, как истомили, как измучили меня все эти ожиданья и тревоги! А время уходит, и чем далее, тем менее вижу возможности успеть с ее печатаньем. Уведомьте меня, ради бога, что случилось, чтобы я хотя по крайней мере знал, что она не пропала на почте, и чтобы знал, что мне предпринять.

Я силился написать для «Современника» статью, во многих отношениях современную, мучил себя, терзал всякий день и не мог ничего написать, кроме трех беспутных страниц, которые тот же час истребил. Но как бы то ни было, вы не скажете, что я не сдержал своего слова. Посылаю вам повесть мою «Портрет». Она была напечатана в «Арабесках»; но вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее, вы увидите, что осталась одна только канва прежней повести, что все вышито по ней вновь. В Риме я ее переделал вовсе, или, лучше, написал вновь, вследствие сделанных еще в Петербурге заме-

чаний. Вы, может быть, даже увидите, что она более, чем какая другая, соответствует скромному и чистому направленью вашего журнала. Да, ваш журнал не должен заниматься тем, чем занимается торопящийся, шумный современный свет. Его цель другая. Это благоуханье цветов, растущих уединенно на могиле Пушкина. Рыночная толпа не должна знать к ней дороги, с нее довольно славного имени поэта. Но только одни сердечные друзья должны сюда сходиться с тем, чтобы безмолвно пожать друг другу руку и предаться хоть раз в год тихому размышлению. Вы говорите, что я бы мог достославно подвизаться на журнальном поприще, но что у меня для этого нет терпенья. Нет, у меня нет для этого способностей. Отвлеченный писатель и журналист так же не могут соединиться в одном человеке, как не могут соединиться теоретик и практик. Притом каждый писатель уже означен своеобразным выражением таланта, и потому никак нельзя для них вывести общего правила. Одному дан ум быстрый схватывать мгновенно все предметы мира в минуту их представления. Другой может сказать свое слово, только глубоко обдумавши, иначе его слово будет глупее всякого обыкновенного слова, произнесенного самым обыкновенным человеком. Ничем другим не в силах я заняться теперь, кроме одного постоянного труда моего. Он важен и велик, и вы не судите о нем по той части, которая готовится теперь предстать на свет (если только будет конец ее непостижимому странствию по цензурам). Это больше ничего как только крыльцо к тому дворцу, который во мне строится. Труд мой занял меня совершенно всего, и оторваться от него на минуту есть уже мое несчастие. Здесь, во время пребыванья моего в Москве, я думал заняться отдельно от этого труда, написать одну, две статьи, потому что заняться чем-нибудь важным я здесь не могу. Но вышло напротив: я даже не в силах собрать себя.

Притом уже в самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне

вся, во всей своей громаде. А здесь я погиб и смешался в ряду с другими. Открытого горизонта нет предо мною. Притом здесь, кроме могущих смутить меня внешних причин, я чувствую физическое препятствие писать. Голова моя страждет всячески: если в комнате холодно, мои мозговые нервы ноют и стынут, и вы не можете себе представить, какую муку чувствую я всякий раз, когда стараюсь в то время пересилить себя, взять власть над собою и заставить голову работать. Если же комната натоплена, тогда этот искусственный жар меня душит совершенно, малейшее напряжение производит в голове такое странное сгущение всего, как будто бы она хотела треснуть. В Риме я писал пред открытым окном, обвеваемый благотворным и чудотворным для меня воздухом. Но вы сами в душе вашей можете чувствовать, как сильно могу я иногда страдать в то время, когда другому никому не видны мои страданья. Давно остывши и угаснув для всех волнений и страстей мира, я живу своим внутренним миром, и тревога в этом мире может нанести мне несчастие, выше всех мирских несчастий. Участье ваше мне дорого: не оставьте письма моего без ответа, напишите сейчас вашу строчку. Повесть не разделяйте на два нумера, но поместите ее всю в одной книжке и отпечатайте для меня десяток экземпляров. Скажите, как вы нашли ее (мне нужно говорить откровенно)? Если встретите погрешности в слоге, исправьте. Я не в силах был прочесть ее теперь внимательно. Голова моя глупа, душа неспокойна. Боже, думал ли я вынести столько томлений в этот приезд мой в Россию! Посылаю вам отдельные брошюры статьи, напечатанной в «Москвитянине», разошлите по адресам. А две неподписанные я определил: одну для наследника. Он был в Риме. Она ему напомнит лучшее время его путешествия, когда он так весело предавался общей веселости в карнавале и был участником во многом хорошем. А другой экземпляр для великой княгини Марьи Николаевны. Велите переплести их в хорошенькую папку. Последней я почитаю ныне священным долгом представить ее. Два другие экземпляра дайте, кому найдете приличным,— а не то Прокоповичу.

56. А. В. НИКИТЕНКО

⟨10 апреля 1842. Москва.⟩

Милостивый государь Александр Васильевич!

Благодарю вас за ваше письмо. В нем видно много участия, много искренности и много того, что прекрасно и благородно волнует человека. Да, я не могу пожаловаться на цензуру: она была снисходительна ко мне, и я умею быть признательным. Но, признаюсь, уничтоженье Копейкина меня много смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем залатать ту прореху, которая видна в моей поэме. Вы сами, одаренные эстетическим вкусом, который так отразился в письме вашем, вы сами можете видеть, что кусок этот необходим, не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим, и кто в душе художник, тот поймет, что без него остается сильная прореха. Мне пришло на мысль: может быть, цензура устрашилась генералитета. Я переделал Копейкина, я выбросил все, даже министра, даже слово: «превосходительство». В Петербурге за отсутствием всех остается только одна временная комиссия. Характер Копейкина я вызначил сильнее, так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков, а не недостаток сострaданья в других. Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо. Словом, все теперь в таком виде, что никакая строгая цензура, по моему мнению, не может найти предосудительного в каком бы ни было отношении. Молю вас возвратить мне это место, и скорее сколько возможно, чтобы не задержать печатанья. У Плетнева вы возьмите рукопись и передайте ее потом ему же для пересылки ко мне. Ничего вам не скажу более, ибо вы сами в письме вашем сказали, что понимаете меня, стало быть, поймете и благодарность мою.

Истинно преданный вам Н. Гоголь.

Апреля 10. 1842. Москва.

57. П. А. ПЛЕТНЕВУ

Москва. 10 апреля ‹1842›.

Уничтожение Копейкина меня сильно смутило! Это одно из лучших мест в поэме, и без него — прореха, которой я ничем не в силах заплатать и зашить. Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе. Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означил сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною сам и что с ним поступили хорошо. Присоедините ваш голос и подвиньте кого следует. Вы говорите, что от покровительства высших нужно быть подальше, потому что они всякую копейку делают алтыном. Клянусь, я готов теперь рублем почитать всякую копейку, которая дается на мою бедную рукопись. Но я думаю даже, что один Никитенко может теперь ее пропустить. Прочитайте, вы увидите сами. Третьего дня я получил от него письмо, из которого видно, что он подвигнут ко мне участьем. Передайте ему при сем прилагаемый ответ и листы Копейкина и упросите без малейшей задержки передать вам для немедленной пересылки ко мне, ибо печатанье рукописи уже началось.

Весь ваш Гоголь.

58. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ

Москва. Мая 11 ‹1842›.

Ты удивляешься, я думаю, что до сих пор не выходят «Мертвые души». Все дело задержал Никитенко. Какой несносный человек! Более полутора месяца он держит у себя листки Копейкина и хоть бы уведомил меня одним словом, а между тем все листы набраны уже неделю тому назад, и типография стоит, а время это мне слишком дорого. Но бог с ними со всеми! Вся эта история есть пробный камень, на котором я должен испытать, в каком отношении ко мне находятся многие люди. Я пожду еще два дни и, если не получу от Никитенка, обращусь вновь в здешнюю цензуру, тем более что она

чувствует теперь раскаяние, таким образом поступивши со мною. Не пишу к тебе ни о чем, потому что чрез недели две буду, может быть, сам у тебя, и мы поговорим обо всем и о деле, от которого, как сам увидишь, много будет зависеть твое положенье и твоя деятельность. Я получил письмо от *Белинского*. Поблагодари его. Я не пишу к нему, потому что, как он сам знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний проезд мой чрез Петербург. Прощай. Будь здоров, тверд и крепок духом и надейся на будущее, которое будет у тебя хорошо, если только ты веришь мне, дружбе и мудрости, которая недаром дается человеку.

Твой Гоголь.

59. В. А. ЖУКОВСКОМУ

Июня 26 ⟨н. ст. 1842⟩. Берлин.

В силу выбрался я из России и опоздал. Пишу к вам на дороге в Гастейн, куда велят мне ехать купаться. Еще вчера я думал было ехать к вам прежде в Дюссельдорф, но, взглянувши на дорожную карту, с ужасом заметил, что кругу приходится более нежели вдвое. Но ни болезнь, ни усталость, ниже́ самое положение кошелька моего не отвлекли бы меня от такого предприятия, если бы не мысли, пришедшие мне вслед за тем в голову и поколебавшие меня: ведь мне неизвестны, подумал я, ваши распоряжения. Ну что, если я приеду в Дюссельдорф, усталый, измученный, и не найду вас там и должен вместо вас опять насладиться надоевшими до смерти видами Рейна, городом Франкфуртом и прочим добром? В Петербурге же мне сказывали, что вы для здоровья жены вашей собирались куда-то на воды. И притом мне не хотелось кое-как, впопыхах и наскоро, видеться с вами. Мне не хотелось, чтобы свиданье наше было похоже на свиданье прошлого году, когда у вас много было забот и развлечений и вместе с тем сосредоточенной в себя самого жизни и было вовсе не до меня, и когда мне, тоже подавленному многими ощущеньями,

было не под силу лететь с светлой душой к вам навстречу. Душе моей тогда были сильно нужны пустыня и одиночество. Я помню, как, желая передать вам сколько-нибудь блаженство души моей, я не находил слов в разговоре с вами, издавал одни только бессвязные звуки, похожие на бред безумия, и, может быть, до сих пор осталось в душе вашей недоумение, за кого принять меня и что за странность произошла внутри меня. Но и теперь я ничего вам не скажу, и о чем говорить? Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлей и торжественней в душе моей, что не без цели и значенья были мои поездки, удаленья и отлученья от мира, что совершалось незримо в них воспитанье души моей, что я стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей моих, что чаще и торжественней льются душевные мои слезы и что живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях. Много труда и пути и душевного воспитанья впереди еще! Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя, и тогда только я приду в силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрешится загадка моего существованья.

Вот все, что могу сказать вам! и вместе с тем силою стремлений моих, силою слез, силою душевной жажды быть достойну того благословляю вас. Благословенье это не бессильно, и потому с верой примите его. О житейских мелочах моих не говорю вам ничего, их почти нет; да, впрочем, слава богу, их даже и не чувствуешь, и не слышишь. Посылаю вам «Мертвые души». Это первая часть. Вы получите ее в одно время с письмом по почте, по уверению здешнего почтового начальства, в три дни. Я переделал ее много с того времени, как читал вам первые главы, но все, однако же, не могу не видеть ее малозначительности в сравнении с другими, имеющими последовать ей, частями. Она в отношении к ним все мне кажется похожею на приделанное губернским архитектором наскоро крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах, а, без сомнения, в ней наберется немало таких погрешностей, которых я

пока еще не вижу. Ради бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и неумолимы как можно больше. Вы знаете сами, как мне это нужно. Не соблазняйтесь даже счастливым выраженьем, хотя бы оно показалось на первый вид достаточным выкупить погрешность. Не читайте без карандаша и бумажки, и тут же на маленьких бумажных лоскутках пишите свои замечанья. Потом, по прочтении каждой главы, напишите два-три замечанья вообще обо всей главе. Потом о взаимном отношении всех глав между собою и потом, по прочтении всей книги, вообще обо всей книге, и все эти замечания, и общие и частные, соберите вместе, запечатайте в пакет и отправьте мне. Лучшего подарка мне нельзя теперь сделать ни в каком отношении. Напишите мне, когда придется вам особенная и сильная потребность меня видеть. Я приеду, несмотря ни на издержки, ни на хворость, ни на скуку немецкого пути. Дайте мне отчет и адрес, когда и где, в каких местах вы будете в продолжение этого года, чтобы я знал наперед, откуда будет мне удобнее, ближе и лучше к вам проехать. Но лучше всего, если бы вы провели эту зиму в Риме. Это было бы особенно благодетельно для здоровья вашей супруги, не говоря уже о том, что теперешняя жизнь ваша была бы куды полнее тогдашнего мгновенного вашего пребыванья в Риме. Туда переселим мы и Языкова, которому римский воздух будет во всех отношеньях благотворен. А пока посылаю вам вместе с «Мертвыми душами» статью мою «Рим», помещенную в «Москвитянине», которую я для вас отпечатал отдельною брошюрою.

Прощайте! молюсь душою о всем, что мило и дорого вашему сердцу. Будьте светлы, ибо светло грядущее; и чем темней помрачается на мгновенье небосклон наш, тем радостней должен быть взор наш, ибо потемневший небосклон есть вестник светлого и торжественного прояСненья. Безгранична, бесконечна, беспредельней самой вечности беспредельная любовь бога к человеку. Прощайте! Покамест напишите мне только два слова, что письмо это и книги получены вами исправно. Адресуйте в Гастейн близ Зальцбурга.

Ваш Гоголь.

60. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ

Гастейн. Июль 27/15 ⟨1842⟩.

Я к тебе еще не посылаю остальных двух лоскутков, потому что многое нужно переправить, особливо в «Театральном разъезде после представления новой пьесы». Она написана сгоряча, скоро после представления «Ревизора», и потому немножко нескромна в отношении к автору. Ее нужно сделать несколько идеальней, то есть чтобы ее применить можно было ко всякой пьесе, задирающей общественные злоупотребления, а потому я прошу тебя не намекать и не выдавать ее, как написанную по случаю «Ревизора».

При корректуре второго тома прошу тебя действовать как можно самоуправней и полновластней: в «Тарасе Бульбе» много есть погрешностей писца. Он часто любит букву *и*; где она не у места, там ее выбрось; в двух-трех местах я заметил плохую грамматику и почти отсутствие смысла. Пожалуйста, поправь везде с такою же свободою, как ты переправляешь тетради своих учеников. Если где частое повторение одного и того же оборота периодов, дай им другой, и никак не сомневайся и не задумывайся, будет ли хорошо,— все будет хорошо. Да вот что самое главное: в нынешнем списке слово: «слышу», произнесенное Тарасом пред казнью Остапа, заменено словом «чую». Нужно оставить по-прежнему, то есть: «Батько, где ты? Слышишь ли ты это?» — «Слышу». Я упустил из виду, что к этому слову уже привыкли читатели и потому будут недовольны переменою, хотя бы она была и лучше. Да, пожалуйста, попроси Белинского отпечатать для меня особенно листки критики «Мертвых душ», если она будет в «Отечественных записках», на бумаге, если можно, потонее, чтобы можно было прислать мне ее прямо в письме, и присылай мне по листам, по мере того как будет выходить. Еще: я совсем позабыл, что «Ревизор» без конца. Писец не разобрал примечания об немой сцене и оставил чистое место. Вот конец [1].

---

[1] Следует заключительная сцена из «Ревизора».

Все эти слова, само собою разумеется, надобно напечатать курсивом.

Еще к статье «Характеры и костюмы», которая предшествует комедии, нужно прибавить на конце следующее [1].

Прощай. Целую тебя и обнимаю несколько раз. Пиши хоть по нескольку строк, но пиши. Адресуй первое письмо в Венецию, poste restante, следующее — в Рим. В Венеции я пробуду до 1-х чисел сентября.

Твой Гоголь.

61. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ

Гастейн. $\frac{\textit{10 сентября}}{\textit{29 августа}}$ ⟨*1842*⟩.

Не получая от тебя никакого до сих пор письма, я полагаю, что дела наши идут безостановочно и в надлежащем порядке. Я немного замедлил высылкою остальных статей. Но нельзя было никак: столько нужно было сделать разных поправок! Посылаемую ныне, «Игроки», в силу собрал. Черновые листы так были уже давно и неразборчиво написаны, что дали мне работу страшную разбирать. Но более всего хлопот было мне с остальной пьесою «Театральный разъезд». В ней столько нужно было переделывать, что, клянусь, легче бы мне написать две новых. Но она заключительная статья всего собрания сочинений и потому очень важна и требовала тщательной отделки. Я очень рад, что не трогал ее в Петербурге и не спешил с нею. Она была бы очень далека от значенья нынешнего, а это было бы совсем нехорошо. Переписка ее еще не кончена. Не сердись. Ты не понимаешь, как трудно переписывать и стараться быть четким в таком мелком шрифте. Порядок статей последнего тома ты, я думаю, знаешь: «Ревизор», потом «Женитьба» и под нею написать в скобках: (писана в 1833 году), потом на одном

---

[1] Следует заключительный абзац «Замечаний для господ актеров».

белом листе: «Драматические отрывки и отдельные сцены с 1832 по 1837 год», а на другом, вслед за ним: «Игроки» с эпиграфом, потом всякая пьеса с своим заглавным листом: «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская», «Сцены из светской жизни», «Театральный разъезд после представления новой комедии». Получил ли хвост «Ревизора», посланный мною три недели назад? Уведомь обо всем. Все лучше знать, чем не знать. И будь еще так добр: верно, ходят какие-нибудь толки о «Мертвых душах». Ради дружбы нашей, доведи их до моего сведения, каковы бы они ни были и от кого бы ни были. Мне все они равно нужны. Ты не можешь себе представить, как они мне нужны. Не дурно также означить, из чьих уст вышли они. Самому тебе, понятно, не удастся много услышать, но ты можешь поручить кое-кому из тех, которые более обращаются с людьми и бывают в каком бы ни было свете.

Прощай. Обнимаю тебя и целую сильно! Адресуй прямо в Рим (poste restante). Через две недели я уже буду в Риме. Будь здоров, и да присутствует в твоем духе вечная светлость, а в случае недостатка ее обратись мыслию ко мне, и ты просветлеешь непременно, ибо души сообщаются, и вера, живущая в одной, переходит невидимо в другую. Прощай.

Твой Гоголь.

62. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ

Рим. Ноябрь 26/14 ⟨1842⟩.

Вчера получил твое письмо. Благодарю тебя за него и за все старанья и хлопоты. Ты, я думаю, уже давно получил «Разъезд». Он более месяца как послан к тебе. Насчет намерения твоего назвать «Светскую сцену» просто «Отрывком» я совершенно согласен, тем более что прежнее название было выставлено так только, в ожидании другого. Насчет разных корсарств в мои владения, о которых, признаюсь, мне неприятнее всего было слышать, я пишу письмо к Плетневу, чтобы он переговорил лично с Гедеоновым обо всем этом. А

между тем объяви всем и распространи слух, что я слишком задет наглостью переделывателя и намерен искать законным порядком на него управы, что уже, дескать, сочиняю закатистую просьбу к какому-то важному лицу. Это несколько устрашит заблаговременно охотников. Все драматические сцены, составляющие четвертую часть, принадлежат Щепкину. Это нужно разгласить и распространить тоже, чтобы меня не беспокоили и не тревожили другие актеры какими-нибудь письмами и просьбами. На всякую просьбу Щепкина снисходи и постарайся, чтоб сделано было все, что он просит. Половина драматических отрывков должна остаться ему для будущего бенефиса в будущем году, потому что для театра, вероятно, я ничего не произведу никогда. Не дурно распространить и сделать предметом разговора, что ни в одном образованном государстве не может никакой антрепренер перетащить на сцену сочинения, не испрося согласия автора, и что если автор найдет три строки, взятые целиком из его произведения и не приведенные в смысле цитаты, то имеет право производить судовым порядком иск о похищении и воровстве, и вор ничем не разнится в наказании от уличного вора. Этому постановлению нужно дать гласность, и чтобы о нем все говорили. В моем деле больше значит общий голос и крик, чем частные хлопоты. Ты это сам поймешь.

В «Женитьбе», я вспомнил, вкралась важная ошибка, сделанная отчасти писцом: Кочкарев говорит, что ему плевали несколько раз, тогда как он это говорит о другом. Эта безделица может дать ему совершенно другой характер. Монолог этот должен начинаться вот как:

«Да что же за беда! Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу! Я знаю тоже одного: прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку; до тех пор егозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес: плюнул в самое лицо, ей-богу. «Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана!»— и проч. и проч.

Если уже набрана и напечатана эта страница, вели перепечатать. На заглавном листке к «Женитьбе» выставлен не весь титул. Должно вот как:

ЖЕНИТЬБА.

Совершенно невероятное событие,
в двух действиях.

И потому прибавь это. Также в «Игроках» пропущено одно выражение, довольно значительное, именно когда Утешительный мечет банк и говорит: «На, немец, возьми, съешь свою семерку». После этих слов следует прибавить: «*Руте, решительно руте! просто картафоска!*»

Эту фразу включи непременно. Она настоящая армейская и в своем роде не без достоинства. Благодарю тебя за передачу кое-каких мнений и суждений о «Мертвых душах». Продолжай и впредь. Это будет мне всегда лакомым подарком. Целую тебя от всей души и жду непременно письма.

Твой Гоголь.

63. М. С. ЩЕПКИНУ

Рим. Ноября 28 ⟨н. ст. 1842⟩.

Здравствуйте, Михаил Семенович!

После надлежащего лобзанья поведем вот какую речь. Вы уже имеете «Женитьбу». Не довольно ли этого на один спектакль? Я говорю это в рассуждении того, что мне хочется, чтобы вам что-нибудь осталось на будущие разы, а впрочем, вы распоряжайтесь, как вам лучше. Вы тут полный господин. Все драматические отрывки и сцены, заключающиеся в четвертом томе моих сочинений (их числом пять), все исключительно принадлежат вам. Об этом я уже написал к издателю моих сочинений, Прокоповичу, и просил Плетнева объявить Гедеонову, а вам прилагаю нарочно при сем письмецо, которое бы вы могли показать всякому, кто вздумает оспаривать ваше право. Только последняя пьеса «Театральный разъезд» остается неприкосновенною, потому что ей неприлично предстать на сцене. Сосницкому вы напишите, что, вследствие моего прежнего же-

ланья, «Женитьба» идет вам обоим, но с тем только, чтобы в один день был бенефис обоих вас. А между тем займитесь серьезно постановкою «Ревизора». Живокини за похвальное поведение можно будет уступить который-нибудь из драматических кусочков. Впрочем, об этом всем вы потолкуйте прежде с Сергеем Тимофеевичем и поступите, как найдете приличным. Для успешного произведенья немой сцены в конце «Ревизора» один из актеров должен скомандовать, невидимо для зрителя. Это должен сделать жандарм, произнеся по окончании речи тот самый звук, который издается женщинами, натурально, не открывая рта, попросту икнуть. Это будет сигнал для всех. «Женитьбу», я думаю, вы уже знаете, как повести́, потому что, слава богу, человек вы не холостой. А Живокини, который будет женить вас, вы можете внушить все что следует, тем более что вы слышали меня, читавшего эту роль. Да вот: исправьте одну ошибку в словах Кочкарева, где говорит он о плевании. Значится так, как будто бы ему плевали в лицо. Это ошибка, происшедшая от нерасторопности писца, перепутавшего строки и пропустившего. Монолог должен начаться вот как:

«Да что ж за беда? Ведь иным несколько раз плевали, ей-богу. Я знаю тоже одного: прекраснейший собою мужчина, румянец во всю щеку. Егозил он и надоедал до тех пор своему начальнику, покамест тот не вынес и плюнул ему в самое лицо» и т. д.

Напишите Сосницкому, что я очень просил его, чтобы он приискал хорошего жениха, потому что эта роль хотя не так, по-видимому, значительна, как Кочкарева, но требует таланта, и скажите ему, что мне бы очень желалось, чтобы вы сыграли вместе в этой пьесе: он Кочкарева, а вы Подколесина; тогда будет славный спектакль. Вы же, я полагаю, верно, будете зимою в Петербурге.

Прощайте, обнимаю вас. Сейчас вслед за этим письмом отправляю письмо к Сергею Тимофеевичу. Вероятно, вы их получите в одно время.

Мне кажется, что я вам советовал вместе с «Женитьбою» дать «Утро делового человека». А впрочем, распоряжайтесь по-своему.

64. С. П. ШЕВЫРЕВУ

Февраля 28 ⟨н. ст. 1843.⟩ Рим.

...Ты говоришь, что пора печатать второе издание «Мертвых душ», но что оно должно выйти необходимо вместе со вторым томом. Но если так, тогда нужно слишком долго ждать. Еще раз я должен повторить, что сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил,— один ты заметил долговременную и тщательную обработку моих частей... Итак, если над первой частью просидел я столько времени,— не думай, чтоб я был когда-либо предан праздному бездействию; в продолжение этого времени я работал головой даже и тогда, когда думали, что я вовсе ничего не делаю и живу только для удовольствия своего... Итак, если над первой частью просидел я так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй. Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее, благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пьес, тогда как я производил их, основываясь на разумении самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа. После сих и других подвигов, предпринятых во глубине души, я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде; но нужно знать и то, что горизонт мой стал чрез то необходимо шире и пространнее, что мне теперь нужно обхватить более того, что верно бы не вошло прежде. Итак, если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года — это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь

и многие житейские дела, которые иногда в силе будут расстроить меня, хотя употребляю все силы держать себя от них подале и меньше сколько можно о них думать и заботиться. Понуждение к скорейшему появлению второго тома, может быть, ты сделал вследствие когда-то помещенного в «Москвитянине» объявления, и потому вот тебе настоящая истина: никогда и никому я не говорил, сколько и что именно у меня готово, и когда, к величайшему изумлению моему, напечатано было в «Москвитянине» извещение, что два тома уже написаны, третий пишется и все сочинение выйдет в продолжение года, тогда не была даже кончена первая часть. Вот как трудно созидаются те вещи, которые на вид иным кажутся вовсе не трудны. Если ты под словом *необходимость* появления второго тома разумеешь необходимость истребить неприятное впечатление, ропот и негодование против меня, то верь мне: мне бы слишком хотелось самому, чтоб меня поняли в настоящем значении, а не в превратном. Но нельзя упреждать время, нужно, чтоб все излилось прежде само собою, и ненависть против меня (слишком тяжелая для того, кто бы захотел заплатить за нее, может быть, всею силою любви), ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть даже долгого. И хотя я чувствую, что появление второго тома было бы светло и слишком выгодно для меня, но в то же время, проникнувши глубже в ход всего текущего пред глазами, вижу, что всё, и самая ненависть, есть благо. И никогда нельзя придумать человеку умней того, что совершается свыше и чего иногда в слепоте своей мы не можем видеть и чего, лучше сказать, мы и не стремимся проникнуть. Верь мне, что я не так беспечен и неразумен в моих главных делах, как неразумен и беспечен в житейских. Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга; иногда по тем же самым причинам, почему бывает ясно мне движение души человека, становится мне ясно и движение массы. Разве ты не видишь, что еще и до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и тени сатиры и личности, что можно заметить вполне

только после нескольких чтений; а книгу мою большею частию прочли только по одному разу все те, которые восстают против меня. Еще, смотри, как гордо и с каким презрением смотрят все на героев моих; книга писана долго; нужно, чтоб дали труд всмотреться в нее долго. Нужно, чтобы устоялось мнение. Против первого впечатления я не могу действовать. Против первого впечатления должна действовать критика, и только тогда, когда с помощью ее впечатления получат образ, выйдут сколько-нибудь из первого хаоса и станут определительны и ясны,— тогда только я могу действовать против них. Верь, что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но вследствие устройства головы моей я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения. Не осуждай меня. Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, пред которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может только почувствоваться глубиною души в минуты слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов!..

65. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ

Мюнхен. Мая 28 ⟨н.ст. 1843⟩.

Твое письмо меня еще более удивило, чем, вероятно, удивило мое тебя. Откуда и кто распускает всякие слухи обо мне? Говорил ли я когда-нибудь тебе, что буду сим летом в Петербург? или что буду печатать второй том в этом году? и что значат твои слова: «Не хочу тебя обижать подозрением до такой степени, что будто ты не приготовил второго тома «Мертвых душ» к печати?» Точно «Мертвые души» блин, который можно вдруг испечь. Загляни в жизнеописание сколько-нибудь зна-

менитого автора или даже хоть замечательного. Что ему стоила большая обдуманная вещь, которой он отдал всего себя, и сколько времени заняла? Всю жизнь, ни больше ни меньше. Где ж ты видел, чтобы произведший эпопею произвел сверх того пять-шесть других. Стыдно тебе быть таким ребенком и не знать этого! От меня менее всего можно требовать скорости тому, кто сколько-нибудь меня знает. Во-первых, уже потому, что я терпеливее, склонен к строгому обдумыванью и притом еще во многом терплю всякие помешательства от всяких болезненных припадков. «Мертвых душ» не только не приготовлен второй том к печати, но даже и не написан. И раньше двух лет (если только мои силы будут постоянно свежи в это время) не может выйти в свет. А что публика желает и требует второго тома, это не резон. Публика может быть умна и справедлива, когда имеет уже в руках что надобно рассудить и над чем поумничать. А в желаниях публика всегда дура, потому что руководствуется только мгновенною минутною потребностью. Да и почему знает она, что такое будет во втором томе? Может быть то, о чем даже ей не следует и знать и читать в теперешнюю минуту, и ни я, ни она не готовы для второго тома. Тебе тоже следует подумать и то, что мои сочинения не должны играть роли журнальных статей и что ими не нужно торопиться всякую минуту, как только замечаешь, что у публики есть аппетит. Они писаны долго, в обдумывании многих из них прошли годы, а потому не угодно ли читателям моим тоже подумать о них на досуге и всмотреться пристальней. Умный резон: потому что в продолжение одного года я выдал вдруг слишком много, так подавай еще столько же. Чем же я виноват, что у публики глупа голова и что в глазах ее я то же самое, что Поль де Кок: Поль де Кок пишет по роману в год, так почему же и мне тоже не написать, ведь это тоже, мол, роман, а только для шутки названо поэмою. Твои причины о пользе выхода второго тома для прежних и для расхода успешнейшего вообще моих сочинений справедливы совершенно, и все это мне весьма знакомо. Но нужно предположить иногда и то, что я могу кое-что знать еще с моей стороны и что чело-

век, который отошел от дел и стал в стороне, то же, что на якоре, и далее может оглянуть море, чем те, которые носятся среди его и заняты беспрестанной работой с кружащимися вокруг их всякими волнами. По моим соображениям, сочинения мои должны были туго идти, и об этом я писал в Москву еще за месяц до выхода их в свет на их предположение о большем их успехе. Вследствие этих же моих соображений я знаю тоже хорошо, что эти же сочинения мои пойдут быстрее и быстрота их расхода будет увеличиваться по мере как будет исчерпываться издание, хотя это совершенно в противность законам книжной торговли. Ты подумай, между прочим, и то, что еще не заговорили журналы о них серьезно. Еще не успела о них явиться ни одна дельная статья. А вот на досуге, когда им нечего будет делать, они примутся за меня, и тогда только слух о них обойдет всю Россию.

Представь себе еще то, что половина России уверена, что это больше ничего, как только собрание всех сочинений моих, уже напечатанных, и нового между ними нет или очень мало. О моих соображениях я уже не говорю. Это потребовало бы места и времени, да и страх скучно. А ты, между прочим, выручаемыми деньгами прежде всего удовлетвори себя так, чтобы я тебе ни копейки не был должен, а деньги свои приберегай. В предприятие ни в какое не пускайся, но когда будет время, наблюдай лишь внимательно за ходом всего. Ты изумишься потом, сколько у нас есть путей для изворотливого ума обогатиться, принеся пользу и себе и другим. Но об этом после. А все-таки хорошо, что ты набрал опыту в книжном деле. Уведоми меня, сколько ты выслал экземпляров Шевыреву, и сколько их осталось у тебя, и все ли они налицо, и где хранятся. Шевыреву нужно будет высылать по всякому востребованию столько экземпляров, сколько потребуют мои дела в Москве, уплата долгов и всяких ⟨...⟩

Прощай. Будь здоров. Не забывай писать ко мне и адресуй в Дюссельдорф, poste restante. С нетерпением жду Моллера с тем, чтобы получить от него экземпляр, который ты обещал прислать мне с ним.

66. Н. М. ЯЗЫКОВУ

Франкфурт. 14 июля <н. ст. 1844>.

Письмо твое получил со вложением «Тригорского», за которое очень благодарю. Но только какой ты недогадливый! Сам уведомляешь меня, что написал несколько посланий в Москве, и хотя бы одно приложил напоказ, зная, что это для меня, во-первых, мед, а во-вторых, и просто нужно. Книг я до сих пор от тебя ни одной не получил, а между тем сгорал жаждой чтения. Писать не мог по причине совершенного запрещения по поводу приливов крови к голове, а читать и прочитать мог бы много в это время нужного и полезного. И как нарочно, к вящей досаде моей, беспрестанно приезжают из Москвы и прямо во Франкфурт. Приехал Новосильцев, московский вице-губернатор, знакомый всем нашим литераторам, и хотя бы один из них что-нибудь мне догадался прислать с ним. Приехали знакомые Авдотьи Петровны, Галаховы, привезли Жуковскому хоть письмо, а мне ничего. Приехал наконец Мельгунов. Я обрадовался, услыша о его приезде, думая, ну по крайней мере этот что-нибудь привез, но оказалось, что и этот приехал с пустыми руками. Словом, сделалось даже досадно. За дурным временем я должен был остаться во Франкфурте. Морских купаний нельзя было еще начинать, тем более что я как-то сделался склоннее к простуде, чем когда прежде. Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души»? И пишутся и не пишутся. Пишутся слишком медленно и совсем не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть и притом так самый предмет и дело связано с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед — идет и сочинение, я остановился — нейдет и сочинение. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращение к другим занятиям, непохожим на вседневные, и чтенье таких книг, над которыми воспитывается человек. Но... распространяться

боюсь, чтобы не нагородить какой-либо путаницы. Притом же я не уверен, дойдет ли до тебя это письмо. Ты теперь, вероятно, на даче, а потому дело самой пересылки становится сопряжено... Василий Андреевич тебе кланяется. Он, бедный, провел время жалким образом и не делал доселе ничего по причине двухмесячной возни с столярами и печниками, занявшими все его время на новоселье. Теперь он едва только вытаскивает из-под спуда свою «Одиссею». Адресуй по-прежнему во Франкфурт, но для лучшей доставки в самые руки прибавляй следующее приписание:

Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

Твой Гоголь.

67. А. О. СМИРНОВОЙ

24 декабря ⟨*н. ст. 1844. Франкфурт*⟩.

...Зачем вы не пишете мне ничего о происшествиях петербургского общества и даже ничего о наших знакомых и приятелях? Почему вы думаете, что это может смутить и огорчить меня и что вместо всякого веденья о том, что делается, будет полезней моя молитва обо всем, что ни делается? Но ведь нужно также знать и то, о чем следует молиться. Я не прошу от вас каких-нибудь сокровенных историй и секретов. Мне хочется только знать, какого рода вообще дух общества, и в каком состоянии его испорченность, и чем оно болеет, какого рода люди теперь наиболее его наполняют, какие классы преимуществуют и какие мнения торжествуют, какого рода разврат наиболее в ходу. Об этом всем вы можете мне таким образом сказать, что не только не обидится ничья личность, но даже слова ваши могут сейчас быть напечатаны в каком хотите нашем журнале. Вам, друг мой, я наиболее теперь советую не пренебрегать никак обществом. Вам бог ~~дал одно~~ редкое качество, которое до сих пор вы не употребили в дело: искусство разузнавать и выспрашивать. Богом ничего не дается даром. Узнавайте, расспрашивайте и разведы-



Гоголь в кругу русских художников в Риме

Дагерротип. 1845.

вайте все, но не предавайтесь ни негодованью, ни унынию, ни пристрастию (которого у вас много и которое все преувеличивает в ваших глазах). Словом, не гнушайтесь светом. Ведь вы же входите в больницу, и как ни гадки там болезни, как ни отвратительны раны и как ни болезненны вопли больных, но вас это не устрашает, потому что вы подвигнуты истинным и христианским состраданием. Входите же с таким самым чувством и в свет, и вы там тоже много со временем можете сделать добра. Но прежде всего терпенье! Вначале разузнавайте, и ничего более. Хотя бы вам показалось, что вы уже можете кое-что сделать, не делайте, пока не разузнаете еще больше и еще лучше. Никакой искусный и гениальный врач не возьмется лечить болезнь до тех пор, пока не узнает весь ход ее и все излучины сопровождавших ее обстоятельств. Почему знать, может быть, и я вам буду потом в возможности помочь. А пока уведомьте меня, что делают наши приятели и общие знакомые. Что делается у Карамзиных и какой сорт людей там бывает? Не пренебрегайте слишком нынешнею поверхностною пустотою людей, не спешите еще по некоторым признакам выводить общие заключения о душе человека, давайте мне покамест самые признаки.

Но и об этом довольно. Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве. На сочинениях же моих не основывайтесь и не выводите оттуда никаких

заключений о мне самом. Они все писаны давно, во времена глупой молодости, пользуются пока незаслуженными похвалами и даже не совсем заслуженными порицаньями, и в них виден покамест писатель, еще не утвердившийся ни на чем твердом. В них, точно, есть кое-где хвостики душевного состояния моего тогдашнего, но без моего собственного признания их никто и не заметит и не увидит...

68. А. О. СМИРНОВОЙ

25 июля ⟨*н. ст. 1845. Карлсбад*⟩.

...Вы коснулись «Мертвых душ» и просите меня не сердиться на правду, говоря, что исполнились сожалением к тому, над чем прежде смеялись. Друг мой, я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно «Мертвых душ». Но вы будете несправедливы, когда будете осуждать за них автора, принимая за карикатуру насмешку над губерниями, так же как были прежде несправедливы хваливши. Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного только автора. Многое, многое, даже из того, что, по-видимому, было обращено ко мне самому, было принято вовсе в другом смысле. Была у меня, точно, гордость, но не моим *настоящим*, не теми свойствами, которыми владел я; гордость *будущим* шевелилась в груди — тем, что представлялось мне впереди, счастливым открытием, которым угодно было вследствие божией милости озарить мою душу. Открытием, что можно быть далеко *лучше* того, чем есть человек, что есть средства и что для любви... Но некстати я заговорил о том, чего еще нет. Поверьте,

что я хорошо знаю, что я слишком дрянь. И всегда чувствовал более или менее, что в *настоящем* состоянии моем я дрянь и всё дрянь, что ни делается мною, кроме того, что богу угодно было внушить мне сделать, да и то было сделано мною далеко не так, как следует. Но рука моя устает...

69. М. ЯЗЫКОВУ

Мая 5 ⟨н. ст. 1846. Рим⟩.

Пишу к тебе на выезде из Рима. Письмо твое от 19 марта получил, но книг не получал; они канули бог весть где. Жаль, что не пишешь, с кем их послал. Это досадно. Как нарочно, в этом году так было легко получать книги: курьеры приезжали всякую неделю в Рим, всем что-нибудь привозили, одному мне ничего. Иванов свои книги получил.

Благодарю за выписку предисловия к немецкому переводу «Мертвых душ». Немец судит довольно здраво. Это лучший взгляд, какой может иметь на эти вещи иностранец. При всем том крайне неприятно, что «Мертвые души» переведены. Впрочем, что случилось, то случилось не без воли божией. Дай только бог силы отработать и выпустить второй том. Узнают они тогда, что у нас есть много того, о чем они никогда не догадывались и чего мы сами не хотим знать, если только будет угодно богу подать мне силы среди самых немощей и болезней честно и свято выполнить дело.

На днях я прочел с любопытством и удовольствием похвальное слово Карамзину, произнесенное Погодиным. Это лучшая его статья. В ней нет его опрометчивости и разных топорных замашек. Все довольно стройно. Места и выписки расставлены в порядке, так что характер выходит весь перед читателя. Карамзин представляет явление, точно, необыкновенное. Он показал первый, что звание писателя стоит того, чтобы для него пожертвовать всем, что в России писатель может быть вполне независим, и если он уже весь исполнился любви к благу, первенствующей во всем его организме и во всех

его поступках, то ему можно все сказать. Цензуры для него не существует, и нет вещи, о которой бы он не мог сказать. Какой урок и поученье нам всем! И как смешон после этого иной наш брат литератор, который кричит, что в России нельзя сказать правды или что правда глаза колет! Сам же не сумеет сказать правды, выразится как-нибудь аляповато, дерзко, так что уколет не столько правдой, сколько теми словами, которыми выразит свою правду, словами, знаменующими внутреннюю неопрятность невоспитавшейся своей души, и сам же потом дивится, что от него не принимают правды. Нет, имей такую стройную и прекрасную душу, какую имел Карамзин, такое чистое стремление и такую любовь к людям — и тогда смело произноси правду. Всё в государстве, от царя до последнего подданного, выслушает от тебя правду. Но довольно. Спешу укладываться.

Адресуй письма и посылай во Франкфурт, по-прежнему на имя Жуковского.

Прощай.

Твой Г.

Прилагаемое письмецо отправь немедленно к Сергею Тимофеевичу.

Письма мои к тебе, особенно последние, те, где какие-нибудь места, относящиеся к литературному делу, сбереги. Я не оставляю намерения издать выбранные места из писем, а потому, может быть, буду сообщать к тебе отныне почаще те мысли, которые нужно будет пустить в общий обиход. Но это, говорю по-прежнему, между нами.

До следующего письма!

70. А. М. ВИЕЛЬГОРСКОЙ

Генуя. Мая 14 ⟨н. ст. 1846⟩.

Пишу к вам с дороги, добрейшая и благодатная Анна Михайловна. Благодарю вас за ваши подарки. Во-первых, за письмо. Оно было мне очень приятно. Известия

о Петербурге и о духе нынешнего нашего общества хотя заняли в вашем письме только две строчки, но мне были нужны. Не пропускайте и впредь! Говорите даже о том, о чем почти нечего сказать, и описывайте мне даже пустоту, вас окружающую: мне все нужно. Мне нужно знать все, что у нас ни делается, как хорошего так и дурного, а без того я буду все еще глуп по-прежнему и никому не делаю пользы, а потому не позабывайте и поступайте со мною так, чтобы я много и много благодарил вас за всякое письмо. Во-вторых, благодарю вас за книги. «Воспитанница» весьма замечательна. Соллогуб идет вперед. Литературная личность его становится степенней и значительней; нельзя, чтобы не сделалась от этого и его собственная внутренняя личность степенней и значительней. В писателе все соединено с совершенствованием его таланта, и обратно: совершенствование таланта соединено с совершенствованием душевным.

«Бедные люди» я только начал, прочел страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и замашку речи нового писателя (напрасно вы оторвали одних «Бедных людей», а не прислали весь сборник, я бы его прочел, мне нужно читать все новые повести; в них хотя и вскользь, а все-таки проглядывает современная наша жизнь). В авторе «Бедных людей» виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато. Впрочем, я это говорю еще не прочитавши, а только перелистнувши. У меня так мало теперь читать из современного русского, что я читаю понемногу, в виде лакомства или когда очень придет трудно и дух в таком болезненно-черством состоянии, как мое болезненно тяжелеющее на мне тело. Что сказать вам о моем теперешнем болезненном состоянии? Молитесь обо мне богу — вот все, что могу сказать. Молитесь богу, чтобы послал мне среди недугов, как бы тяжки они ни были, сколько можно более светлых минут, нужных для того, чтобы наконец сказать все то, для чего я воспитывался внутри, для чего ниспосылались мне и самые тяжелые

минуты, и самые болезни, за которые я беспрерывно должен молить бога. Вот все, о чем мне нужно теперь молиться и о чем нужно, чтобы молились обо мне все близкие мне. Просить же совершенного выздоровления или каких-нибудь благ здешней жизни даже грех. Я это чувствую во глубине моей души.

Прощайте, не забывайте меня и пишите. Пишите обо всем. Адресуйте письма (и, если случатся, даже книжные посылки) во Франкфурт, к Жуковскому, по прежнему адресу. Он мне доставит всюду, где буду находиться.

Ваш Г.

В адресе Жуковского нужно прибавлять: Saxenhausen, Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor. Весь дом ваш обнимаю, всех от мала до велика, не пропуская никого.

71. М. С. ЩЕПКИНУ

⟨24 октября н. ст. 1846. Страсбург.⟩

Михаил Семенович! Вот в чем дело: вы должны взять в свой бенефис «Ревизора» в его полном виде, то есть следуя тому изданию, которое напечатано в полном собрании моих сочинений, с прибавлением хвоста, посылаемого мною теперь. Для этого вы сами непременно должны съездить в Петербург, чтобы ускорить личным присутствием ускорение цензурного разрешения. Не знаю, кто театральный цензор. Если тот самый Гедеонов, который был в Риме с графом Васильевым и с которым я там познакомился, то попросите его от моего имени крепко. Во всяком случае, обратитесь по этому делу к Плетневу и графу М. Ю. Виельгорскому, которым все объясните и которых участие может оказаться нужным. Скажите как им, так и себе самому, чтобы это дело до самого времени представления не разглашалось и оставалось бы в тайне между вами. Хлеста-

кова должен играть Живокини. Дайте непременно от себя мотив другим актерам, особенно Бобчинскому и Добчинскому. Постарайтесь сами сыграть перед ними некоторые роли. Обратите особенное внимание на последнюю сцену. Нужно непременно, чтобы она вышла картинной и даже потрясающей. Городничий должен быть совершенно потерявшимся и вовсе не смешным. Жена и дочь в полном испуге должны обратить глаза на его одного. У смотрителя училищ должны трястись колени сильно, у Земляники также. Судья, как уже известно, с присядкой. Почтмейстер, как уже известно, с вопросительным знаком к зрителям. Бобчинский и Добчинский должны спрашивать глазами друг у друга объясненья этому всему. На лицах дам-гостей ядовитая усмешка, кроме одной жены Луканчика, которая должна быть вся — испуг, бледна как смерть, и рот открыт. Минуту или минуты две непременно должна продолжаться эта немая сцена, так чтобы Коробкин, соскучившись, успел попотчевать Растаковского табаком, а кто-нибудь из гостей даже довольно громко сморкнуть в платок. Что же касается до прилагаемой при сем «Развязки Ревизора», которая должна следовать тот же час после «Ревизора», то вы, прежде чем давать ее разучать актерам, вчитайтесь хорошенько в нее сами, войдите в значенье и в крепость всякого слова, всякой роли так, как бы вам пришлось все эти роли сыграть самому, и, когда войдут они вам в голову все, соберите актеров и прочитайте им, и прочитайте не один раз,— прочитайте раза три-четыре или даже пять. Не пренебрегайте, что роли маленькие и по нескольку строчек. Строчки эти должны быть сказаны твердо, с полным убежденьем в их истине, потому что это — спор, и спор живой, а не нравоученье. Горячиться не должен никто, кроме разве Семена Семеновича; но слова произносить должен всяк несколько погромче, как в обыкновенном разговоре, потому что это спор. Николай Николаевич должен быть даже отчасти криклив; Петр Петрович — с некоторым заливом. Вообще было бы хорошо, если бы каждый из актеров держался сверх того еще какого-нибудь ему известного типа. Играющему Петра Петровича нужно выговари-

вать свои слова особенно крупно, отчетливо, зернисто. Он должен скопировать того, которого он знал говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если бы он мог несколько придерживаться американца Толстого. Николаю Николаевичу должно, за неимением другого, придерживаться Николая Филипповича Павлова, потому что у него самый ровный и пристойный голос из всех наших литераторов, притом в него нетрудно попасть. Самому Семену Семеновичу нужно дать более благородную замашку, чтобы не сказали, что он взят с Николая Михайловича Загоскина. Вам же вот замечание. Старайтесь произносить все ваши слова как можно тверже и покойней, как бы вы говорили о самом простом, но весьма нужном деле. Храни вас бог слишком расчувствоваться. Вы расхныкаетесь, и выйдет у вас просто черт знает что. Лучше старайтесь так произнести слова, самые близкие к вашему собственному состоянию душевному, чтобы зритель видел, что вы стараетесь удержать себя от того, чтобы не заплакать, а не в самом деле заплакать. Впечатление будет оттого несколько раз сильней. Старайтесь заблаговременно во время чтения своей роли выговаривать твердо всякое слово, простым, но проникающим языком,— почти так, как начальник артели говорит своим работникам, когда выговаривает им или попрекает в том, в чем действительно они провиноватились. Ваш большой порок в том, что вы не умеете выговаривать твердо всякого слова: от этого вы неполный владелец собою в своей роле. В городничем вы лучше всех ваших других ролей именно потому, что почувствовали потребность говорить выразительней. Будьте же и здесь, и в «Развязке Ревизора», тем же городничим. Берегите себя от сентиментальности и караульте сами за собою. Чувство явится у вас само собою, за ним не бегайте; бегите за тем, как бы стать властелином себя. Обо всем этом не сказывайте никому в Москве, кроме Шевырева, по тех пор, покуда не возвратитесь из Петербурга. У вас язык немножко длинноват; вы его на этот раз поукоротите; если ж он начнет слишком почесываться, то вы придите в другой раз к Шевыреву и расскажите ему вновь, как бы вы рассказывали свежему и совсем

другому человеку. «Развязку» нужно будет переписать, потому что, кроме экземпляра, нужного для театральной цензуры, другой будет нужен для подписанья цензору Никитенке, которому отдаст Плетнев, ибо «Ревизор» должен напечататься отдельно с «Развязкой» ко дню представления и продаваться в пользу бедных, о чем вы при вашем вызове по окончании всего должны возвестить публике: что не благоугодно ли ей ради такой богоугодной цели сей же час по выходе из театра купить «Ревизора» в театральной же лавке, а кто разохотится дать больше означенной цены, тот бы покупал ее прямо из ваших рук для большей верности. А вы эти деньги потом препроводите к Шевыреву. Но об этом речь еще впереди. Довольно с вас покамест этого.

Итак, благословясь, поезжайте с богом в Петербург. Бенефис ваш будет блистателен. Не глядите на то, что пьеса заиграна и стара. Будет к этому времени такое обстоятельство, что все пожелают вновь увидеть «Ревизора», даже и в том виде, в каком он давался прежде. Сбор ваш будет с верхом полон. Поговорите с Сосницким, чтобы увидать, можно ли то же самое сделать и в Петербурге, сколько возможно таким образом, как в Москве. Прежде его испытайте: он немножко упрям в своих убеждениях. Скажите ему, что это стыдно и не в христианском духе иметь такое гордое мнение в своей безошибочности и что он первый, если бы только захотел истинно постараться о том, чтобы последняя сцена вышла так, как ей следует быть, она бы сделалась чистая натура. Не приметил бы зритель никакой искусственности и принял бы ее за вылившуюся непринужденно. Скажите ему, что для русского человека нет невозможного дела, что нет даже на языке его и слова *нет*, если он только прежде выучился говорить всяким собственным страстишкам: *нет*.

Письмо это дайте прочесть Шевыреву, так же как и самую «Развязку Ревизора», и о получении всего этого уведомьте меня тот же час, адресуя в Неаполь, poste restante.

Весь ваш Г.

72. И. И. СОСНИЦКОМУ

2 ноябрь ⟨н. ст.⟩ 1846. ⟨Ницца.⟩

Если вы уже всё узнали от Щепкина и решились сделать дело вас достойное, добрейший мой Иван Иванович, то присоединяю еще две-три строчки моей убедительнейшей просьбы. Обратите ваше внимание на последнюю сцену «Ревизора». Обдумайте, обмыслите вновь. Из заключительной пьесы «Развязка Ревизора» вы постигнете, почему я так хлопочу об этой последней сцене и почему мне так важно, чтобы она имела полный эффект. Я уверен, что вы взглянете сами другими глазами на «Ревизора» после этого заключения, которого мне, по многим причинам, нельзя было тогда выдать и только теперь возможно. Употребите все ваши силы, чтобы «Ревизор» был обстановлен со всех сторон и вполне хорошо, чтобы все актеры сделали свое дело хорошо. Вы сделаете этим дело не только доброе, но истинно христианское. (Продажа «Ревизора» в новом виде, с «Развязкой», назначена в пользу бедных, а вы игрой своей и обстановкой можете возвысить его продажу.) Не поленитесь сыграть сами предуготовительно перед актерами роль Хлестакова, которую, кроме вас, решительно никто не может выполнить. Вы можете этим дать им раз навсегда мотив. Теоретически из них никто не может понять, что эту роль непременно нужно сыграть в виде светского человека comme il faut, вовсе не с желанием сыграть лгуна и щелкопера, но, напротив, с чистосердечным желаньем сыграть роль чином выше своей собственной, но так, чтобы вышло само собою, в итоге всего — и лгунишка, и подляшка, и трусишка, и щелкопер во всех отношениях. Всё это вы можете внушить им только одной игрой своей, а словами и наставленьями не сделаете ничего, как бы ни убедительно им рассказывали. Сами знаете, что второклассные актеры передразнить характер еще могут, но создать характера не могут; насилуя себя произвести последнее, они станут даже ниже самих себя. Потому-то пример, вами данный, более наведет их на законную дорогу, чем их собственное рассуждение. Что же касается до игры в последней пьесе, то есть в пьесе «Развязка Ревизора», то насчет этого прочтите мои стро-

ки в письме к Щепкину. В них я делаю ему прямо и откровенно мои замечания и даже советы, зная, что он, по страсти и любви к искусству, готов себя считать вечным учеником и выслушивать даже и не весьма умные по виду советы, даже и от простых людей. Замечания эти вы все-таки примите к сведению, хотя знаю, что они вам не совсем идут, потому что ваш талант имеет свою своеобразность и качества другие, нежели у Щепкина (сильно желалось бы мне когда-нибудь увидеть вас обоих в одной пьесе, в двух различных ролях, ничуть не похожих одна на другую, но равно великих и трудных, чтобы увидела ясно публика, что такое собственно Щепкин и что такое собственно Сосницкий). Одно то, что вам, равно обоим, замечу и что должен заметить всем, кто бы ни стал играть в пьесе «Развязка Ревизора» первую роль, то есть роль комического актера,— это то, чтобы произносить как можно тверже, крепче и проще слова, как бы самую простую, но близкую к делу и нужную речь. Храни бог от всякой сентиментальности и напряженного жару,— вдруг не станет голоса к концу монолога, пересохнет горло и останешься в каком-то вяло-плаксивом и пьяном положенье, тогда как следует пребывать во все время монолога в трезвом и светлом состоянии духа. Следует изворотиться молодцом. Следует показаться полководцем, бодрящим и подстрекающим других на битву, а не рядовым солдатом, кидающимся самому в пыл сраженья. Словом, голос актера здесь должен быть победоносно-торжествующий, истинно генеральский голос. Этих слов не пропустите, Иван Иванович, и Щепкину также это скажите. И бог вам в помощь обоим! По окончании пьесы, когда вас вызовут, вы, раскланявшись с публикой, скажите ей, что не угодно ли ей купить «Ревизора», который продается, при выходе из театра, в пользу бедных, по рублю серебром с «Развязкой» вместе. Кто же пожелает дать больше, тот вручал бы деньги вам самим и покупал бы лично из ваших рук, а вы все эти деньги доставляйте Плетневу, которому поручен сбор денег и от которого поступят они к тем, на которых возложена раздача бедным. Побывайте у Плетнева теперь же и спросите его, не нужно ли какого вспомоществованья

собственно от вас в деле издания «Ревизора», относительно ли корректуры, или чего другого. На нем слишком навьючено теперь всяких обуз, и ему довольно тяжело и трудно управляться одному. За все это поблагодарю вас лично, когда приведет бог встретиться. Смотрите, чтобы продажа в театральных лавках поручена была надежным продавцам, и не употребляйте для этого в посредство какого-либо актера. Говорю это потому, что один из этих господ, на которых я вздумал было положиться, денежки прибирал к себе и на них кутил, складывая вину на продавцов, которые ему не приносят, а когда я вздумал наконец расспросить продавцов, дело открылось. Это примите к сведенью. На этот раз грех будет большой на душе того, кто украдет копейку, — деньги эти в пользу бедных; это им объявите.

Но прощайте. Если захотите мне написать хотя две строчки, что мне будет очень приятно, адресуйте в Неаполь (poste restante).

Затем обнимаю вас. Искренно вас любящий

Г.

73. М. С. ЩЕПКИНУ

Декабря 16 ⟨н. ст. 1846⟩. Неаполь.

Вы уже, без сомнения, знаете, Михаил Семенович, что «Ревизора с Развязкой» следует отложить до вашего бенефиса в будущем, 1848 году. На это есть множество причин, часть которых, вероятно, вы и сами проникаете. Во всяком случае я этому рад. Кроме того, что дело будет не понято публикою нашею в надлежащем смысле, оно выйдет просто дрянь от дурной постановки пьесы и плохой игры наших актеров. «Ревизора» нужно будет дать так, как следует (сколько-нибудь сообразно тому, чего требует по крайней мере автор его), а для этого нужно будет время. Нужно, чтобы вы переиграли хотя мысленно все роли, услышали целое всей пьесы и несколько раз прочитали бы самую пьесу актерам, чтобы они таким образом невольно заучили настоящий

смысл всякой фразы, который, как вы сами знаете, вдруг может измениться от одного ударения, перемещенного на другое место или на другое слово. Для этого нужно, чтобы прежде всего я прочел вам самому «Ревизора», а вы бы прочли потом актерам. Бывши в Москве, я не мог читать вам «Ревизора». Я не был в надлежащем расположении духа, а потому не мог даже суметь дать почувствовать другим, как он должен быть сыгран. Теперь, слава богу, могу. Погодите, может быть, мне удастся так устроить, что вам можно будет приехать летом ко мне. Мне ни в каком случае нельзя заглянуть в Россию раньше окончания работы, которую нужно кончить. Может быть, вам также будет тогда сподручно взять с собою и какого-нибудь товарища, больше других толкового в деле. А до того времени вы все-таки не пропускайте свободного времени и вводите, хотя понемногу, второстепенных актеров в надлежащее существо ролей, в благородный, верный такт разговора — понимаете ли? — чтобы не слышался фальшивый звук. Пусть из них никто не оттеняет своей роли и не кладет на нее красок и колорита, но пусть услышит общечеловеческое ее выражение и удержит общечеловеческое благородство речи. Словом, изгнать вовсе карикатуру и ввести их в понятие, что нужно не *представлять*, а *передавать*. Передавать прежде мысли, позабывши странность и особенность человека. Краски положить нетрудно; дать цвет роли можно и потом; для этого довольно встретиться с первым чудаком и уметь передразнить его; но почувствовать существо дела, для которого призвано действующее лицо, трудно, и без вас никто сам по себе из них этого не почувствует. Итак, сделайте им близким ваше собственное ощущение, и вы сделаете этим истинно доблестный подвиг в честь искусства. А между тем напишите мне (если книга моя «Выбранные места из переписки» уже вышла и в ваших руках) ваше мнение о статье моей «О театре и одностороннем взгляде на театр», не скрывая ничего и не церемонясь ни в чем, равным образом как и обо всей книге вообще. Что ни есть в душе, всё несите и выгружайте наружу. Адресуйте в Неаполь, в poste restante.

74. А. О. РОССЕТУ

Неаполь. Февраль 11 ⟨н. ст. 1847⟩.

...Благодарю вас за готовность вашу споспешествовать снабжению меня книгами ⟨...⟩ В прибавку к журналам, мне посылаемым, я попрошу «Иллюстрацию» Кукольника за прошлый год, переплетенную в одну книгу. На нынешний я не прошу. В книге этой есть повести *Даля*, которые мне очень нужны. Этого писателя я уважаю потому, что от него всегда заберешь какие-нибудь сведения положительные о разных проделках в России. Там же есть и другие повести из русского быта. Пожалуйста, не забывайте того, что мне следует присылать только те книги, где слышна сколько-нибудь Русь, хотя бы даже в зловонном виде. Я очень боюсь, чтобы Плетнев не стал меня потчевать Финляндией и книгами, издаваемыми Ишимовой, которую я весьма уважаю за полезные труды и уверен, что книги ее истинно нужны, но только не мне. Мне нужны не те книги, которые пишутся для добрых людей, но производимые нынешнею школою литераторов, стремящеюся живописать и цивилизировать Россию. Всякие петербургские и провинциальные картины, мистерии и прочие. В прошлом году вышла книжка «Петербургские вершины», ее мне пришлите обе части. Но довольно. Я устал. Я устаю теперь весьма скоро, потому что здоровье мое вновь несколько расклеилось. Вот уже скоро два месяца как одержим я бессонницами (которым не могу постигнуть причины). Не позабудьте же, мой добрый и мною любимый Аркадий Осипович, передавать мне все впечатления, какие где ни будет производить моя книга во всех кругах, даже в самых низших слоях, не выключая и дворовых людей. А потому вы просите всех сколько-нибудь благотворительных людей покупать мою книгу не для одних себя, но затем, чтобы раздавать их умеющим читать и не имеющим на что купить. Но будьте здоровы. Бог с вами, не ленитесь и пишите. При сем письмецо к Плетневу.

75. А. О. СМИРНОВОЙ

Февраля 22 <н. ст. 1847>. Неаполь.

Как мне приятно было получить ваши строчки, моя добрая Александра Осиповна! Ко мне мало теперь пишут. С появленья моей книги еще никто не писал ко мне. Кроме коротких уведомлений, что книга вышла и производит разнообразные толки, я ничего еще не знаю. Какие именно толки — не знаю, не могу даже и определить их вперед, потому что не знаю, какие именно из моих статей пропущены, а какие не пропущены. От Плетнева я получил только вместе с уведомленьем о выходе книги и об отправленье ее ко мне уведомленье, что больше половины не пропущено, статьи же пропущенные обрезаны немилосердно цензурою. Вся цензурная проделка для меня покамест темна и не разгадана. Знаю только то, что цензор был, кажется, в руках людей так называемого европейского взгляда, одолеваемых духом всякого рода преобразований, которым было неприятно появленье моей книги. Я до сих пор не получал ее и даже боюсь получить. Как ни креплюсь, но, признаюсь вам, мне будет тяжело на нее взглянуть. Все в ней было в связи и в последовательности и вводило постепенно читателя в дело — и вся связь теперь разрушена! Будьте свидетелем моей слабости душевной и моего неуменья переносить: все, что для иных людей трудно переносить, я переношу уже легко с божьею помощью и не умею только переносить боли от цензурного ножа, который бесчувственно отрезывает целиком страницы, написанные от чувствовавшей души и от доброго желания. Весь слабый состав мой потрясается в такие минуты. Точно как бы пред глазами матери зарезали ее любимейшее дитя, так мне тяжело бывает это цензурное убийство. И сделал тот самый цензор, который до того благоволил к моим произведениям, боясь, по его собственному выражению, произвести и царапинку на них. Плетнев приписывает это его глупости. Но я этому не совсем верю: человек этот не глуп. Тут есть что-то покуда для меня непонятное. Я просил Виельгорского и Вяземского пересмотреть внимательно все непропущенные статьи и, уничтоживши в них то, что покажется им неприлич-

ным и неловким, представить их на суд дальше. Если и государь скажет, что лучше не печатать их, тогда я почту это волей божьей, чтобы не выходили в публику эти письма; по крайней мере мне будет хоть какое-нибудь утешение в том, когда я узнаю, что письма были читаны теми, которым, точно, дорого благосостояние и добро России, что хотя крупица мыслей, в них находящихся, произвела благодетельное влияние, что семя, может быть, будущего плода заронилось вместе с ними в сердца. Письма эти были к помещикам, к должностным людям, письмо к вам о том, что можно делать губернаторше, попало также туда, а потому вы не удивляйтесь, что оно пришлось вам не совсем кстати: я, писавши его к вам, имел уже в виду многих других и желал посредством его добиться верных и настоящих сведений о внутреннем состоянье душевном люда, живущего у нас повсюду. Мне это нужно; вы не знаете, как это вразумляет меня. Я бы давно был гораздо умнее нынешнего, если бы мне доставлялась верная статистика. Если бы вы доставляли мне в продолжение года хотя такие известия, какие содержатся в нынешнем вашем милом письме, на которое я вам отвечаю (хотя в нем говорится только о невозможности делать добро), то я чрез это самое к концу года пришел бы в возможность сказать вам вещи, гораздо более удобные к приведению к исполнению. У меня голова находчива, и затруднительность обстоятельств усиливает умственную изобретательность; душа же человека с каждым днем становится ясней. Но когда я не введен в те подробности, которые другой считает незначительными, душа моя тоскует и мне точно как будто бы душно и не развязаны мои руки. Вся книга моя долженствовала быть пробою: мне хотелось ею попробовать, в каком состоянии находятся головы и души. Мне хотелось только поселить посредством ее в голове идеал возможности делать добро, потому что есть много истинно доброжелательных людей, которые устали от борьбы и омрачились мыслью, что ничего нельзя сделать. Идею возможности, хотя и отдаленную, нужно носить в голове, потому что с ней, как с светильником, все-таки отыщешь что-нибудь делать, а без нее вовсе оста-

нешься впотьмах. Письма эти вызвали бы ответы. Ответы эти дали бы мне сведения. Мне нужно много набрать знаний; мне нужно хорошо знать Россию. Друг мой, не позабывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые «Мертвые души», которых начало явилось в таком неприглядном виде. Друг мой, искусство есть дело великое. Знайте, что все те идеалы, которых напичкали в головы французские романы, могут быть выгнаны другими идеалами. И образы их можно произвести так живо, что они станут неотразимо в мыслях и будут преследовать человека в такой степени, что львицы возжелают попасть в другие львицы. Способность созданья есть способность великая, если только она оживотворена благословеньем высшим бога. Есть часть этой способности и у меня, и я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее как следует в дело. А употребить ее как следует в дело я в силах только тогда, когда разум мой озаряется полным знанием дела. Вот почему я с такою жадностью прошу, ищу сведений, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять. Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято. Тогда только он проснется и тогда только может сделаться другим человеком. Друг мой, вот вам исповедь литературного труда моего. Ее объявляю вам, потому что вас удостоил бог понимать многое (благословите же всякие недуги и сокрушения, возведшие до этой степени вашу душу). С московскими моими приятелями об этом не рассуждайте. Они люди умные, но многословы и от нечего делать толкут воду в ступе. Оттого их может смутить всякая бабья сплетня и сделаться для них предметом неистощимых споров. Пусть их путаются обо мне; я их вразумлять не буду. А между тем их мненья обо мне имеют ту выгодную сторону, что все-таки заставят меня лишний раз оглянуться на себя. А это очень не мешает, и потому я любопытен знать все, что говорят обо мне. Не скрывайте же и вы от меня ничего, откуда ни услышите. Не ленитесь и не забывайте меня вашими письмами. Ваши письма всегда мне приносили радость душевную, а теперь более, чем когда-либо прежде.

Ваши мысли о трудности иметь какое-нибудь доброе влияние на жителей города Калуги очень основательны и разумны. Но не смущайтесь этим и вообще тем, что душа ваша остается без больших подвигов. Уже и это подвиг, если добрый человек, подобный вам, захотел жить в городе Калуге. А подвиги придут. Не позабывайте, что разум наш в распоряженье у бога: сегодня он видит невозможности, завтра богу угодно раздвинуть пред ним горизонт шире, и он уже видит там возможность, где встречал прежде невозможности. Пишите ко мне чаще, и говорю вам нелицемерно, что это будет с вашей стороны истинно христианский подвиг; и если хотите доброе даянье ваше сделать еще существеннее, присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет какого-нибудь из тех лиц, среди которых обращается ваша деятельность, чтобы я по нем мог получить хоть какую-нибудь идею о том сословии, к которому он принадлежит в нынешнем и современном виде. Например, выставьте сегодня заглавие: «*Городская львица*». И, взявши одну из них такую, которая может быть представительницей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками — и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову,— словом, личный портрет во всех подробностях. Потом завтра выставьте заглавие: «*Непонятая женщина*» и опишите мне таким же образом непонятую женщину. Потом: «*Городская добродетельная женщина*», потом: «*Честный взяточник*», потом: «*Губернский лев*». Словом, всякого такого, который вам покажется типом, могущим подать собою верную идею о том сословии, к которому он принадлежит. Вспомните прежнюю вашу веселость и уменье замечать смешные стороны человека, и, вооружась ими, вы сделаете для меня живой портрет, а мысль, что это вы сделаете не для праздного пересмеханья, а для добра, одушевит вас охотою рисовать с такими подробностями портреты, с какими бы вы пренебрегли прежде. После вы увидите, если только милость божия будет сопровождать меня в труде моем, какое христиански доброе дело можно будет сделать мне, наглядевшись на портреты ваши, и виновницей

этого будете вы. Я не думаю, чтобы эта работа была для вас трудна и утомительна. Тут нет ни системы, ни плана и ничего казенного или должностного. Я думаю даже, что это будет приятно вам, потому что, составляя портреты, вы будете представлять перед собою меня и будете чувствовать, что вы для меня это делаете. Для того все приятно делать, кого любишь, а вы меня любите, за что да наградит вас бог много, много! Много есть людей, которые говорят мне тоже, что они меня любят, но любви их я не доверяю: она шатка и подвержена всяким измененьям и влияньям. Вы же любите меня *во Христе*, а потому и любовь ваша вечна, как самая жизнь во Христе. Но прощайте, моя добрая, до следующего письма! Мне чувствуется, что мы теперь чаще, нежели прежде, будем писать друг к другу. Целую ручки ваши, и бог да хранит вас!

76. В. А. ЖУКОВСКОМУ

Неаполь. 6 марта ⟨*н. ст. 1847*⟩.

Письмо от 6/18 февраля, пущенное из Франкфурта тобою с известием о книге моей, получено мною только третьего дни, то есть четвертого марта. Появленье книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед. При всем том книга моя полезна. В одну неделю исчезнули все экземпляры ее (хотя печатано было два завода). Все дотоле бывшие вопросы в литературе вдруг заменились другими, и все предметы разговоров умных людей

наших обществ заменились другими предметами. Я ожидаю, что после моей книги явится несколько умных и дельных сочинений, потому что в моей книге есть именно что-то, зарывающее на умственную деятельность человека. Несмотря на то что сама по себе она не составляет капитального произведения нашей литературы, она может породить многие капитальные произведения. Но, признаюсь, радостней всего мне было услышать весть о благодатном замысле твоем писать письма по поводу моих писем. Я думаю, что появление их в свет может быть теперь самым приличным и *нужным* у нас явлением, потому что после моей книги все как-то напряжено, все более или менее, как противники так и защитники, находятся в положении неспокойном, а многие недоумевают просто, куды пристать, не умея согласить многих, по-видимому, противоположных вещей от той резкости, с какою они выражены. Появление твоих писем может теперь произвести благотворное и примиряющее действие. Но как мне стыдно за себя, как мне стыдно перед тобою, добрая душа! Стыдно, что возомнил о себе, будто мое школьное воспитанье уже кончилось и могу я стать наравне с тобою. Право, есть во мне что-то хлестаковское. А ты кротко, без негодованья подаешь мне братскую руку свою, которой посылаю заочный поцелуй. Прощайте, мои добрые! Бог да хранит вас всех целых и невредимых!

Твой Г.

Назад тому дня два, я отправил уже одно письмо к тебе, занумерованное 4-м мартом, в котором содержится мой маршрут. Ночи мои всё по-прежнему без сна; я слаб телом, но духом, слава богу, довольно свеж.

77. А. С. и У. Г. ДАНИЛЕВСКИМ

Неаполь. Марта 18 ⟨н. ст.⟩. 1847.

Я получил ваши строчки, милые друзья мои. Пишу к вам обоим, потому что вы составляете *одно*. Хотя письма ваши коротеньки, но я глотал с жадностью подроб-

ности *житья* вашего и перечитал их не один раз. Хотел бы вам заплатить тем же, то есть повестью о себе, но повесть эта так чудна, так необыкновенна, что нужно слишком собраться с духом и привести себя в очень покойное расположение, в то расположение,в каком находится старый инвалид, уже поместившийся дома, на родине, среди детей и внучат, когда ему легко рассказывать о прошедших битвах. После, когда приведет меня бог побывать в Киеве (который еще заманчивей от вашего в нем пребывания), я, может быть, сумею вам рассказать просто и ясно многое, но теперь во внутреннем доме моем происходит еще столько мытья, уборки и всякой возни, что хозяину просто невозможно быть толкову в речах даже и с наиближайшим другом. Покуда скажу тебе вот что, мой добрый Александр. Ты никак не смущайся обо мне по поводу моей книги и не думай, что я избрал другую дорогу писаний. Дело у меня то же, какое и было всегда и о котором замышлял еще в юности, хотя не говорил о том, чувствуя бессилие свое выражаться ясно и понятно (всегдашняя причина моей скрытности). Нынешняя книга моя есть только свидетельство того, какую возню нужно было мне поднимать для того, чтобы «Мертвые души» мои вышли тем, чем им следует быть. Трудное было время, испытанья были такие страшные и тяжелые, битвы такие сокрушительные, что чуть не изнемогла до конца душа моя. Но, слава богу, все пронеслось, все обратилось в добро. Душа человека стала понятней, люди доступней, жизнь определительней, и чувствую, что это отразится в моих сочинениях. В них отразится та верность и простота, которой у меня не было, несмотря на живость характеров и лиц. Нынешняя моя книга выдана в свет затем, чтобы пощупать ею, во-первых, самого себя, а во-вторых, других — узнать посредством ее, на какой степени душевного состоянья своего стоит теперь каждый из нашего современного общества. Вот почему я с такою жадностью собираю все толки о ней. Мне важно, кто и что именно сказал, важна и самая *личность* того человека, который сказал, его черты характера. Итак, знай, что всякий раз, когда ты передашь мне мысли какого-нибудь человека о моей книге, прибавя к тому и портрет самого

человека, то этим ты сделаешь мне большой подарок, мой добрый Александр. А вас прошу, моя добрая Юлия, или по-русски *Уленька*, что звучит еще приятней (вашего отечества вы не захотели мне объявить, желая остаться и в моих мыслях под тем же именем, каким называет вас супруг ваш), вас прошу, если у вас будет свободное время в вашем доме, набрасывать для меня слегка маленькие портретики людей, которых вы знали или видаете теперь, хотя в самых легких и беглых чертах. Не думайте, чтоб это было трудно. Для этого нужно только помнить человека и уметь его себе представить мысленно. Не рассердитесь на меня за то, что я, еще не успевши ничем заслужить вашего расположения, докучаю вам такою просьбою. Но мне теперь очень нужен русский человек, везде, где бы он ни находился, в каком бы звании и сословии он ни был. Эти беглые наброски с натуры мне теперь так нужны, как живописцу, который пишет большую картину, нужны этюды. Он хоть, по-видимому, и не вносит этих этюдов в свою картину, но беспрестанно соображается с ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться от природы. Если же вас бог наградил замечательностью особенною и вы, бывая в обществе, умеете подмечать его смешные и скучные стороны, то вы можете составить для меня *типы* — то есть, взявши кого-нибудь из тех, которых можно назвать представителем его сословия или сорта людей, изобразить в лице его то сословие, которого он представитель,— хоть, например, под такими заглавиями: *Киевский лев; Губернская* femme incomprise;[1] *Чиновник-европеец*; *Чиновник-старовер*, и тому подобное. А если душа у вас сердобольная и состраждет к положенью других, опишите мне раны и болезни вашего общества. Вы сделаете этим подвиг христианский, потому что из всего этого, если бог поможет, надеюсь сделать доброе дело. Моя поэма, может быть, очень нужная и очень полезная вещь, потому что никакая проповедь не в силах так подействовать, как ряд *живых примеров*, взятых из той же земли, из того же тела, из которого и мы. Вот вам, мои добрые, моя собствен-

[1] Непонятая женщина (*франц.*).

ная повесть и подробности того, что составляет нынешнюю жизнь мою, в отплату вам за ваши тоже весьма коротенькие известия о себе. Но вы, однако же, не забывайте себя показывать мне почаще и не пренебрегайте этими, по-видимому незначительными, подробностями, но которые, однако ж, для меня драгоценны. Сами посудите: если мне теперь дорог и близок всякий человек на Руси, то во сколько крат должен быть мне дороже и ближе человек, связанный узами дружбы со мной? Ведь я вас не вижу, а эти маленькие, по-видимому пустые, подробности делают то, что вы рисуетесь перед моими глазами, и я как бы ощущаю в малом виде радость свиданья.

Вот вам мой маршрут: до мая я в Неаполе, а там отправляюсь на воды и морское купанье по случаю вновь пришедших недугов и расстроившихся нерв моих. Укрепивши мои нервы, проберусь разными дорогами по Европе вновь в Неаполь к осени, с тем чтобы оттуда двинуться на Восток. Всю зиму и начало весны проведу на Востоке, а оттуда, если бог благословит, пущусь в Русь, на Константинополь, Одессу и, стало быть, на Киев; а в Киеве, около июня месяца, обниму вас, что имеет быть, по моему расположению, в будущем году.

78. А. О. РОССЕТУ

Неаполь. Апреля 15 ⟨н. ст. 1847⟩.

Не знаю, как благодарить вас, добрейший мой Аркадий Осипович, за ваше письмо и сообщенье разных мнений. Если бы мне почаще случалось получать такие письма, даже без сопровожденья этого доброго вашего участия и любви ко мне, я бы давно уже поумнел гораздо больше, чем я есмь теперь. Но что делать, если ничем и никак не могу я до сих пор никого уверить, что мне слишком нужны всякие толки обо мне, что это единственная школа моя, что есть, наконец, один такой человек, которому следует говорить правду, как бы она жестка ни была, и которому нужны даже те грубые, жесткие

слова, которые умеют произносить только ненависть и нелюбовь.

Одна из причин печатания моих писем была и та, чтобы поучиться, а не поучить. А так как русского человека по тех пор не заставишь говорить, покуда не рассердишь его и не выведешь совершенно из терпения, то я оставил почти нарочно много тех мест, которые заносчивостью способны задрать за живое. Скажу вам не шутя, что я болею незнанием многих вещей в России, которые мне необходимо нужно знать. Я болею незнаньем, что такое нынешний русский человек на разных степенях своих мест, должностей и образований. Все сведения, которые я приобрел доселе с неимоверным трудом, мне недостаточны для того, чтобы «Мертвые души» мои были тем, чем им следует быть. Вот почему я с такою жадностью хочу знать толки всех людей о моей нынешней книге, не выключая и лакеев. Собственно, не ради книги моей, но ради того, что в суждении о ней выказывается сам человек, произносящий суждение. Мне вдруг видится в этих суждениях, что такое он сам, на какой степени своего душевного образованья или состоянья стоит, как проста, добра, или как невежественна, или как развращена его природа. Книга моя в некотором отношении пробный оселок, и поверьте, что ни на какой другой книге вы не пощупали бы в нынешнее время так удовлетворительно, что такое нынешний русский человек, как на этой. Не скрою, что я хотел произвести ею вдруг и скоро благодетельное действие на некоторых недугующих, что я ожидал даже большего количества толков в мою пользу, чем как они теперь, что мне тяжело даже было услышать многое и даже очень тяжело. Но как я благодарю теперь бога, что случилось так, а не иначе! Я заставлен почти невольно взглянуть гораздо строже на самого себя, я имею теперь средство взглянуть гораздо верней и ближе на людей, и я, наконец, приведен в возможность уметь взглянуть на них лучше. Что же касается до того, что при этом деле пострадала моя личность (я должен вам признаться, что доныне горю от стыда, вспоминая, как заносчиво выразился во многих местах, почти à la Хлестаков), то нужно чем-нибудь пожертвовать. Мне также нужна публичная оплеуха,

и даже, может быть, более, чем кому-либо другому. Но дело в том, что обстоятельствами нужно пользоваться: бог высыпал вдруг целую груду сокровищ, их нужно подбирать обеими руками. Если вы хотите сделать мне истинное добро, какое способен делать христианин, подбирайте для меня эти сокровища, где найдете. Что вам стоит понемногу, в виде журнала, записывать всякий день, хотя, положим, в таких словах: «Сегодня я услышал вот какое мнение; говорил его вот какой человек; жизни он следующей; характера следующего» (словом, в беглых чертах портрет его); если ж он незнакомец, то: «жизни его я не знаю, но думаю, что он вот что; с вида же он казист и приличен (или неприличен); держит руку вот как; сморкается вот как; нюхает табак вот как». Словом, не пропуская ничего того, что видит глаз, от вещей крупных до мелочей.

Поверьте, что это будет совсем не скучно. Тут не нужно ни плана, ни порядка; просто две-три строчки, перед тем как идти умываться. Я даже уверен, что это будет вам приятно, потому что вас будет услаждать постоянно мысль, что вы это делаете для человека, вас очень любящего, которому это будет так радостно, как радостно ребенку получать перед праздником наилюбимейшую игрушку. Что ж делать, если эта, по-видимому, игрушка в глазах других для меня совсем не игрушка; это в такой степени не игрушка, что если я не наберусь в достаточном количестве этих игрушек, у меня в «Мертвых душах» может высунуться наместо людей мой собственный нос, и покажется именно все то, что вам неприятно было встретить в моей книге.

Поверьте, что без выхода нынешней моей книги никак бы я не достигнул той безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать в других частях «Мертвых душ», дабы назвал их всяк верным зеркалом, а не карикатурой. Вы не знаете того, какой большой крюк нужно сделать для того, чтобы достигнуть этой простоты. Вы не знаете того, как высоко стоит простота. Об этом предмете лучше и не рассуждать, а просто помогите.

Что касается до печатания писем, то мое решенье вот какое. Издавать ради непропущенных писем новый

том, как советует Плетнев, мне невозможно; у меня есть занятия, о которых не нужно позабывать, а время у меня все рассчитано; к тому ж появление вторично сочиненья в том же роде не произведет даже и шума. Мне нужно только, чтобы Вяземский снабдил своими замечаниями и поправками. Я потом пересмотрю и выправлю их так, чтобы и без высших рассмотрений простой цензор их пропустил. Поверьте, что все можно сказать, если только сумеешь умно сказать. Неуспех самых великодушных и благодетельных действий происходит, собственно, от неразумия нашего. Именно от того, что беспрестанно позабываем умную пословицу: «Тех же щей, да пожиже влей». Если на место самоуверенного и гордого совета, произносимого с тоном человека, не думающего, что он может ошибиться, явится просто скромное мнение,— та же мысль пойдет в ход и даже будет принята многими из читающих. Итак, что просто не у места, то выбросится; что умно, то скажется в другом виде; где высунулась собственная моя личность, там не только ей щелчка, но даже вставится такое место, которое и прежнему, уже напечатанному, сообщит некоторый тон умеренности. Но во всяком случае эти письма нужно включить в книгу, а не издавать отдельно. Они все-таки возвысят ее значение, напомнив русскому о России, а не о мне. Не нужно, чтобы эта книга была заброшена. Как она ни исполнена недостатков, но она печаталась не для впечатлений минутных. Ее нужно перечитать несколько раз не только тем, которые ее совсем не поняли, но даже и тем, которые поняли ее лучше других. Там есть несколько душевных тайн, которые не вдруг постигаются. Много принимается совсем не в том смысле, в каком хотел я сказать, даже и людьми весьма умными. Хорошо, если бы издание в полном виде могло быть отпечатано к сентябрю. Книга разойдется, потому что можно кое-что выпустить, споспешествующее к обращению надлежащему (сколько-нибудь) на нее взгляда. Письмо это дайте прочесть Плетневу.

Вы меня благодарите за то, что я вам доставил случай (хлопотами о моей книге) узнать получше прекрасную душу Плетнева. А я вас благодарю также за сооб-

щение некоторых известий о нем, которые заставили меня полюбить его еще более, чем когда-либо прежде, и заставили меня дорожить еще более его дружбой, которую мне послал бог в виде какого-то прекрасного, тихого утешения, очень нужного в эту эпоху. Я не знаю, с какой бы радостью я теперь обнял его и чего бы не дал за то, чтобы увидать его, поговорить с ним и обнять его лично. Затем, обнимая и его и вас, бесценный мой Аркадий Осипович, и несколько раз благодаря вас за ваши милые строки, остаюсь ваш

Г.

Не могу постигнуть, отчего не пришла ко мне до сих пор ни одна из книг, которые, вы говорите, мне посланы. Всем прочим привозят курьеры всё, даже крупу гречневую, вязигу и икру на кулебяки, а мне ни газетного листочка.

Не позабудьте уведомить о получении этого письма. Адресуйте отныне всё во Франкфурт, на имя Жуковского. А ему на имя посольства нашего.

79. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

⟨Около 20 июня н. ст. 1847. Франкфурт.⟩

Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором № «Современника». Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал, как о человеке меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Восточные, западные и неутральные — все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на соб-

ственной своей коже (всем нам нужно побольше смирения); но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо-неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами рассерженного человека и потому почти всё приняли в другом виде. Оставьте все те места, которые покамест еще загадка для многих, если не для всех, и обратите внимание на те места, которые доступны всякому здравому и рассудительному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом.

Я очень недаром молил всех прочесть мою книгу несколько раз, предугадывая вперед все эти недоразумения. Поверьте, что не легко судить о такой книге, где замешалась собственная душевная история человека, непохожего на других, и притом еще человека скрытного, долго жившего в себе самом и страдавшего неуменьем выразиться. Не легко было также решиться и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние, выставивши часть той внутренней своей клети, настоящий смысл которой не скоро почувствуется. Уже один такой подвиг должен был бы заставить мыслящего человека задуматься и, не торопясь подачей собственного голоса о ней, прочесть ее в разные часы своего душевного расположения, более спокойного и более настроенного к своей собственной исповеди, потому что в такие только минуты душа способна понимать душу, а в книге моей дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплошных выводов, которыми наполнена ваша статья. Как можно например, из того, что я сказал, что в критиках, говоривших о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заключение, что критики, говорившие о достоинствах моих, несправедливы? Такая логика может присутствовать в голове только раздраженного человека, продолжающего искать уже одно то, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет спокойно со всех сторон. Ну а что, если я долго носил в голове и обдумывал, как заговорить о тех критиках, которые говорили о достоинствах моих и которые по поводу моих сочинений разнесли много прекрасных мыслей об искусстве? И если я беспристрастно хотел определить досто-

инство каждого и те нежные оттенки эстетического чутья, которыми своеобразно более или менее одарен был из них каждый? И если я выжидал только времени, когда мне можно будет сказать об этом, или, справедливей, когда мне *прилично* будет сказать об этом, чтобы не говорили потом, что я руководствовался какой-нибудь своекорыстной целью, а не чувством беспристрастья и справедливости? Пишите критики самые жесткие, прибирайте все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, способствуйте к осмеянию меня в глазах ваших читателей, не пожалев самых чувствительнейших струн, может быть, нежнейшего сердца,— все это вынесет душа моя, хотя и не без боли и скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за доброго человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих!

Н. Г.

80. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ

Франкфурт. Июня 20-го ⟨н. ст. 1847⟩.

Благодарю тебя за письмо. Оно мне принесло особенное удовольствие именно по следующей причине: я начинал уже было думать, что ты от должностных своих занятий, несколько черствых, заклёкнул и завял. Но слог письма бодр, мысль свежа. Почему тебе не попробовать пера? Что ни говори, способности не даются нам даром, и взыщется строго за неупотребленье их. У тебя же, судя по твоим школьным, еще писанным в Нежине, повестям, есть все свойства повествователя. Речь твоя лилась плодовито и свободно, твоя проза была в несколько раз лучше твоих стихов и уже тогда была гораздо правильней нынешней моей. Нет разве предмета о чем писать? Но разве ты не жил? Разве не видел людей? Разве не открывалась перед тобою душа человека? Разница в том, что она перед тобою раскрывалась, начиная с нежнейшего возраста. Или мир, тобою узнан-

ный, считаешь ничтожным, непривлекательным, нелюбопытным для других? Но в таком случае нужно прежде доказать. что человек на тех местах, где ты его находил, не способен для высоких ощущений. Но мы с тобой знаем, что кадетский учитель имеет такие минуты, каких не доводится иметь и чиновнику, который неизвестно зачем стал преимущественным предметом пера. Может быть, точно, виноват в этом несколько и я. Как бы то ни было, но все это такого рода вещи, о которых следовало бы тебе подчас подумать очень серьезно. Тебя удивляет, зачем я так жаден слышать толки о моей книге. Затем, что я очень жаден знать людей, а в толках о моей книге все-таки более или менее обрисовывается передо мною человек, со всем своим знанием и невежеством и, что всего важнее, открывает мне свое собственное душевное состояние, которое для меня еще важней его характеристики внешней и которого, согласись сам, я бы никак не мог узнать без моей книги. Кстати о толках. Я прочел на днях критику во 2-м № «Современника» Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли. Это неправда; в книге моей, как видишь, есть нападенье на всех и на всё, что переходит в крайность. Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще. Мне было очень прискорбно это раздраженье не по причине жесткости слов, которых будто бы я не умею переносить: ты знаешь, что я могу выслушивать самые жесткие слова. Но потому, что, как бы то ни было, человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет. Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним. И я заплатил бы этому человеку неблагодарностью, когда я умею отдавать справедливость даже тем, которые выставляют на вид и отыскивают во мне одни недостатки! Напротив, я в этом случае только обманулся: я считал Белинского возвышенней, менее способным к такому близорукому взгляду и мелким заключеньям. Я не знаю, почему так

тяжело вынести упрек в неблагодарности, но для меня этот упрек был тяжелее всех упреков, потому что в самом деле душа моя благодарна, и я люблю благодарить, потому что чувствую от этого собственное наслаждение. Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в «Современнике» в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем. Если ж в нем угомонилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо, которое можешь прочесть и сам.

По всему вижу, что мне придется сделать некоторые объяснения на мою книгу, потому что не только Белинский, но даже те люди, которые гораздо больше его могли бы знать меня относительно моей личности, выводят такие странные заключения, что просто недоумеваешь. Видно, у меня темноты и неясности несравненно больше, чем я сам вижу. Еще одна просьба. Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного, кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых — в литературу не пускаются. У отца моего были два двоюродных брата священника, но те были просто Яновские, без прибавления Гоголя, которое осталось только за отцом. Если появившийся Гоголь есть один из сыновей священника Яновского, из которых я, однако ж, до сих еще пор не видал своими глазами никого, то в таком случае он может действительно мне приходиться троюродным братом, но только я не понимаю, зачем ему похищать названье Гоголя. Не потому я это говорю, чтоб стоял так за фамилию Гоголя, но потому, что в самом деле от этого могут произойти какие-нибудь гадости, истории с книгопродавцами, обманы и подлоги в книжном деле. Я потому и прошу тебя для избежания всяких печатных огласок известить лично книгопродавцев, чтобы они были осторожны, и если кто явится к ним под именем Гоголя и станет что-нибудь предлагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что собственно Гоголя у меня родственника нет и я до сих пор его и в глаза не видал.

А потому, чтобы обращались в таких случаях за разоблаченьем дела или к тебе, или к Плетневу. Тому же, кто выступает под моим именем, не худо бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собственным именем. Всякое имя и фамилию можно облагородить. Верно же, будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявление. Но прощай! Обнимаю тебя от души!

Твой Г.

Пожалуйста, не забывай меня и пиши. Адресуй в Франкфурт-на-Майне, poste restante.

81. М. С. ЩЕПКИНУ

⟨Около 10 июля н. ст. 1847. Франкфурт.⟩

Письмо ваше, добрейший Михаил Семенович, так убедительно и красноречиво, что если бы я и точно хотел отнять у вас городничего, Бобчинского и прочих героев, с которыми, вы говорите, сжились, как с родными по крови, то и тогда бы возвратил вам вновь их всех, может быть даже и с наддачей лишнего друга. Но дело в том, что вы, кажется, не так поняли последнее письмо мое. Прочитать «Ревизора» я именно хотел затем, чтобы Бобчинский сделался еще больше Бобчинским, Хлестаков Хлестаковым, и — словом — всяк тем, чем ему следует быть. Переделку же я разумел только в отношении к пьесе, заключающей «Ревизора». Понимаете ли это? В этой пьесе я так неловко управился, что зритель непременно должен вывести заключение, что я из «Ревизора» хочу сделать аллегорию. У меня не то в виду. «Ревизор» — «Ревизором», а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не «Ревизора», но которое приличней ему сделать по поводу «Ревизора». Вот что следовало было доказать по поводу слов: «разве у меня рожа крива?» Теперь осталось все при своем. И овцы целы, и волки сыты. Аллегория аллегорией, а



Н. В. Гоголь

Рисунок Э. Мамонова. 1852.

«Ревизор» — «Ревизором». Странно, однако ж, что свиданье наше не удалось. Раз в жизни пришла мне охота прочесть как следует «Ревизора», чувствовал, что прочел бы действительно хорошо,— и не удалось. Видно, бог не велит мне заниматься театром. Одно замечанье насчет городничего примите к сведению. Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: «Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему». Во втором акте, в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма. Впрочем, это ощутительней по последнему изданию, напечатанному в «Собрании сочинений».

Очень рад, что вы занялись ревностно писанием ваших записок. Начать в ваши годы писать записки — это значит жить вновь. Вы непременно помолодеете и силами и духом, а через то приведете себя в возможность прожить лишний десяток лет. Обнимаю вас. Прощайте.

Н. Г.

82. В. Г. БЕЛИНСКОМУ

Остенде. 10 августа ⟨н. ст. 1847⟩.

Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не менее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. Скажу вам только, что я получил около пятидесяти разных писем по поводу моей книги: ни одно из них не похоже на другое, нет двух человек, согласных во мненьях об одном и том же предмете, что опровергает один, то утверждает другой. И между тем на всякой стороне есть равно благородные и умные люди. Покуда мне показалось только то непреложной

истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких *живых образов*, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья, по тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками. Вижу, что укорявшие меня в незнании многих вещей и несоображении многих сторон обнаружили передо мной собственное незнание многого и собственное несоображение многих сторон. Не все вопли услышаны, не все страданья взвешены. Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает *нынешнее* время, в котором так явно проявляется дух *построенья полнейшего*, нежели когда-либо прежде: как бы то ни было, но все выходит теперь внаружу, всякая вещь просит и ее принять в соображенье, старое и новое выходит на борьбу, и чуть только на одной стороне перельют и попадут в излишество, как в отпор тому переливают и на другой. Наступающий век есть век разумного сознания; не горячась, он взвешивает всё, приемля все стороны к сведенью, без чего не узнать разумной средины вещей. Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом старца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошедших времен; мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы и я виновны равномерно перед ним. И вы и я перешли в излишество. Я по крайней мере сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же как я упустил из виду *современные* дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком *усредоточился* в себе, так вы слишком *разбросались*. Как мне нужно узнавать многое из того, что знаете вы и чего я не знаю, так и вам тоже следует узнать хотя часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете.

А покамест помните прежде всего о вашем здоровье. Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвратитесь к ним с большею свежестью, стало быть и с большею пользою как для себя, так и для них.

Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще.

Н. Гоголь.

В одно время с письмом к вам отправил я письмо и к Анненкову. Спросите у него, получил ли он его. Я адресовал в poste restante.

83. П. В. АННЕНКОВУ

Остенде. Августа 12 ⟨н. ст. 1847⟩.

Узнавши, что вы в Париже, пишу к вам. Я получил письмо от Белинского, которое меня огорчило не столько оскорбительными словами, устремленными лично на меня, сколько чувством ожесточенья вообще. Последнее сокрушительно для его здоровья. Вы теперь при нем: отводите от него все возмущающее дух его. Убедите его прежде всего в той непреложной истине, что *излишество* теперь удел всех, кто только сколько-нибудь имеет сердце не бесчувственное к делам мира, какой-нибудь характер и какое-нибудь убеждение. Все переливают через край, потому что никто не спокоен. Я, более других спокойный и хладнокровный, впал в излишество более других: писавши мои письма, я был истинно убежден в той мысли, что все звания и должности могут быть освящены человеком и что чем выше место, тем оно должно быть святее; я хотел рассмотреть все места и звания в их чистом источнике, а не в том виде, в каком они являются вследствие злоупотреблений человеческих; я начал с высших должностей; я хотел напомнить человеку о всей святости его обязанностей, а выразился так, что слова мои приняли за куренье человеку. Не увлекись я духом излишества, который раздувает теперь всех, я бы выразился, может быть, так, что со мною во многом бы согласились те, которые оспаривают теперь меня во всем, хотя чувствую, что и тогда видна была бы во мне односторонность: занявшись своим собственным внутренним воспитанием, проведя долгое время за библией, за Моисеем, Гомером —

законодателями веков минувших, читая историю событий, кончившихся и отживших, наконец наблюдая и анатомируя собственную душу в желанье узнать глубже душу человека вообще и встретясь на этом пути с тем, который более всех нас знал душу человека, я, весьма естественно, стал на время чужд всему современному. Зато теперь проснулось во мне любопытство ребенка знать все то, чего я прежде не хотел знать. Точно как бы на то была уже такая воля, чтобы я не прежде приступил к узнанию мирских дел, как узнавши получше самого себя. И мне кажется, что я теперь далее всякого другого могу уйти на пути *разведывания*: ни раздраженья, ни фанатизма во мне нет, ничьей стороны держать не могу, потому что везде вижу частицу правды и много всяких преувеличиваний и лжи. Не знаю только, достанет ли на то сил физических: здоровье мое, которое началось было уже поправляться и восстановляться, потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги. Многие удары так были чувствительны для всякого рода щекотливых струн, что дивлюсь сам, как я еще остался жив и как все это вынесло мое слабое тело. Но в сторону все это. Недавно я прочел ваши письма о Париже. Много наблюдательности и точности, но точности дагерротипной. Не чувствуется кисть, их писавшая; сам автор — воск, не получивший формы, хотя воск первого свойства, прозрачный, чистый, именно такой, какой нужен для того, чтобы отлить из него фигуру. Словом, в письмах не видно, зачем написаны письма. В то же время прочел я письма Боткина. Я их читал с любопытством. В них все интересно, может быть именно оттого, что автор мысленно занялся вопросом разрешить себе самому, что такое нынешний испанский человек, и приступил к этому смиренно, не составивши себе заблаговременно никаких убеждений из журналов, не влюбившись в первый выведенный им вывод, как делают это люди с горячим темпераментом, не рассматривающие того, что выведен вывод только из двух, из трех сторон дела, а не изо всех, как случается это с Белинским, со многими людьми на Москве, со мною, грешным, и вообще со всеми теми, в которых много гордости и убежденья, что

они стоят на высшей точке воззрения на вещи. В ваших же письмах мне показалось, как будто вы не задавали самому себе серьезного вопроса. Я подумал: что, если бы, наместо того чтобы дагерротипировать Париж, который русскому известен более всего прочего, начали вы писать записки о русских городах, начиная с Симбирска, и так же любопытно стали бы осматривать всякого встречного человека, как осматриваете вы на мануфактурных и всяких выставках всякую вещицу? Если при этом описании зададите себе внутреннюю задачу разрешить самому себе, что такое нынешний русский человек во всех сословиях, на всех местах, начиная от высших до низших, и, держа внутри себя этот вопрос, будете глядеть на всякое событие и случай, как бы они ничтожны ни были, как на явленье психологическое, ваши записки вышли бы непременно интересны. Тем более что у вас, как мне кажется, нет пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений. Я очень помню одно ваше письмо, которое вы писали мне из Симбирска в ответ на кое-какие упреки с моей стороны. Оно меня тронуло этим отсутствием гордой самоуверенности в себе; я вам искренно позавидовал. Но заговорился... Вы бы сделали хорошо, если бы заглянули в Остенде. Это так близко от Парижа. По железной дороге день езды. Мы бы вспомнили старину. Скажу вам, что мне теперь сильней, чем когда-либо, хочется видеть всех, с кем я давно знаком. Люди, с которыми я повстречался в юности моей, становятся мне теперь с каждым годом как-то родственней и ближе— оттого ли, что способность воспоминаний, которая была всегда во мне *живая*, при повороте дней моих к старости стала еще живей, или оттого, что в самом деле любовь к человеку во мне увеличилась. Как бы то ни было, но я благодарю бога за это чувство. Оно так умиряет, так успокоивает душу даже и среди помышлений о судьбах человечества, общества и всего мира. Но прощайте. Если увидите Боткина, поклонитесь ему. На адресе письма сверх Остенде можете вставить: Rue de Capucins, 16 — Белинскому ответ я написал, адресуя в poste restante.

Ваш Н. Г.

84. А. П. ТОЛСТОМУ

⟨Около 14 августа н. ст. 1847. Остенде.⟩

...Муханов мне сказывал, что вас смущает множество русских, наехавших в нашу гостиницу, в числе которых находится даже и литератор Белинский. Кстати о Белинском: я получил от него недавно письмо, которое, по словам его, само просилось вследствие моего приглашенья всем говорить мне правду. Письмо действительно чистосердечное и с тем вместе изумительное уверенностью в непреложность своих убеждений. Он видит совершенно одну сторону дела и не может даже подумать *равнодушно* о том, что существует и может существовать другая сторона того же дела. Я написал ему в ответ только то, что мы все еще плохо понимаем те вещи, о которых говорим, что прежде всего следует нам излечить себя от самоуверенности в себе и торопливости выводить заключения. Если вы встретите Анненкова, того самого, который — помните? — был у меня в Париже при вас, то, пожалуйста, спросите его, получил ли он мое письмо к нему, адресованное в poste pestante вместе с письмом к Белинскому, с которым он в дружеских отношениях.

Но прощайте. Тороплюсь отправить и царапаю так, что вы едва ли прочтете. Хомякова до сих пор еще нет из Лондона.

Графине душевный поклон.

Ваш Н. Г.

85. П. А. ПЛЕТНЕВУ

Остенде. Августа 24 ⟨н. ст. 1847⟩.

Твое милое письмецо (от 29 июля/10 августа) получил. Оставим на время всё. Поеду в Иерусалим, помолюсь, и тогда примемся за дело, рассмотрим рукописи и всё обделаем сами лично, а не заочно. А потому, до того времени, отобравши все мои листки, отданные комулибо на рассмотрение, положи их под спуд и держи до моего возвращения. Не хочу ничего ни делать, ни начинать, покуда не совершу моего путешествия и не помолюсь, как хочется мне помолиться, поблагодаря бога

за все, что ни случилось со мною. Теперь только, выслушавши всех, могу последовать совету Пушкина: «Живи один»и проч. А без того вряд ли бы мне пришелся этот совет, потому что все-таки для того, чтобы идти дорогой собственного ума, нужно прежде изрядно поумнеть. Сообразя все критики, замечания и нападенья, как изустные, так и письменные, вижу, что прежде всего нужно всех поблагодарить за них. Везде сказана часть какой-нибудь правды, несмотря на то что главная и важная часть книги моей едва ли, кроме тебя да двух-трех человек, кем-нибудь понята. Редко кто мог понять, что мне нужно было также вовсе оставить поприще литературное, заняться душой и внутренней своей жизнью для того, чтобы потом возвратиться к литературе создавшимся человеком и не вышли бы мои сочинения блестящая побрякушка.

Ты прав совершенно, признавая важность литературы (разумея в высоком смысле ее влиянья на жизнь). Но как много нужно, чтобы дойти до того, какое полное знание жизни, сколько разума и беспристрастия старческого, чтобы создать такие живые образы и характеры, которые пошли бы навеки в урок людям, которых бы никто не назвал в то же время идеальными, но почувствовал, что они взяты из нашего же тела, из нашей же русской природы! Как много нужно сообразить, чтобы создать таких людей, которые были бы истинно нужны *нынешнему времени!* Скажу тебе, что без этого внутреннего воспитанья я бы не в силах был даже хорошенько рассмотреть все то, что необходимо мне рассмотреть. Нужно очень много победить в себе всякого рода щекотливых струн, чтобы ничем не раздражиться, ни на что не рассердиться и уметь хладнокровно выслушивать всех и взвесить всякую вещь. Теперь я хоть и узнал, что *ничего не знаю*, но знаю в то же время, что *могу узнать* столько, сколько другой не узнает. Но обо всем этом будем толковать, когда свидимся. Постараюсь по приезде в Россию получше разглядеть Россию, всюду заглянуть, переговорить со всяким, не пренебрегая никем, как бы ни противоположен был его образ мыслей моему, и — словом — всё *пощупать самому*.

Напиши мне о своих предположениях на будущий год относительно тебя самого, равно как и о том, расстаешься ли ты с университетом. Признаюсь, мне жалко, если ты это сделаешь. Оставить профессорство — это я понимаю; но оставить ректорство — это, мне кажется, невеликодушно. Как бы то ни было, но это место почтенное. Оно может много возвыситься от долговременного на нем пребывания благородного, честного и возвышенного чувствами человека. Мне так становится жалко, когда я слышу, что кто-нибудь из хороших людей сходит с служебного поприща, как бы происходила какая-нибудь утрата в моем собственном благосостоянии. По крайней мере уже если оставлять это место, так разве с тем только, чтобы променять его на попечителя того же университета. Важнейшая государственная часть все-таки есть воспитанье юношества. А потому на значительных местах по министерству просвещения все-таки должны быть те, которые прежде сами были воспитатели и знают опытно то, что другие хотят постигнуть рассужденьем и умствованьями. А впрочем, ты, вероятно, уже все это обсудил и взвесил и знаешь, как следует поступить тебе. Во всяком случае об этом мне напиши. Письмо адресуй в Неаполь по-прежнему. Я пробуду там до февраля. Обнимаю тебя крепко.

Твой Н. Г.

86. П. В. АННЕНКОВУ

Остенде. Сентябрь 7 ⟨н. ст. 1847⟩.

...В письме вашем вы упоминаете, что в Париже находится Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди *всех партий* отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает и что предметом его наблюдений. Уведомьте меня, женат ли Белинский, или нет; мне кто-то сказывал, что он женился. Изобразите мне также портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о чело-

веке; как писателя я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем *замечательный* и обещает большую деятельность в будущем...

87. В. А. ЖУКОВСКОМУ

Неаполь. $\frac{\textit{1848 Генварь 10}}{\textit{1847 Декабрь 29}}$.

Виноват перед тобой, душа моя! Всякий день собираюсь писать — и непостижимая *неохота* удерживает. Передо мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучиться в школе. Но что рассказывать об этом! Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом *искусстве*, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник. Так как теперь предстоит мне путешествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грехи — здесь. Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю только то, что, прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало *главным и первым* в моей жизни, а все прочее *вторым*. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими

узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давал себе отчета (да и мог ли тогда его дать?), что должно быть предметом моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственные обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. Но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлению. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хандра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения — вот происхождение моих повестей! Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться — вот происхождение «Ревизора»! Это было первое мое произведение, замышленное с целью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узаконенный порядок вещей и правительственные формы, тогда как у меня было намерение осмеять только самоуправное отступленье некоторых лиц от форменного и узаконенного порядка. Представленье «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не по-

нявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшего своего дела. Уже давно занимала меня мысль *большого сочиненья*, в котором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурного в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами видней *свойство* нашей русской природы. Я видел и обнимал порознь много частей, но план целого никак не мог предо мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувствовал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни завязывать, ни развязывать событий и что мне нужно выучиться постройке больших творений у великих мастеров. Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать и приобретать даже их приемы и замашки,— а способность творить все не возвращалась. От напряженья болела голова. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить в свет первую часть «Мертвых душ», как бы затем, чтобы увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стремился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное состояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душевные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от самой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему прежде, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью внутреннему над человеком и над *душой человеческой*. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься *ближе* с тем, который один из всех доселе бывших на земле показал в себе полное познанье души человеческой, божественность которого если бы даже и отвергнул мир, то уж этого последнего свойства никак не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда сделается уже не *слеп*, а просто *глуп*. Этим крутым поворотом, происшедшим не от моей воли, наведен я был заглянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее высшие степени и явления.

С этих пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги «Переписка с друзьями», с которою (от радости, что расписалось перо) я так поспешил, не подумавши, что, прежде чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с толку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой книге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в которое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмотря на пристрастье суждений об этой книге и разномыслие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне место мое и границы, которых я, как писатель, не должен преступать.

В самом деле, не мое дело поучать проповедью. Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить *живыми образами*, а не рассужденьями. Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться достойным производителем искусства? Мог ли бы я выставить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое *душа человеческая?* Писатель, если только он одарен творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде как человек и гражданин земли своей, а потом уже принимайся за перо! Иначе будет все невпопад. Что пользы поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал ему противуположного прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недостоинство человеческое, если не задал самому себе запроса: в чем же достоинство человека? и не дал на это себе сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать исключенья, если еще не узнал хорошо те правила, из которых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить разрушить старый дом прежде, чем иметь воз-

можность выстроить наместо его новый. Но искусство не разрушенье. В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на не очищенное еще до сих пор понятие общества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное созданье искусства имеет в себе что-то успокоивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройного согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается в сердце движенье негодованья противу брата, но скорее в нем струится елей всепрощающей любви к брату. И вообще не устремляешься на *порицанье* действий другого, но на *созерцанье* самого себя. Если же созданье поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный горячий порыв, плод временного состоянья автора. Оно останется как примечательное явленье, но не назовется созданьем искусства. Поделом! Искусство есть примиренье с жизнью!

Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это *живые люди*, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные *народные* наши качества и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея простора свободно развиться, не всеми замечены и оценены так верно, чтобы каждый почувствовал их и в себе самом и загорелся бы желаньем развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам все дурные наши народные качества и свойства таким образом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе самом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить все омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначенье и внесет порядок и стройность в общество!

Итак, благословясь и помолясь, обратимся же силь-

ней, чем когда-либо прежде, к нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши все прочее на будущее время (когда бог удостоит быть достойным сколько-нибудь того), хочу заняться крепко «Мертвыми душами». Съезжу в Иерусалим (чего стало даже и совестно не сделать), поблагодарю, как сумею, за все бывшее. Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с богом за дело. Очень, очень бы хотелось, чтобы привел бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг другу теперь будет еще больше нужно, чем прежде.

Затем от всей души поздравляю тебя с Новым годом. Дай бог, чтоб был он нам обоим очень, очень плодотворен, плодотворнее всех прошедших. Прощай, мой родной! Целую тебя и обнимаю крепко. Пиши ко мне. Твое письмо еще застанет меня в Неаполе. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вместе с Рейтернами.

Твой Г.

Если письмо это найдешь не без достоинства, то прибереги его. Его можно будет при втором издании «Переписки» поставить впереди книги на место «Завещания», имеющего выброситься, а заглавье дать ему: «*Искусство есть примирение с жизнью*».

Все хочу спросить и все забываю: есть ли у тебя латинский надстрочный перевод «Одиссеи», напечатанный недавно в Париже вместе с подлинником. Весьма красивое издание. Весь Гомер в одном томе, в большую осьмушку. Editore Ambrosio Firmin Didot. Parisiis. 1846 [1]. Мне он показался весьма удовлетворительным и для тебя полезнейшим прочих.

Адрес мой: в Неаполь, poste restante, или, еще лучше, в hôtel de Rome [2], а чтоб не попало письмо в город Рим, слово Неаполь нужно выставить позаметней.

---

[1] Издатель Амброзио Фирмин Дидо. Париж. 1846 (*лат.*)
[2] Отель «Рим» (*франц.*).

88. П. А. ПЛЕТНЕВУ

Москва. 20 ноября ⟨1848⟩.

Здоров ли ты, друг? От Шевырева я получил экземпляр «Одиссеи». Ее появленье в нынешнее время необыкновенно значительно. Влияние ее на публику еще вдали; весьма может быть, что в пору нынешнего лихорадочного состоянья большая часть читающей публики не только ее не разнюхает, но даже и не приметит. Но зато это сущая благодать и подарок всем тем, в душах которых не погасал священный огонь и у которых сердце приуныло от смут и тяжелых явлений современных. Ничего нельзя было придумать для них утешительнее. Как на знак божьей милости к нам должны мы глядеть на это явление, несущее ободренье и освеженье в наши души. О себе покуда могу сказать немного: соображаю, думаю и обдумываю второй том «Мертвых душ». Читаю преимущественно то, где слышится сильней присутствие русского духа. Прежде чем примусь серьезно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и речью. Боюсь нагрешить противу языка. Как ты? Дай о себе словечко. Поклонись всем, кто любит меня и помнит.

Весь твой Н. Гоголь.

89. С. М. СОЛЛОГУБ

Мая 24 ⟨1849. Москва⟩.

Как вы меня обрадовали вашими строчками! Да наградит вас за них бог. День 22 мая, в который я получил ваше письмо, был один из радостнейших дней, каких я мог только ожидать в нынешнее скорбное мое время. Если бы вы видели, в каком страшном положении была до полученья его душа моя, вы бы это поняли. Приехал я в Москву с тем, чтобы засесть за «Мертвые души», с окончаньем которых у меня соединено было все и даже средства моего существованья. Сначала работа шла хорошо, часть зимы провелась отлично, потом опять отупела голова; не стало благодатного настроения и высоко-

го размягчения душевного, во время которого вдохновенно совершается работа. И все во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело. Я впал в досаду, в хандру, чуть не в злость. Не было близких моему сердцу людей, которых бы в это время я не обидел и не оскорбил в припадке какой-то холодной бесчувственности сердца. Я действовал таким образом, как может только действовать в состоянье безумия человек, и воображая в то же время, что действую умно. Но бог милосерд. Он меня наказал нервическим сильным расстройством, начавшимся с приходом весны, болезнью, которая для меня страшнее всех болезней, после которой, однако же, если я выносил ее покорно и смирялся, наступало почти всегда благодатное расположение. Внезапно растопившаяся моя душа заныла от страшной жестокости моего сердца. С ужасом вижу я, что в нем лежит один эгоизм, что, несмотря на уменье ценить высокие чувства, я их не вмещаю в себе вовсе, становлюсь хуже, характер мой портится, и всякий мой поступок уже есть кому-нибудь оскорбление. Мне страшно теперь за себя так, как никогда доселе. Скажу вам, что не один раз в это время я молил заочно и мысленно Анну Михайловну и вас молиться за меня крепко и крепко. Не знаю, слышали ли это ваши сердца. Но всякий раз, когда я представлял себе мысленно вас обеих, молящихся обо мне, мне становилось легче, и надежда на милосердье божье во мне пробуждалась. Вы спрашиваете меня, что буду делать с собою и куда двинусь. Сам не знаю. Передо мною одно безбрежное море. Чувствую только, что мне нужно куда-нибудь ехать, потому что дорога была бы полезна для нерв моих, куда — не знаю. Не оставляйте меня, добрая моя Софья Михайловна. Одна небольшая весточка о том, что вы делаете теперь все в Павлине, одно описание дня вашего принесет мне много, много утешенья. Если бы вы знали, как вы все до единого стали теперь ближе моему сердцу, чем когда-либо прежде, и когда я воображу себе только, как мы снова увидимся все вместе и я прочту вам мои «Мертвые души», дух захватывает у меня в груди от радости. Нервическое ли это расположение, или истинное чувство, я сам не могу решить.

Расцелуйте бесценные, добрые, милостивые ручки у графини и у Анны Михайловны. Бог да сохранит невредимыми всех вас.

Ваш весь Н. Г.

Владимира Александровича я видел. Как только узнал, что он в Москве, тот же час, несмотря на хворость свою, поспешил к нему. Кроме того, что мне приятно было собственно его видеть, я бы обрадовался всякому человеку, от которого мог бы что-нибудь о вас узнать. Ради Христа, не позабывайте меня! Как я бессилен, как слаб и как мне нужна теперь помощь!

Обнимите Веневитиновых. Я их смутил неуместным письмом. Что ж делать, утопающий хватается за все.

90. В. А. ЖУКОВСКОМУ

⟨Осень 1849. Москва.⟩

Миллион поцелуев и ничего больше! Известие об оконченной и напечатанной «Одиссее» отняло язык. Скотина Чичиков едва добрался до половины своего странствования. Может быть, оттого, что русскому герою с русским народом нужно быть несравненно увертливей, нежели греческому с греками. Может быть, и оттого, что автору «Мертвых душ» нужно быть гораздо лучше душой, нежели скотина Чичиков. Письмо напишу — и будет длинное.

Твой Н. Гоголь.

91. К. И. МАРКОВУ

Четверг ⟨3 декабря 1849. Москва⟩.

Очень вам благодарен за ваше письмо. На прежнее не отвечал по незнанью вашего адреса. Что же касается до второго тома «Мертвых душ», то я не имел в виду собственно *героя добродетелей*. Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков.

Дело только в том, что характеры *значительнее* прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни, нами опошленной, обнаружив видней русского человека не с *одной* какой-либо *стороны*. О прочих пунктах письма вашего переговорим когда-нибудь лично; мы же, кажется, соседи.

Искренне благодарный за ваши заметки

Н. Гоголь.

92. П. А. ПЛЕТНЕВУ

Москва. Генваря 21. 1850.

Не могу понять, что со мною делается. От преклонного ли возраста, действующего в нас вяло и лениво, от изнурительного ли болезненного состояния, от климата ли, производящего его, но я просто не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню. Встаю рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все прочие дела, даже письма к людям близким,— и при всем том так немного из меня выходит строк! Кажется, просидел за работой не больше как час, смотрю на часы — уже время обедать. Некогда даже пройтись и прогуляться. Вот тебе вся моя история. Конец делу еще не скоро, то есть разумею конец «Мертвых душ». Все почти главы соображены и даже набросаны, но именно не больше, как *набросаны*; собственно, написанных две-три, и только. Я не знаю даже, можно ли творить быстро собственно художническое произведение. Это разве может только один бог, у которого все под рукой: и разум и слово с ним. А человеку нужно за словом ходить в карман, а разума доискиваться. У Смирновой я, точно, прогостил осенью. Не писал о ней потому, что полагал тебя знающим насчет ее через Аркадия Осиповича Россета, которому при сей верной оказии передай мой душевный поклон. Она вначале более тосковала и больше хворала. В последнее же время, как мне показалось, она чувствовала себя лучше. Всего больше меня порадовало то, что она принялась именно за то дело, за которое всякая женщина, по-моему, должна бы приняться

с самого начала, то есть за хозяйство и всякие экономические заботы по имению. Теперь я слышу, что она их продолжает и за ними не скучает. От этого и самое здоровье ее, говорят, лучше. Так мне о ней рассказывали видевшие ее еще недавно в Калуге. Дочери у ней вышли очень миленькие, обе почти невесты, вторая даже красавица. Воспитываются хорошо благодаря гувернантке, мисс Овербек, уединенью и близости от жизни деревенской. Как живешь ты? с кем видаешься и о чем разговариваешь чаще? Передай поклон милой супруге своей и милой дочери. На меня не сердись и люби, потому что я также тебя люблю, а письмо — дрянь. Оно никогда не может выразить и десятой доли человека. Поэтому-то я никогда не сержусь на друга, если он напишет письмо коротенькое и не так обстоятельно, как бы хотелось. У меня правило — всякое письмо считать подарком, а дареному коню в зубы не смотрят. Прощай. Хотел было просить тебя взять из ломбарда последний куш денег. Но раздумал. Пусть их лежат, авось как-нибудь изворочусь. Впрочем, уведоми, можно ли брать по частям, или нет.

Твой весь Н. Г.

93. С. Т. АКСАКОВУ

‹Октябрь 1851. Москва.›

Слава богу за все! Дело кое-как идет. Может быть, оно и лучше, если мы прочитаем друг другу зимой, а не теперь. Теперь время еще какого-то беспорядка, как всегда бывает осенью, когда человек возится и выбирает место, как усесться, а еще не уселся. Месяца через два мы, верно, с божьей помощью приведем в больший порядок тетради и бумаги, тогда и чтенье будет с большим толком и с большей охотой. Обнимаю вас от всей души. Здоровье приберегайте, да и приготовляйтесь тоже понемногу к сооружению конторки для писанья, предоставляя работу, требующую силы, Константину Сергеевичу, а все, что относится до аккуратности и мелкой отделки, себе.

Ваш весь Н. Г.

94. А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ

Москва. 16 декабря ⟨1851⟩.

Благодарю тебя за письмо, которое было так отрадно утешительным описанием прекрасной кончины Михаила Алексеевича Литвинова. Да утешит бог и всех таким светлым расставаньем с жизнью. Не гневайся, что мало пишу: у меня так мало свежих минут и так в эти минуты торопишься приняться за дело, которого окончанье лежит на душе моей и которому беспрестанно помехи, что я ни к кому не успеваю писать. Все, так же как ты, меня упрекают. Второй том, который именно требует около себя возни, причина всего, ты на него и пеняй. Если не будет помешательств и бог подарит больше свежих расположений, то, может быть, я тебе его привезу летом сам, а может быть, и в начале весны.

Твой весь Н. Гоголь.

Ульяне Григорьевне, Александру Михайловичу и всему дому душевный поклон. А ты пиши и описывай весь свой день, тебе ведь не на что сложить вину, чтобы хоть заочно побыть с тобой несколько минут вместе.

95. С. Т. АКСАКОВУ

⟨Начало января 1852. Москва.⟩

Поздравляю вас от всей души, что же до меня, то хотя и не могу похвалиться тем же, но если бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь.

Ваш весь Н. Г.

96. С. Т. АКСАКОВУ

⟨Начало января 1852. Москва.⟩

Очень благодарю за ваши строчки. Дело мое идет крайне тупо. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда моя на бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновенье.

Ваш весь Н. Г.

Обнимаю вместе с вами весь дом ваш.

ПРИМЕЧАНИЯ

I

Статьи и письма Гоголя составляют существенную часть его литературного наследия. Гоголь был не только гениальным художником, умевшим воссоздавать в пластических образах самую суть явлений действительности и человеческих характеров. Он был также критиком, обладавшим способностью мыслить смело и проницательно, ему в высокой степени было свойственно понимание эстетической ценности произведений литературы и искусства, уменье точно и верно определить их значение. Суждения Гоголя-критика всегда отличались независимостью и оригинальностью. В его статьях и письмах нашли яркое выражение его глубочайшая заинтересованность в судьбах своего народа, забота о развитии русской национальной культуры и литературы. Многие из высказываний Гоголя о народных песнях, о произведениях Фонвизина, Грибоедова, Пушкина и других русских писателей, а также о своем собственном творчестве получили широкую известность и прочно вошли в историко-литературную традицию. Подобно Пушкину, Гончарову, Некрасову, Тургеневу, Щедрину, Гоголь навсегда вписал свое имя в историю русской критики.

Круг интересов Гоголя-критика был широк и многообразен. Его привлекали общие проблемы искусства, а также вопросы об особенностях и значении отдельных видов искусства— скульптуры, архитектуры, живописи; длительное увлечение Гоголя историей привело к созданию ряда статей на темы как всеобщей истории, так и истории Украины. Работа писателя над комедиями обостряла его интерес к театру,— в своих статьях он дал замечательный по глубине и верности взгляда анализ современного ему состояния театрального искусства и опреде-

лил пути дальнейшего развития русского национального театра и драматургии. Не прошел Гоголь и мимо острых вопросов журналистики и литературной критики. Но особенно содержательными были суждения Гоголя о литературе, потому что литература была его призванием и проблемы искусства волновали его прежде всего как писателя, стремящегося осмыслить цели и задачи своего собственного творчества, и вместе с тем определить общественное значение литературы в целом.

Через всю свою жизнь Гоголь пронес сознание огромной моральной ответственности писателя перед народом, перед обществом, перед потомством. Еще в ранней статье «Борис Годунов» молодой писатель обращался к создателю гениальной трагедии с взволнованными словами: «Великий! над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу». О высокой требовательности писателя к себе Гоголь неоднократно писал и позднее. И даже в пору тяжелого идейного кризиса, издавая «Выбранные места из переписки с друзьями», он вновь возвращался к этим столь важным для него мыслям: «Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще... Обращаться с словом нужно честно».

В основе всех этих высказываний лежало выработанное Гоголем еще в юношеские годы убеждение в общественном значении литературы, понимание писательского труда как благородного служения обществу. Позднее безграничная любовь к русскому народу, к России внушила Гоголю вдохновенные лирические строки в заключительной главе первого тома «Мертвых душ»; с не меньшей силой выражал Гоголь это чувство в своих письмах из-за границы, куда он уехал в 1836 году, не будучи в состоянии «выносить надменную гордость безмозглого класса людей», «наших судий, меценатов, ученых умников, благородного аристократства». В письме к Погодину из Рима от 30 марта 1837 года великий русский писатель говорит о своей любви к родине: «Или я не люблю нашей неизмеримой, нашей родной русской земли? Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства пред-

почел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны?»

Гоголь горячо и преданно любил Россию, «нашу русскую Россию», но «не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские», а ту «прекрасную Русь», которая воплощалась для него в широкой, талантливой натуре русского народа, в сокровищах русской народной речи. Русский язык Гоголь считал «полнейшим и богатейшим всех европейских языков». Он презирал писателей, пресмыкавшихся перед иноземными образцами, видя силу русской литературы в ее самобытности, правдивости и народности.

II

Статьи и письма Гоголя, рассматриваемые в их хронологической последовательности, раскрывают процесс становления эстетических и литературно-критических взглядов писателя, процесс, который в своих основных этапах соответствует развитию его художественного творчества.

Ранние статьи Гоголя, как ненапечатанные, так и вошедшие в состав «Арабесок», написаны в большинстве своем между 1831 и 1834 годами. Это были годы быстрого творческого роста писателя, когда его гений креп и мужал, когда юношеская восторженная мечтательность под влиянием первых столкновений с жестокой и неприглядной действительностью уступала место трезвому и скорбно-суровому воззрению на жизнь. Это освобождение от юношеских иллюзий, начавшееся в период работы над «Вечерами» и с особенной силой сказавшееся в обращении к темам «Миргорода» и повестей «петербургского» цикла, можно проследить и в статьях Гоголя по вопросам литературы, искусства и истории, написанных в эти же годы. Настроения юноши-романтика, увлекаемого своими мечтами в область высоких идей и образов, рожденных искусством прошлых веков, окрашивают многие из этих статей. Здесь мы находим и идеализацию древнего мира и средневековья, и характерное для романтиков признание музыки высшим видом искусства, и восторженное восприятие готической архитектуры с ее отталкиванием от всего земного и идеальной устремленностью ввысь, к небу. Однако Гоголь никогда не был законченным ро-

мантиком. Сближаясь с романтиками в своих ранних эстетических вкусах, Гоголь не мог, подобно им, встать на путь ухода от реальной действительности. В сознании Гоголя уже в молодые годы накапливалась острая ненависть к житейской пошлости, к дикому невежеству и самодовольному эгоизму помещичье-дворянской среды, к духу корыстолюбия, приобретательства и наживы, к черствости и бездушию мира петербургских чиновников, к тупому и чванному светскому обществу. И эта ненависть рождала в нем настойчивое стремление понять и познать действительность, воссоздать ее во всей ее «наготе», чтобы тем самым бороться с ней во имя счастья человека. Именно поэтому писатель, вступивший на литературное поприще, как автор сентиментально-романтической идиллии «Ганц Кюхельгартен», в дальнейшем решительно становится на путь реализма и приобретает славу одного из величайших в мире художников-сатириков.

Точно так же и в статьях Гоголя середины 30-х годов решительно побеждают идеи реализма и народности. Об этом нагляднее всего свидетельствуют лучшие, наиболее зрелые статьи из «Арабесок» — «О малороссийских песнях» и «Несколько слов о Пушкине».

Неутомимый собиратель и глубокий знаток украинской и русской народной поэзии, Гоголь высоко ценил пословицы, «в которых видна необыкновенная полнота народного ума», и особенно песни родного ему украинского народа. Восторженную характеристику их он дал в названной выше статье. «Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа»,— писал он, находя в песнях полное и совершенное отражение подлинной исторической жизни народа, его «говорящую, звучащую о прошедшем летопись». В этом определении Гоголь выразил глубокое понимание реалистичности и народности устного художественного творчества, не имевшее ничего общего с господствовавшими в то время романтическими воззрениями на фольклор. Вместе с письмами Гоголя к родным, относящимися к 1829—1830 годам, и с позднейшими письмами 1833—1834 годов к Максимовичу, Срезневскому, Погодину и другим современникам, статья Гоголя дает исчерпывающее представление о том, как живо интересовался он фольклором и какими проницательными были его суждения о памятниках народно-поэтического творчества.

Идеи народности и реализма были руководящими для Гоголя и в оценке творчества Пушкина, с его простотой, с его ге-

ниальным мастерством поэтического воссоздания правдивых картин повседневной действительности. Смело и уверенно Гоголь указал в своей статье на народность Пушкина, решительно восстав против различных ложных воззрений критиков, видевших народность «в описании сарафана», а не «в самом духе народа». Гоголь первым в русской критике дал здесь замечательное определение Пушкина как великого русского национального поэта: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему... Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Гоголь первый определил «богатство, силу и гибкость» пушкинского языка, оценил его лаконизм: «Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт».

Преклоняясь перед «смелостью кисти», «широким размахом» ранней поэзии Пушкина, «напитанной Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма», Гоголь, вопреки мнению всей русской критики начала 30-х годов, не сумевшей понять величия зрелого пушкинского реализма, доказывает правоту поэта, который «погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников». И далее Гоголь, сам уже окончательно утвердившийся на позициях реалистического искусства, формулирует задачи писателя-реалиста. По его мнению, одинаковое право на внимание поэта имеет не только «дикий горец в своем воинственном костюме», но и какой-нибудь «наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ». Защищая вслед за Пушкиным право писателя на изображение обыкновенных явлений жизни, Гоголь утверждает: «Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».

Статья Гоголя о Пушкине — это самое значительное и верное истолкование творчества великого поэта, какое было дано в русской критике до знаменитых статей Белинского. Недаром Белинский так высоко ценил и неоднократно цитировал эту

статью, особенно ту ее часть, где Гоголь говорит о национальном значении Пушкина и о народности его творчества.

К оценке Пушкина, отдельных его произведений, его роли в развитии творчества самого Гоголя писатель неоднократно обращается и в последующие годы: в письмах 1837 года — откликах на известие о гибели Пушкина, в ряде статей книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (например, в статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»). Во всех этих позднейших суждениях о Пушкине он неизменно исходит из тех важнейших идей, которые были впервые высказаны им в статье «Несколько слов о Пушкине».

III

К 1835—1836 годам дружба и творческая близость Гоголя и Пушкина, начало которой относится к 1831 году, окрепла и упрочилась. Пушкин высоко ценил в Гоголе не только талант художника, но и его критическое дарование и сочувственно относился к его интересам в этой области. В дневнике Пушкина сохранилась запись от 7 апреля 1834 года: «Гоголь, по моему совету, начал историю русской критики». Естественно, что Пушкин привлек Гоголя к участию в своем журнале «Современник», начавшем выходить в свет с 1836 года. В первой книге «Современника» были напечатаны повесть Гоголя «Коляска», большая его статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и ряд рецензий на вновь вышедшие книги. (Эти рецензии составили почти целиком библиографический отдел этой книжки журнала.) Дальнейшее активное сотрудничество Гоголя-критика в «Современнике» прекратилось в связи с его отъездом за границу. Но связь его с журналом Пушкина на этом не оборвалась: в третьей книжке «Современника» Пушкин напечатал повесть Гоголя «Нос», сопроводив ее своим одобрительным примечанием (см. об этом в т. 3 наст. изд.). А в шестой книге «Современника», выпущенной в 1837 году, уже после смерти Пушкина, его друзьями, появилась большая статья Гоголя «Петербургские записки 1836 года», которая предназначалась ранее для первой книги журнала и, конечно, была одобрена Пушкиным, читавшим ее в рукописи.

В статье о журнальной литературе Гоголь выступил как соратник Пушкина в его борьбе с реакционной журналистикой, с мелочной, безыдейной критикой, которая господствовала на

страницах периодических изданий в годы, последовавшие за разгромом декабристов. О близости их литературных позиций красноречиво свидетельствует уже одно из ранних писем Гоголя к Пушкину от 21 августа 1831 года, где он, подхватывая стиль и манеру пушкинских памфлетов против Булгарина, набрасывает живой и остроумный проект «эстетического разбора» «правоописательного» романа Булгарина «Петр Иванович Выжигин» (см. наст. том, стр. 290—291).

Статья «О движении журнальной литературы», написанная несколькими годами позже,направлена своим острием также против столпов тогдашней реакционной журналистики: Сенковского, Булгарина, Греча и им подобных. Сосредоточив главное свое внимание на разборе «Библиотеки для чтения» и дав краткие оценки «Северной пчелы», «Сына отечества и Северного архива» и некоторых других изданий, Гоголь приходит к выводу, что за последние два года резко обозначилось «отсутствие журнальной деятельности и живого современного движения»: «Бесцветность была выражением большей части повременных изданий», «между тем как именно в это время была заметна всеобщая потребность умственной пищи и значительно возросло число читающих».

В противоположность Шевыреву, заявившему на страницах «Московского наблюдателя» (в статье «Словесность и торговля»), что главное зло современной литературы заключается в ее подчинении законам торговли, Гоголь утверждает, что причину упадка современной журнальной литературы надо искать в другом: в ее безыдейности, в крайней мелочности содержания, в отсутствии направляющего начала в руководстве журналами, в равнодушии ко всему «великому и замечательному», что было в литературе, наконец в той «монополии», которая утвердилась в журнальной жизни с появлением «Библиотеки для чтения».

В резких критических замечаниях об этом журнале, руководимом Сенковским (см. ниже, в комментариях к этой статье), в метких, хотя и кратких характеристиках ряда других журналов и газет Гоголь преследует не только негативную цель — показать ничтожество тогдашней журналистики. За колкими упреками и суровыми обвинениями внимательный читатель мог без труда распознать положительные взгляды Гоголя, найти ответ на вопрос, каким же, по его мнению, должен быть литературный журнал, какой должна быть в нем критика.

Гоголь исходит из мысли, что журнал в своей деятельности должен иметь «направление», «определенный тон, одно уполномоченное мнение», а не быть «складочным местом всех мнений и толков»; ему должна быть присуща «современная живость», «оригинальность мнений». Это свойство живости и современности составляет, по мысли Гоголя, непременное требование и к содержанию критических статей, помещаемых в журналах. Критика должна быть не «мелочной» и поверхностной: ее задача — говорить о «внутреннем характере» разбираемого сочинения, определять «верными и точными чертами его достоинства». Критика должна быть основана «на глубоком вкусе и уме» — тогда она будет иметь «равное достоинство со всяким оригинальным творением». Авторы критических статей и рецензий обязаны в своих оценках руководствоваться не случайными пристрастиями, а «убеждением» и верным эстетическим вкусом; критик должен быть человеком «мыслящим», в его статьях читатель должен находить «новые мысли» и «следы глубокого, добросовестного изучения». Критика не имеет права быть «равнодушной» и «невежественной», она должна иметь «собственное мнение» и уважать его, понимать ответственность перед читателем за «каждое свое слово». Такой мыслит себе Гоголь «журнальную литературу», «свежую, говорливую, чуткую», призванную быть «верным представителем мнений целой эпохи и века».

Эта продуманная система взглядов на журналистику, стройная программа требований к литературной критике, наряду с живым, страстным изложением, и сделали статью Гоголя замечательным литературным явлением, привлекли к ней всеобщее внимание. По свидетельству И. И. Панаева, статья эта вызвала шум в литературе, горячие споры, столкновение мнений. Среди тех, кто высоко оценил статью, был Белинский, отметивший ее «резкий и благородный тон», «смелые и беспристрастные отзывы о наших журналах, верный взгляд на журнальное дело» (см. также в комментариях к статье, на стр. 469). Революционно-демократическая критика и позднее отмечала достоинства этой статьи Гоголя. На рубеже 60-х годов Чернышевский, работавший тогда над «Очерками гоголевского периода русской литературы», широко использовал ее при характеристике литературно-журнальной жизни 30-х годов, считая, что основные положения статьи не утратили своего значения и через двадцать лет после ее опубликования. В главе «Очерков»,

посвященной оценке деятельности Сенковского, Чернышевский писал: «Внимательный читатель заметит, что вся настоящая статья есть только развитие относящихся к барону Брамбеусу эпизодов из статьи Гоголя «О движении журнальной литературы», а во многих местах должна быть названа только парафразом слов Гоголя» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., М. 1947, т. III, стр. 75).

Другая большая статья Гоголя, относящаяся к этому же периоду, — «Петербургские записки 1836 года», — также имела программное значение и явилась своеобразным манифестом в его борьбе за русский национальный реалистический театр. Как известно, интерес Гоголя к театру пробудился у него еще в ранние годы, когда он мальчиком мог наблюдать в имении Д. П. Трощинского Кибинцах спектакли, в которых деятельное участие принимал его отец В. А. Гоголь. В гимназии театр стал одним из самых сильных увлечений Гоголя и его ближайших товарищей. Спектакли, в которых Гоголь участвовал как актер, постановщик и декоратор, знакомство с пьесами русских авторов конца XVIII — начала XIX века, с классическими произведениями европейской драматургии, чтение журнальных статей и рецензий по вопросам театра, — все это глубже вводило юношу Гоголя в атмосферу современной ему театральной жизни и способствовало формированию его взглядов на сценическое искусство. Переезд в Петербург, частое посещение столичных театров и, наконец, собственный авторский опыт в области создания комедии, завершившийся в 1836 году написанием «Ревизора» и постановкой его на сцене, — таковы были предпосылки, обусловившие для Гоголя необходимость развернутого печатного выступления по важнейшим вопросам театра и драматургии его эпохи.

Как и в размышлениях о журнальной литературе, Гоголь в статье «Петербургские записки» наряду с суровой оценкой русского театра 30-х годов раскрывает свое понимание общественного значения театрального искусства и выдвигает свои требования к театру, намечая широкую программу дальнейшего развития драматического и музыкального театра в России.

Характеризуя современный репертуар русского театра, на сцене которого господствовали пустые, бессмысленно-смешные водевили, переведенные или переделанные с французских образцов, и эффектные мелодрамы, поражающие пестрым нагромождением «странных происшествий» и «диких страстей»,

Гоголь ставит это в связь со всеобщим упадком и измельчанием европейского театра, предавшего забвению великие традиции Мольера, Лессинга, Шиллера. «Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...»

Из убеждения Гоголя в общественно-воспитательном значении театра вытекают и его требования к репертуару, главное место в котором должны занять «величавая трагедия, вдыхающая невольно высокие ощущения в согласные сердца», и «комедия — верный список общества, движущегося пред нами, комедия строго обдуманная, производящая глубокостью своей иронии смех — не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубою толпою общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом». Зритель должен видеть на сцене не «маркизов, виконтов и баронов», не «сцены балов, вечеров и модных раутов», не «кунсткамеру» неслыханных и невиданных происшествий, а подлинную «нашу жизнь», живого человека со всеми его «современными страстями и странностями». Как бы перефразируя собственные мысли из статьи о Пушкине, Гоголь замечает: «Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность».

Наряду с требованиями жизненной правды и высокой идейности Гоголь выдвигает третье, не менее значительное в его глазах требование к театру — он должен быть национальным, русским театром, а не сколком с чужеземных образцов. «Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков!» И далее: «Право, пора знать уже, что одно только

верное изображение характеров, не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек»,—только такое изображение приносит существенную пользу».

Обращаясь к театру музыкальному, Гоголь приветствует только что появившегося «Ивана Сусанина» Глинки и видит в нем «прекрасное начало», первую русскую оперу, составленную «из наших национальных мотивов». Он напоминает о безмерном песенном богатстве русского и украинского народов и патетически спрашивает: «У нас ли не из чего составить своей оперы?» Говоря о балете, Гоголь также выдвигает новую и плодотворную идею: в народных танцах с их национальной характерностью и бесконечным разнообразием он видит богатейший и неисчерпаемый источник для создания будущих балетов. И еще одну мысль Гоголя следует подчеркнуть: он призывает не к копированию народных мелодий и танцев, а к их творческому преображению силой «музыкального гения», который «из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму».

Статья «Петербургские записки 1836 года» прочно вошла в историю русской театральной критики, заняв в ней видное место наряду со статьями, обзорами и рецензиями Белинского, который в своих суждениях о русском театре, его современном состоянии и путях будущего развития во многом опирался на те же идеи, что и Гоголь. Близость их эстетических взглядов и в этой области является бесспорной.

Основные положения, высказанные Гоголем в этой статье, были им разработаны в его позднейших обращениях к проблемам театра и драматургии («Театральный разъезд», «Отрывок из письма к одному литератору...» и др.). Многочисленные письма, в которых Гоголь часто и охотно делился со своими друзьями мыслями о театре, о комедии, об искусстве актера, рассказывал о впечатлениях от парижских театров и т. д., служат необходимым дополнением к его статьям и произведениям, посвященным вопросам драматургии и театра.

IV

Прогрессивные идеи, решительно преобладавшие в сознании Гоголя в пору расцвета его гения, были позднее вытеснены реакционными идеями, которые нашли наиболее резкое выраже-

ние в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Эта трагедия великого реалиста была обусловлена сложными причинами, коренившимися как в общем характере исторического развития России в 30—40-е годы XIX века, так и в некоторых обстоятельствах жизни самого Гоголя. В ту пору глухое, но все усиливающееся брожение народных масс расшатывало устои самодержавно-крепостнического строя в России. После разгрома декабристов и установления в стране реакционного режима Николая I лучшие люди России становились поборниками освободительных идей, а наиболее последовательные из них, как Белинский и Герцен, быстро шли по пути формирования революционных воззрений, противопоставляя самодержавию и крепостничеству идеалы демократии и социализма. В этих условиях обострения социальных противоречий Гоголь не смог найти в себе силы для решительного разрыва с господствующим классом. Уехав за границу, он оказался оторванным от русской действительности, от жизни русского народа. Оставшись духовно одиноким после смерти Пушкина, он все более подпадал под влияние своих друзей из реакционного лагеря — Погодина, Шевырева, Аксаковых, Жуковского, Плетнева,— которые всеми средствами препятствовали его сближению с Белинским и его кругом. Отказавшись в результате сложного идейного кризиса от обличения и сатиры, встав на ложный путь проповеди религиозно-нравственного совершенствования личности и утверждения справедливости самодержавно-крепостнического порядка, Гоголь неизбежно оказывался пособником реакционных, охранительных кругов, которые с злорадным торжеством встретили этот болезненный перелом в сознании писателя, чье творчество давно уже стало знаменем прогрессивных демократических сил молодой России.

Страстный, негодующий голос протеста против реакционных идей новой книги Гоголя прозвучал на всю Россию со страниц письма Белинского, отправленного им Гоголю из Зальцбрунна 3/15 июля 1847 года. Письмо это было, по словам В. И. Ленина, «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати...» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 223—224). Называя Гоголя-художника одним из великих вождей своей страны «на пути сознания, развития, прогресса», Белинский с гневом писал: «...великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возмож-

ность взглянуть на себя самое как будто в зеркале,— является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*.. И это не должно было привести меня в негодование?..» (В. Г. Белинский, т. X, стр. 213—214)[1].

Обрушивая на Гоголя полные горького сарказма обвинения, Белинский вместе с тем призывал его вернуться на прежний путь писателя-реалиста, искупить свою вину перед народом «новыми творениями, которые напоминали бы» его прежние «истинно великие произведения».

В письме к Гоголю Белинский сосредоточил всю силу своего пафоса революционера-демократа, весь пыл своего негодования на критике реакционного общественно-политического содержания книги Гоголя и лишь мимоходом коснулся его высказываний о литературе и театре, образно отметив противоречивость и непоследовательность этих высказываний, автор которых желал «поставить по свече» и своему «византийскому богу» и «сатане». В этом вскользь брошенном замечании Белинский был полностью прав: воззрения Гоголя на литературу и искусство, нашедшие свое выражение в «Переписке» и в примыкающих к ней по времени других статьях — «О «Современнике», «Авторская исповедь», статья об искусстве, облеченная в форму письма к Жуковскому и написанная на рубеже 1847—1848 годов (см. наст. том, стр. 425—430),— полны непримиримых противоречий. Не будучи в силах отказаться от многих прежних своих идей и оценок и прежде всего от признания великой общественной роли искусства, Гоголь пытается сочетать их с общими религиозно-аскетическими, реакционными идеями, которые определили в целом характер и содержание «Выбранных мест из переписки с друзьями».

После долгих лет, заполненных мучительными раздумьями и смятением мыслей, Гоголь вновь обращается к волновавшим его всегда современным проблемам русской литературы, журналистики, театра, искусства вообще. При всей противоречивости литературных и эстетических высказываний Гоголя второй половины 40-х годов многие из них не утратили своего значения до сих пор. Но для правильного их понимания

---

[1] Здесь и далее все цитаты из статей и писем В. Г. Белинского даются по тексту Полного собрания сочинений, изд. Академии наук СССР, тт. I—XII, М. 1953—1956.

они должны быть освобождены от шелухи предвзятых мнений, ложных или наивных суждений, вытекавших из общих реакционных позиций Гоголя, которые вызвали гневный и страстный отпор со стороны Белинского и всей передовой русской общественности.

Эти антинародные позиции писателя нашли свое выражение, например, в статье «О лиризме наших поэтов», где он утверждает, что русским поэтам — Ломоносову, Державину, Пушкину — удавалось подняться до высокого, строгого лиризма, «близкого к библейскому», когда они вдохновлялись двумя предметами—«любовью к отечеству» и «любовью к царю», когда они «прозревали значенье высшее монарха». В статье «О театре...» он приписывает Пушкину идеи религиозной веры и христианского смирения, а в искусстве театра, «если он будет обращен к своему высшему назначению», видит возможность служить «незримой ступенью к христианству». Придя в годы кризиса к отказу от своих собственных сатирических произведений, Гоголь пытается в «Выбранных местах» оправдать это общим тезисом: «Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирой ничего не возьмешь...» Вступая в противоречие со всем строем современной русской жизни и с тенденциями ее развития, Гоголь стремится придать выходу в свет «Одиссеи», переводимой Жуковским, значение исключительного события для русского общества. Исходя из моралистического истолкования «Одиссеи», видя в ней выражение «величавой патриархальности древнего быта», Гоголь думает, что ее появление «произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще», потому что в ней оно найдет пример «строгого почитания обычаев», «благоговейного уважения власти и начальников», потому что она поможет современному обществу отвратить свое внимание от «всяких неперепаривщихся идей, нанесенных политическими и прочими броженьями».

Если бы в своей книге Гоголь лишь замкнулся в кругу подобных воззрений, она не представляла бы никакого интереса для нашего читателя, она оставалась бы только печальным памятником заблуждений и ошибок ее автора. Но среди множества явных заблуждений, натянутых выводов, парадоксальных суждений читатель находит в некоторых главах «Выбранных мест из переписки с друзьями» мысли, живо напоминающие прежнего Гоголя, блещущие гоголевским умом и талантом. Это относится главным образом к двум статьям:

«О театре...» и «В чем же, наконец, существо нашей поэзии...».

Защищая в первой из них дорогое ему искусство от нападок со стороны святош и фанатиков, Гоголь опирается на давно выработанное им убеждение в огромном значении театра для воспитания общества и почти дословно повторяет здесь данное еще в «Петербургских записках» определение театра как «кафедры». Так же как и в статье 1836 года, он противопоставляет «пустым и легким пьесам» и «гнилым мелодрамам», наводнившим современную ему сцену, «высокую трагедию и комедию», истинно классические образцы которых он видит в творениях Шекспира, Шеридана, Мольера, Гете, Шиллера, Бомарше, Лессинга. Задачу театра он видит в том, чтобы эти великие произведения драматического искусства «сделать вновь свежими, новыми», чтобы продуманной постановкой их на сцене привлечь к ним внимание публики и раскрыть в полной мере их «нравственное, благотворное влияние». Так же как и в прежних своих письмах к Щепкину, Гоголь утверждает здесь мысль о том, что главенствующее положение в театре принадлежит «первоклассному актеру-художнику», которого не должен оттеснять «никакой приклеиш сбоку, секретарь-чиновник».

В статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии...» Гоголь сжато прослеживает развитие русской литературы, начиная от Ломоносова и Державина и кончая писателями 30—40-х годов XIX века. Эта статья в наименьшей мере несет на себе груз реакционных идей, характерных для «Выбранных мест из переписки с друзьями». Не случайно Жуковский, один из тех друзей Гоголя, которые своим влиянием способствовали росту и укреплению в нем этих реакционных идей, подверг в 1845 году суровому осуждению первоначальный вариант этой статьи, вследствие чего Гоголь тогда сжег ее. Но и позднее написанный ее текст, вошедший в «Переписку», содержит много ценных характеристик и метких оценок явлений русской литературы, обнаруживает ясность мысли и верность эстетического вкуса Гоголя. Вспомним для примера оценку им русских песен и пословиц, в которых он видит «самородный ключ» нашей поэзии; определение Ломоносова как «отца нашей стихотворной речи», а его поэзии как «начинающегося рассвета» русской литературы, указание на сходство между Ломоносовым и Державиным и вместе с тем на то новое, что внес последний в русскую поэзию: «То же самодержавное, государственное величие России слышится

и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь». Исторически верно характеризует Гоголь состояние русской поэзии на рубеже двух веков, когда на смену «напыщенности и высокопарности, нанесенных бездарными подражателями Державина и Ломоносова», развилась поверхностная поэзия, предметом которой стало «одно общесветское». Не останавливаясь подробно на данных Гоголем правильных оценках мастерства Жуковского-переводчика и его заслуг в создании «элегического рода» в нашей поэзии и др., укажем на блестящие страницы, посвященные Пушкину. Они являются естественным развитием мыслей, изложенных Гоголем еще в «Арабесках». Он восторженно говорит об уравновешенности, сжатости и сосредоточенности его поэтических картин, в которых нет ни «отвлеченной идеальности» Жуковского, ни «преизобилья сладострастной роскоши» Батюшкова; о точности слова в поэзии Пушкина, об округленности, значительности каждого его выражения; о всеобъемлющем характере его творчества, об умении поэта «откликнуться на все, что ни есть в мире»: «И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем». Пожалуй, в наибольшей мере проницательность критической мысли Гоголя проявилась в его оценке художественной прозы Пушкина и прежде всего «Капитанской дочки» — этого «решительно лучшего русского произведения в повествовательном роде».

Идея народности литературы, занявшая, как мы видели, еще в 30-е годы ведущее место во взглядах Гоголя, служит и в рассматриваемой статье одним из важнейших критериев при оценке писателей и их произведений. Наряду с Пушкиным Гоголь находит глубокое выражение народности в творчестве бессмертных авторов «Недоросля» и «Горя от ума» — этих «истинно общественных комедий»: «Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги».

Создатель «Ревизора» и «Мертвых душ» даже в годы глубочайшего идейного кризиса не отказывается от убеждения в том, что литература может выполнить свои задачи перед обществом и народом только при условии ее тесной связи с современной действительностью. Так, в статье «О «Современнике» он упрекает Плетнева за отсутствие у него «живого участия ко всем волнениям современным» и в этом видит причину неуспеха его журнала. В этом отношении особенно значительны высказывания Гоголя о своем собственном творчестве, имеющиеся в «Авторской исповеди»: «Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным».

Таким современным в лучшем значении этого слова писателем оставался Гоголь в большинстве случаев и в своих эстетических вкусах, критических оценках, литературных взглядах. В последние годы жизни, пережив гибель надежд, возлагавшихся им на «Выбранные места из переписки с друзьями», испытав сокрушительный удар, нанесенный ему Белинским, Гоголь мучительно ищет путей примирения религиозно-нравственных воззрений с творческим трудом писателя-реалиста. И в эти тягостные годы, когда короткие моменты взлета творческой энергии многократно сменялись периодами глубокого упадка и бессилия, Гоголь сохранял живой интерес к современной литературе, к молодым писателям, только вступавшим тогда на путь реалистического творчества. В письмах Гоголя последних лет мы встречаем доброжелательные упоминания о Герцене, Тургеневе, Некрасове, Достоевском, в которых Гоголь не мог не видеть своих талантливых наследников и продолжателей.

* * *

Гоголь умер, так и не преодолев своих ошибок; умер, сломившись под тяжестью противоречий, из которых, как ему казалось, не было никакого выхода. Об этих противоречиях гениального писателя «Правда» писала в передовой статье, посвященной столетию со дня смерти Гоголя: «Творческий путь Гоголя был сложен и противоречив. В последние годы жизни писатель, как известно, испытал влияние идей, чуждых народу. Эти его заблуждения тогда же были осуждены в знаме-

нитом письме Белинского к Гоголю. Но давно умерло и отошло в прошлое то, что было порождено слабостью, заблуждениями писателя. Навсегда вошло в золотой фонд нашей культуры то, что является передовым, составляет силу и славу художника» («Правда» от 4 марта 1952 г.).

И в этом золотом фонде потомство хранит не только великие творения Гоголя-художника, но и лучшие произведения критической и эстетической мысли писателя. Высказывания Гоголя по вопросам литературы и искусства вызывали живой отклик у современников; они оказали также значительное влияние на последующую русскую критику, которая в лице Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова боролась за передовую, идейную литературу, за правдивое, народное искусство, связанное с современностью, служащее благородному делу воспитания и развития общества.

СТАТЬИ

В соответствии с характером настоящего Собрания сочинений, рассчитанного на широкие круги советских читателей, в этот заключительный том вошли лишь избранные статьи Гоголя, представляющие интерес для изучения литературно-критических и эстетических идей писателя, а также для понимания его художественного творчества. Статьи расположены в хронологическом порядке и сгруппированы в пять разделов в зависимости от времени их написания или опубликования при жизни Гоголя.

Из ранних опытов мы помещаем статью о «Борисе Годунове» и лирический этюд «1834». Из сборника «Арабески» перепечатываются все статьи о литературе и искусстве. Из статей на исторические темы в том вошли только две — «Взгляд на составление Малороссии» и «Ал-Мамун». Третий раздел содержит статьи, напечатанные в «Современнике» в 1836—1837 гг. Мелкие рецензии, опубликованные тогда же в «Современнике» или предназначенные для него, в том не включены. В четвертый раздел вошли наиболее значительные, не утратившие своей ценности статьи литературного содержания из книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Наконец, пятый раздел состоит из двух статей, написанных во второй половине 40-х годов и не появившихся в печати при жизни Гоголя.

Все статьи в настоящем томе печатаются по тексту Собрания сочинений в шести томах (т. 6, М. 1953) с дополнительной проверкой по первым публикациям и рукописям и с учетом текстологической работы, произведенной редакторами научных изданий сочинений Гоголя — десятого издания под ред. Н. С. Тихонравова (т. V, М. 1889) и Полного собрания сочинений, изд. АН СССР (тт. VIII и IX, 1952).

Ниже в примечаниях к отдельным статьям даны необходимые справки о первых публикациях, историко-литературный и реальный комментарий.

ИЗ РАННИХ ОПЫТОВ

«БОРИС ГОДУНОВ». ПОЭМА ПУШКИНА

Статья была написана тотчас же после появления «Бориса Годунова», вышедшего в свет 23 декабря 1830 года. Вернее всего отнести статью к началу января 1831 года, так как Гоголь упоминает в ней о небывало быстрой распродаже четырехсот экземпляров трагедии (факт, сообщенный А. Дельвигом в «Литературной газете», № 1 от 1 января 1831 года). Статья осталась незаконченной и при жизни Гоголя не печаталась. Впервые опубликовал ее И. С. Аксаков (газета «Русь», № 12 от 31 января 1881 года) по рукописи, в свое время подаренной Гоголем С. Т. Аксакову (хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина).

Высокая оценка «Бориса Годунова» как «великого», «дивного» творения свидетельствует о независимости критических суждений молодого Гоголя. Большинство современных Пушкину критиков встретило трагедию резко отрицательно, совершенно не поняв ее исторического и художественного значения. Один из немногих положительных откликов на «Бориса Годунова» принадлежал Белинскому, только что начинавшему тогда свою критическую деятельность (см. В. Г. Белинский т. I, стр. 18—19). Известное сходство оценки Гоголя и Белинского тем более знаменательно, что в момент написания своей статьи Гоголь еще не мог знать рецензии Белинского (она была напечатана в июньском номере газеты «Листок» того же 1831 года).

Этот лирический набросок, написанный перед наступлением нового, 1834 года, при жизни Гоголя не печатался. Впервые его опубликовал по черновой рукописи, хранившейся у Жуковского, П. А. Кулиш в книге «Записки о жизни Гоголя» (ч. 1, СПб. 1856). Автограф хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

Вступая в 1834 год, Гоголь был полон тревожных ожиданий и вдохновенных мечтаний о будущем. Автор получивших всеобщее признание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» искал новых путей творчества, более зрелого и сложного (работа над повестями, вошедшими позднее в состав «Миргорода» и «Арабесок». См. об этом в примечаниях к тт. 2 и 3 наст. изд.). В это же время Гоголь, задумав обратиться к историческим трудам и к профессорской деятельности, собирался покинуть «меркантильный», бездушный Петербург и уехать в Киев, где перед ним открывалась возможность получения университетской кафедры (см. в наст. томе письма № 26, 27, 31). Все эти настроения и нашли свое отражение в данном этюде.

СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКА «АРАБЕСКИ» чч. I и II

Обе части «Арабесок» вышли в свет в январе 1835 года (цензурное разрешение от 10 ноября 1834 года).

Выпуская в свет новый сборник, Гоголь опасался, что он встретит суровый прием со стороны критики, и потому пометил многие статьи, включенные в него, ранними годами, хотя, как было позднее установлено на основании автографов, написание их относится к более позднему времени. С той же целью Гоголь предпослал «Арабескам» предисловие, в котором он писал: «Собрание это составляют пьесы, писанные мною в разные времена, в разные эпохи моей жизни. Я не писал их по заказу. Они высказывались от души, и предметом избирал я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, без сомнения, найдут много молодого. Признаюсь, некоторых пьес я бы, может быть, не допустил вовсе в это собрание, если бы издавал его годом прежде, когда я был более строг к своим старым трудам. Но вместо того чтобы строго судить свое *прошедшее*, гораздо лучше быть неумолимым к своим занятиям *настоящим*. Истреб-

лять прежде написанное нами, кажется, так же несправедливо, как позабывать минувшие дни своей юности. Притом если сочинение заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 7) [1].

О том же Гоголь писал в письме к Погодину от 14 декабря 1834 года: «Печатаю я всякую всячину. Все сочинения, и отрывки, и мысли, которые меня иногда занимали... Я прошу только тебя глядеть на них поснисходительнее. В них много есть молодого» (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 345). Несколько позднее, посылая тому же Погодину уже вышедшую книгу, он замечал, что «в ней очень много есть детского» (письмо от 22 января 1835 года, там же, стр. 348).

Опасения Гоголя оправдались. Бранные отзывы об «Арабесках» напечатали «Северная пчела» и «Библиотека для чтения». С другой стороны, и Белинский, восторженно приветствовавший талант Гоголя и давший высокую оценку его повестям, резко отозвался об «ученых статьях» «Арабесок» (см. его заключительное примечание к статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», т. I, стр. 307). Крайне чувствительный к отрицательным суждениям критики, Гоголь в дальнейшем ни разу не перепечатывал статей из «Арабесок», хотя ему стало впоследствии известно, что Белинский решительно изменил свое мнение о них. Сообщая Гоголю (в письме к нему от 20 апреля 1842 года) о намерении написать несколько статей об его сочинениях, Белинский добавлял: «С особенною любовию хочется мне поговорить о милых мне «Арабесках», тем более что я виноват перед ними: во время оно с юношескою запальчивостию изрыгнул я хулу на ваши в «Арабесках» статьи ученого содержания, не понимая, что тем изрыгаю *хулу на духа*. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки» (В. Г. Белинский, т. XII, стр. 108). В «Литературных и журнальных заметках», напечатанных в январской книжке «Отечественных записок» 1843 года, Белинский назвал опубликованные в «Арабесках» «критические статьи о Пушкине, о Брюллове, о Шлёцере, Миллере и Гердере» «превосходными» (там же, т. VI, стр. 579).

---

[1] Здесь и далее все цитаты из статей и писем Н. В. Гоголя даются по тексту Полного собрания сочинений, изд. Академии наук СССР, тт. I—XIV, М.— Л. 1937—1952.

Для вопроса об оценке «Арабесок» передовыми современниками любопытна запись в дневнике В. К. Кюхельбекера 26 марта 1835 года. Во время заключения в Свеаборгской крепости ему удалось прочитать статью Сенковского в «Библиотеке для чтения» с отрицательным отзывом об «Арабесках»; но, вопреки предвзятому суждению автора статьи, Кюхельбекер составил положительное мнение о книге Гоголя: «Об «Арабесках» Гоголя «Библиотека...» судит по-своему: отрывок, который приводит рецензент, вовсе не так дурен; он, напротив, возбудил во мне желание прочесть когда-нибудь эти «Арабески», которые написал, как видно по всему, человек мыслящий» (В. К. Кюхельбекер, Дневник, Л. 1929, стр. 230).

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА

Напечатано в «Арабесках», ч. I. Гоголевская датировка статьи 1831 годом не может быть отнесена даже к первоначальному черновому ее варианту, сохранившемуся в рукописи. В действительности статья была написана между февралем и сентябрем 1834 года.

Стр. 19. *Взгляните на нее... опустившую на руку прекрасную свою голову.*— Живопись Гоголь представляет здесь в образе мадонны (наиболее распространенный сюжет в религиозной живописи средневековья).

Стр. 20. *Катедраль* (лат.) — кафедральный собор, христианский храм, в котором имеется епископская кафедра.

ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ МАЛОРОССИИ

Статья была написана Гоголем в начале 1834 года и впервые опубликована в «Журнале министерства народного просвещения» (1834, ч. II, апрель) под заглавием: «Отрывок из истории Малороссии, т. 1, кн. 1, гл. 1». Вошла в первую часть «Арабесок».

Статья Гоголя о «составлении Малороссии» датирована им 1832 годом, в действительности он работал над ней в конце 1833— начале 1834 года. Можно предположить, что естественное влечение Гоголя к истории родной ему Украины усиливалось и под влиянием бесед с Пушкиным, который сам живо интересовался украинской историей. Сохранились пушкинские заметки

на эту тему, относящиеся к 1831 году, когда произошло знакомство и сближение Пушкина с Гоголем (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, изд. АН СССР, 1949, т. VIII, стр. 134—138 и 550—551; в дальнейшем отсылки даются по этому изданию).

Примечание Гоголя к данной статье в «Арабесках», заголовок журнального текста статьи и ряд упоминаний в письмах этого времени (см. в настоящем томе письма № 25, 27, 28 и 29) указывают как будто на то, что «История Малороссии» была написана Гоголем если не целиком, то в значительной части. Между тем среди оставшихся рукописей Гоголя этого исторического труда не оказалось, и у ряда биографов Гоголя возникло убеждение, что все его заявления о нем были только мистификацией. Решение этого вопроса было облегчено впоследствии публикацией заметок, конспектов и выписок, сделанных Гоголем в годы его занятий историей и, к сожалению, дошедших до нас в очень небольшой части [1].

Эти материалы показывают, что Гоголь серьезно готовился к изданию ряда исторических трудов, внимательно изучал разнообразные источники и намечал самостоятельное решение многих возникавших перед ним вопросов об исторических путях развития Украины. Однако ни одна из предпринятых им работ, в том числе и «История Малороссии», не была завершена.

Настоящая статья, как и другие статьи исторического содержания, позволяют судить о передовых для своего времени взглядах Гоголя на историю. Не перечнем случайных, разрозненных фактов, а широкой, целостной картиной жизни и развития народа — такой представлялась Гоголю задуманная им «История Малороссии», первоначальным эскизом к которой и была данная статья. Вместе со статьей «О малороссийских песнях» она является также необходимым комментарием к его историческим повестям, и прежде всего к «Тарасу Бульбе».

Стр. 26. *Гедимин вывел на сцену тогдашней истории новый народ.*— Гедимин — великий князь литовский (1316—1341),

---

[1] Опубликовано Н. С. Тихонравовым и В. И. Шенроком в десятом издании сочинений Гоголя, а затем, более полно, Г. П. Георгиевским в сб. «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», вып. III, СПб. 1909. Свод этих материалов и комментарии к ним см. в Полн. собр. соч. Гоголя, т. IX, 1952, стр. 76—84 и 625—626.

основатель обширного государства, в состав которого вошла и часть западных русских, украинских и белорусских земель. При Гедимине в Литовском княжестве преобладающей была более высоко развитая русская культура, оказавшая значительное влияние на культуру литовцев.

Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпети, вступил с торжеством в Киев.— Данное Гоголем описание победы Гедимина при реке Ирпени (у Гоголя ошибочно Ирпети) и завоевания им Киева восходит к так называемой второй литовско-русской летописи. В позднейших исторических трудах это летописное свидетельство было подвергнуто сомнению, хотя часть историков и признавала известную его достоверность. Из той же летописи взяты Гоголем и сведения о луцком князе Льве, киевском князе Станиславе и князе Ольшанском Миндове. Эти имена не встречаются в других исторических источниках, что дало повод некоторым историкам поставить под сомнение и самое существование этих князей.

Стр. 27. *Вслед за ним... Ольгерд и Ягайло вознесли Литву.*— Ольгерд — великий князь литовский (1345—1377), преемник Гедимина, продолжавший его политику. Ягайло, или Ягелло — сын и преемник Ольгерда; заключил унию Литвы и Польши и положил тем самым начало польско-католическому влиянию в Литовской Руси, которому упорно сопротивлялись русский, украинский и белорусский народы.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПУШКИНЕ

Первоначальные наброски статьи датируются 1832 годом. В окончательном виде статья была написана в 1834 году и напечатана в первой части «Арабесок».

Статья эта занимает видное место в истории критических суждений о Пушкине. Она появилась в середине 30-х годов, когда большинство критиков, восхищенно встретивших ранние поэмы Пушкина, толковали о «полном падении» его таланта. Белинский писал позднее, вспоминая время «между 1831 и 1835 годом»: «От Пушкина отступились его присяжные хвалители и издалека повели речь, что он отстал от века, обманул всеобщие ожидания,— словом, повели речь о его падении...» (В. Г. Белинский, т. VIII, стр. 437).

Основные положения статьи Гоголя были высоко оценены и развиты Белинским в его работе «Сочинения Александра

Пушкина». Разбирая в пятой статье этого цикла вопрос о национальном и народном значении Пушкина, Белинский приводит обширную выписку из «замечательной», по его определению, статьи Гоголя, полностью присоединяясь к высказанным в ней мыслям.

В черновом тексте статьи Гоголь выразительно и сочувственно характеризовал раннюю вольнолюбивую лирику Пушкина и отмечал ее влияние на умы тогдашней молодежи. После фразы: «Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин» (см. наст. том, стр.34),—в рукописи следовал текст: «Он был каким-то идеалом молодых людей. Его смелые, всегда исполненные оригинальности поступки и случаи жизни заучивались ими и повторялись, разумеется, как обыкновенно бывает, с прибавлениями и вариантами. Стихи его учились наизусть. Армейские и штатские и кстати и некстати почитали обязанностью проговорить и исковеркать ⟨не только⟩ какой-нибудь ярко сверкающий отрывок из его поэм. И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно благородные чувства несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражения и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них и для государства» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 602).

ОБ АРХИТЕКТУРЕ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ

К работе над статьей Гоголь приступил в конце 1833— начале 1834 года, а не в 1831 году, как было указано самим Гоголем. Статья была окончательно завершена в 1834 году и напечатана в «Арабесках» (ч. I).

Интерес к архитектуре пробудился у Гоголя очень рано. Еще в гимназические годы он обращался к изучению памятников зодчества древней Греции, собирал гравюры с изображением античных храмов, собора Петра в Риме, хранил чертежи колонн, фризов и других архитектурных деталей.

В широком обзоре и метких характеристиках архитектурных стилей разных эпох и народов, данных Гоголем в настоящей статье, нашли свое выражение эстетические взгляды молодого писателя, его высокие требования к зодчеству. И потому с таким презрением осуждает он плоскую казарменную архитектуру XIX века с ее однообразно унылыми формами.

Он отвергает и эклектическое смешение разных стилей, которым буржуазное искусство пыталось прикрыть свою идейную бесплодность и эстетическое убожество. По своей идейной направленности эта статья непосредственно связана со статьей Гоголя о картине Брюллова «Последний день Помпеи».

В оценке архитектурных стилей, созданных в прошедшие века, Гоголь отдает решительное предпочтение готике. Вместе с тем он высоко ценит и архитектуру Востока, обнаруживая в характеристиках индийской, египетской, арабской архитектуры верное понимание национального своеобразия каждой из них, определенного условиями климата и историческими особенностями жизни данного народа. Однако мысль Гоголя обращена не только к прошлому, но и к будущему. Об этом искусстве будущего он говорит в заключительной части статьи. Особенно примечательна его мысль о том, что новейшие приобретения и завоевания в области техники могут обогатить архитектуру невиданными прежде материалами и формами. В этом Гоголю видится путь к созданию подлинного искусства нового времени.

Стр. 41. *Кельнский собор* начат строительством в 1248, закончен в 1880 году; *Миланский собор* начат строительством в 1386, закончен в 1805 году; *Страсбургский собор* (Мюнстер), заложенный в XI веке, не был закончен: осталась недостроенной башня. Перечисленные Гоголем архитектурные памятники являются значительнейшими образцами готического искусства.

Стр. 53. *Триченгурский храм.*—Архитектурный памятник с таким названием не упоминается в специальной литературе. Возможно, что Гоголь, заимствовав это название из неизвестного нам источника, имел в виду храм Шрирангам (XVI—XVII вв.), находящийся близ города Тричинополи в Южной Индии. Минарет *Кутуб-Минар* (правильнее Кутб-Минар) в Дели — один из древнейших памятников мусульманского искусства в Индии. Постройка его была закончена в 1231 году.

АЛ-МАМУН

Статья написана в октябре 1834 года и напечатана в «Арабесках» (ч. I). Она была прочитана Гоголем как лекция в Петербургском университете, в присутствии Пушкина и Жуковского.

Воспоминание об этой лекции оставил бывший слушатель Гоголя Н. И. Иваницкий: «...Однажды — это было в октябре — ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках». Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно...» (Сб. «Гоголь в воспоминаниях современников», М. 1952, стр. 85).

Ал-Мамун — багдадский халиф (809—833), много способствовавший развитию науки и просвещения в своем государстве. Вместе с тем при нем начался упадок Багдадского халифата и арабской культуры, вполне обозначившийся к концу IX века.

Мастерски изложенная и богатая по содержанию лекция об Ал-Мамуне замечательна также высказанными в ней общими идеями Гоголя. Причину неудачи реформаторской деятельности багдадского халифа Гоголь видит в том, что его идеи были чужды народу. Гоголь осуждает космополитизм Ал-Мамуна, показывая бесплодность и вред искусственного насаждения чужеземного просвещения.

Стр. 64. *Новоплатонизм* (или неоплатонизм)— мистическая философия, возникшая в период распада античного общества и получившая распространение в Римской империи III—VI вв. Видными представителями этой философии, опиравшейся на идеалистическое учение Платона, были названные Гоголем Аммоний Саккас и Плотúн. Неоплатонизм оказал большое влияние на арабских и европейских философов средневековья.

Стр. 67. *Мотализм* (или мутазилизм)—религиозное учение, возникшее в начале IX века в среде арабских феодалов и крупного купечества. При Ал-Мамуне мутазилизм был объявлен

государственной религией и противники его подвергались жестоким преследованиям.

Стр. 68. *Секта карматов* (или карматианов)возникла в конце IX века на почве крестьянского антифеодального движения. Отразившееся в статье Гоголя традиционное представление о карматах как о преступных шайках убийц и грабителей ведет начало от лживых измышлений некоторых арабских историков — идеологов феодализма.

О МАЛОРОССИЙСКИХ ПЕСНЯХ

Работа Гоголя над статьей «О малороссийских песнях» нашла свое отражение в его письмах к Срезневскому и Максимовичу первой половины 1834 года (см. пп.№ 29—32). Написание статьи относится к февралю — марту 1834 года, а не к 1833 году, как датировал ее в печати сам Гоголь. Первоначально статья была напечатана в «Журнале министерства народного просвещения» (1834, ч. II, апрель). Вошла во вторую часть «Арабесок».

Повышенный интерес к проблемам народности в первые десятилетия XIX века выразился также в собирании памятников народно-поэтического творчества. Наряду с русскими песнями издаются и песни украинского народа. Первыми из таких сборников были: «Опыт собрания старинных малороссийских песен» Н. А. Цертелева (1819), «Малороссийские песни» М. А. Максимовича (1827), его же «Украинские народные песни» (1834), «Запорожская старина» И. И. Срезневского (ч. 1, 1833). В 1834 году вышла и упомянутая Гоголем тетрадь «Голоса украинских песен», положенных на ноты А. А. Алябьевым.

Гоголь внимательно изучал эти сборники (в связи с выходом в свет «Запорожской старины» ему и была заказана настоящая статья), однако он не ограничивался только чтением печатных собраний. Он сам был неутомимым собирателем произведений устного народного творчества (см. об этом в примечаниях к т. 1 наст. изд.). Во время поездок на Украину он изучал старинные рукописные сборники и записывал народные песни. Сохранившиеся три тетради Гоголя с записями песен (русских, южнорусских и украинских) содержат свыше пятисот текстов [1].

---

[1] Тетради эти опубликованы полностью Г. П. Георгиевским в сб. «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», вып. II., СПб. 1908.

Кроме того, большое количество собранных им текстов Гоголь передал М. А. Максимовичу и П. В. Киреевскому для их сборников. В 1956 году в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина была найдена еще одна тетрадь Гоголя, содержащая записи пятидесяти украинских исторических песен.

Статья «О малороссийских песнях» — одна из наиболее значительных в наследии Гоголя-критика — тесно связана с работой писателя над исторической повестью «Тарас Бульба». Для изображения быта, нравов и характеров украинского казачества в этой повести Гоголь широко использовал народные песни о значении которых он с таким воодушевлением говорит в настоящей статье.

Стр. 76. *Уния* (подчинение православной церкви на Украине и в Белоруссии власти римского папы) была провозглашена в Бресте в 1596 году. Униатская церковь явилась орудием католического влияния, и ее введение вызвало ожесточенное и длительное сопротивление со стороны украинского и белорусского народов. Просуществовав три с половиной столетия, уния в Западной Украине и Белоруссии была упразднена только в 1946 году, после Великой Отечественной войны.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

Статья была написана Гоголем в августе 1834 года, когда прославленная картина К. П. Брюллова, бывшая крупным явлением в русской художественной жизни 30-х годов прошлого века, была привезена в Петербург и выставлена в Эрмитаже для обозрения. Статья напечатана в «Арабесках» (ч. II).

Наряду с глубокой, хотя и несколько преувеличенной оценкой таланта Брюллова, в статье Гоголя изложен ряд его общих эстетических идей. Отмечая упадок живописи в начале XIX века, Гоголь видит признак этого в увлечении внешними эффектами, которые часто оказываются «ложными и неуместными». Следует отметить, что в черновой редакции статьи мысль эта была выражена Гоголем более резко и притом в отношении не только живописи, но и литературы: «Эти эффекты отвратительнее всего в литературе, когда они сделаются целью бесстыдных торгашей, а не людей, дышащих искусством» (Н. В. Гоголь, т. VIII,

стр. 645—646). Признание того, что современная живопись переживает время «необыкновенного застоя», сочетается у Гоголя с уверенностью в ее будущем возрождении, начало которого он видит в картине Брюллова.

О статье Гоголя см. М. Алпатов, «Гоголь о Брюллове». Журнал «Русская литература», 1958, № 3, стр. 130 — 134.

Стр. 83. ... *его картину—семейство Витгенштейна.* — Групповой портрет детей Витгенштейна (1831) принадлежит к числу наиболее удачных работ Брюллова-портретиста.

СТАТЬИ, НАПЕЧАТАННЫЕ В «СОВРЕМЕННИКЕ» в 1836 —1837 гг.

О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ в 1834 и 1835 году

Гоголь писал статью в первые месяцы 1836 года, главным образом в феврале. Она предназначалась для первой книги основанного Пушкиным журнала «Современник», где и была напечатана без имени автора (1836, т. 1, стр. 192—225; цензурное разрешение от 31 марта 1836 года). Гоголь задумал эту статью и написал ее в период тесного общения с Пушкиным, которому она была известна еще в рукописи. В письме от 2 марта 1836 года Гоголь обращался к поэту: «Да возьмите из типографии статью о журнальной литературе. Мы с вами пребезалаберные люди и позабыли, что туды нужно включить многое из остающегося у меня хвоста» (Н. В. Г о г о л ь, т. XI, стр. 37).

Статья Гоголя заняла видное место в истории русской журналистики 30-х годов. Время появления статьи Гоголя было временем упадка русской журналистики: лучший журнал предшествующих лет, «Московский телеграф», значительно обесцветившийся к началу 30-х годов, был закрыт в 1834 году; новый блестящий подъем в журналистике, связанный с началом издания «Отечественных записок» (1839) и переходом в этот журнал Белинского, еще не наступил. На первый план журнальной жизни выдвинулась «Библиотека для чтения» Сенковского, начавшая выходить в 1834 году. Против «Библиотеки для чтения» и направлена главным образом статья Гоголя.

Статья «О движении журнальной литературы» тотчас после выхода в свет первой книжки «Современника» привлекла всеобщее внимание и вызвала ряд откликов как негодующих, так

и одобрительных. Эту статью (не зная, что она написана Гоголем) приветствовал Белинский в рецензии на «Современник» (В. Г. Белинский, т. II, стр. 180—183), назвав ее «самой интересной статьей», в которой «видны дух и направление нового журнала». «Вообще эта статья содержит в себе много справедливых замечаний, высказанных умно, остро, благородно и прямо и потому подающих надежду, что «Современник» будет журналом с мнением, с характером и деятельностию». Здесь же Белинский отметил, что многие «резкие и горькие истины» по адресу «Библиотеки» и «Наблюдателя» были уже прежде высказаны в печати. В этом нельзя не видеть намека на собственные статьи Белинского, действительно близкие во многом к мнениям, выраженным Гоголем («Ничто о ничем» и «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя»).

В третьей книжке «Современника» за 1836 год появилось за подписью А. Б. «Письмо к издателю» с рядом возражений на статью Гоголя. «Письмо» сопровождалось примечанием «От издателя», подчеркивавшим, что разбираемая статья не должна рассматриваться как программа «Современника». В 1924 году Ю. Г. Оксманом («Атеней», кн. 1—2, 1924) было доказано, что за инициалами А. Б. скрывался издатель «Современника» — А. С. Пушкин. Как установлено советскими исследователями, возражая Гоголю по некоторым второстепенным пунктам, Пушкин принимал его основные положения, связанные с критикой современных журналов. Печатное выступление по поводу статьи Гоголя было вызвано нежеланием Пушкина подвергать свой журнал нападкам со стороны задетых Гоголем журналистов.

В числе прочих упреков автору статьи «О движении журнальной литературы» Пушкин высказывает сожаление, что он «не упомянул о г. Белинском», который «обличает талант, подающий большую надежду». Внимательно и сочувственно следивший за деятельностью молодого критика, Пушкин дал тут же краткую его характеристику: «Если бы с независимостию мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного» (т. VII, стр. 441). Пушкин мог не знать, что в черновой рукописи статьи Гоголя имелась оценка Белинского, доказывающая, что Гоголь здесь был очень близок к Пушкину: «В критиках Белинского, помещающихся в «Телескопе», виден вкус, хотя еще не образовавшийся, молодой и опро-

мечтивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что основан на чувстве и душевном убеждении» (Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 533). Можно предполагать, что Гоголь вычеркнул этот отзыв, сочтя неудобным хвалить критика, незадолго перед тем напечатавшего о нем восторженную статью («О русской повести и повестях г. Гоголя», 1835).

Стр. 90. *...эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории.* — Гоголь восстает здесь против космополитизма Сенковского, утверждавшего в статье «Скандинавские саги» («Библиотека для чтения», 1834, т. 1), что исландские и другие скандинавские саги являются более достоверным источником для изучения истории древней Руси, чем русские летописи. Вся статья Сенковского была написана в духе «норманской» теории, приписывавшей варягам решающую роль в образовании русской государственности. Антинаучность этой теории была окончательно доказана советскими историками.

...притязание г. Сенковского... есть Восток. — Иронический отзыв Гоголя о Сенковском-востоковеде не совсем справедлив. Сенковский, будучи в течение многих лет профессором арабской и турецкой словесности Петербургского университета, обладал обширными знаниями в области востоковедения (о нем см. в книге акад. И. Ю. Крачковского «Очерки из истории русской арабистики», М.—Л. 1950, стр. 105—109).

Стр. 91. *...поставил г. Кукольника наряду с Гете.*— Статья Сенковского о драме Н. В. Кукольника «Торквато Тассо» появилась в «Библиотеке для чтения», 1834, кн. 1, за подписью «Тютюнджю-Оглу». В этой безудержно хвалебной статье Сенковский назвал автора драмы «юным нашим Гете».

...Вальтер Скотт назван шарлатаном. — Слово «шарлатанство» по адресу Вальтера Скотта Сенковский (не называя прямо имени писателя) употребил в статье об историческом романе Булгарина «Мазепа» («Библиотека для чтения», 1834, кн. 2).

Стр. 92. *...дело о двух местоимениях: с е й и о н ы й.*—В своих выступлениях по вопросам литературного языка Сенковский категорически восставал против употребления некоторых старославянских слов и выражений. В частности, в 1835 году он решительно потребовал изгнать из употребления местоимения «сей» и «оный», что вызвало оживленную журнальную полемику. На ироническое замечание Гоголя по поводу «двух местоимений» откликнулись Пушкин (в упомянутом выше «Письме к издателю

«Современника») и Белинский (в рецензии на «Современник»). Оба они выказали бо́льшую широту воззрений, подчеркивая различие между письменным и разговорным языком и защищая право писателя пользоваться всеми богатствами русского языка.

Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу. — В «Разговоре о правописании» (1747) В. К. Тредиаковский, предлагая ряд изменений в русской орфографии, между прочим хотел исключить из алфавита, как лишние, буквы V (ижицу) и И (восьмеричное), оставив букву і (десятеричное).

Стр. 92—93. *«Не любо — не слушай, а лгать не мешай»* — название дешевого лубочного сборника псевдонародных сказок, изданного впервые в 1787 году и позднее не раз переиздававшегося.

Стр. 95. *...газета ... освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений.*—Ироническая характеристика «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», данная Гоголем, относится ко времени, когда эта газета редактировалась А. Ф. Воейковым. Издание это значительно изменило свой характер с 1837 года, когда оно перешло в руки к А. А. Краевскому, позднее переименовавшему его в «Литературную газету» (с 1840 г.), в которой сотрудничали Белинский, Некрасов и другие передовые литературные деятели 40-х годов.

Стр. 98. *Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина.*— В «Библиотеке для чтения» (1835, т. XIII) была напечатана комедия Д. И. Фонвизина «Корион». Бесцеремонный в обращении с произведениями живых авторов, Сенковский приложил свою руку и к комедии Фонвизина: в сотрудничестве с А. В. Тимофеевым он «для полноты действия и вящего наслаждения читателей» приделал к «Кориону» крайне безвкусную заключительную сцену.

Стр. 99 ... *в какой степени «Московский наблюдатель» выполнил ожидания публики.*— Не находя среди петербургских изданий содержательного журнала, Гоголь обращается к Москве. Здесь главное его внимание привлекает «Московский наблюдатель», журнал, основанный бывшими «любомудрами» — московскими шеллингианцами Погодиным, Шевыревым и Андросовым — в 1835 году, после их разрыва с «Телескопом» из-за статьи Белинского «Литературные мечтания». Несмотря на сочувствие Гоголя предприятию его московских друзей, он трезво-критически разбирает причины неуспеха журнала и видит их в отсут-

ствии «современной живости», в оторванности от интересов читающей публики, в недостатке журналистской предприимчивости и гибкости.

Стр. 100. *«Наблюдатель» начался оппозиционною статьею г. Шевырева о торговле.*—Статья Шевырева «Словесность и торговля» была напечатана в «Московском наблюдателе» (1835, № 1). Исходя из реакционных теорий «чистого», отрешенного от действительности искусства, Шевырев видел причину упадка русской литературы 30-х годов в том, что она стала предметом торговли. Гоголь, критикуя эту статью, метко вскрывает несостоятельность взглядов Шевырева, не желавшего считаться с «непреложным законом» развития литературы. «Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась». Почти одновременно с Гоголем резкой критике «ложные выводы» Шевырева были подвергнуты Белинским в статье «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» («Телескоп», 1836, № 5 и 6).

Стр. 103. *Знаменитый шотландец* — Вальтер Скотт. В следующем абзаце речь идет о романтизме, господствовавшем в 30-х годах XIX века во Франции и других западноевропейских странах.

Стр. 104. *Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин.*—Гоголь имеет в виду новые издания сочинений Г. Р. Державина, выпущенных Смирдиным в двух томах в 1833—1834 годах, и Н. М. Карамзина, изданных в 1834—1835 годах (в девяти частях).

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАПИСКИ 1836 года

Статья впервые напечатана за подписью *** в шестом томе журнала «Современник» за 1837 год. Печатается по тексту «Современника» с восстановлением цензурных искажений в первой главе по цензурному делу и черновому автографу первой части статьи.

В «Современнике» часть текста от слов «Выкинет штуку русская столица...» до «на чухонскую сторону» была исключена цензурой. Ниже исключена была фраза: «Какая она нечесаная». Кроме того, по требованию цензуры были произведены следующие замены: 1) вместо «аккуратный немец» (о Петербурге) было предложено поставить «ловкий европеец»; 2) вместо «ту же минуту его щелчком» — «ту же минуту его прочь»; 3) выброшены выражения «похаживает на кордоне» и «которую видит, но не

слышит»; 4) вместо «немецкий народ» — «разноплеменный народ»; 5) в конце первой главы были исключены слова: «аляповатостию» и «человек продажный».

В черновой рукописи статьи вместо «прямо русский герой написано: «русский офицер». Возможно, что и эта замена имеет цензурное происхождение.

В первоначальном тексте Гоголь иллюстрировал свою мысль о типических характерах, вызывающих толки в оскорбленном обществе, бо́льшим количеством примеров. Кроме «надворного советника нетрезвого поведения», у него были названы еще: «бессмысленный председатель», который «завел в присутственной зале псарню», «квартальный плут», «офицер, пустой человек, бегающий за вечерними нимфами или вместо обязанностей службы дебошничающий где-нибудь в неприличном для русского офицера месте», и, наконец, «один генерал», «который совсем распустил своих подчиненных и вместо своих занятий спускивал бумажку или вязал дамский чулок» (см. Н. В. Гоголь, т. VIII, стр. 561—562). Можно и здесь предположить, что изъятие этих фраз было произведено или цензурой, или самим Гоголем, не надеявшимся провести их через цензурные рогатки.

Первая половина статьи написана, по-видимому, в 1835 году и была озаглавлена «Москва и Петербург». Об этой статье упоминает Пушкин во второй главе не напечатанного при его жизни «Путешествия из Москвы в Петербург». После очерка перемен, происшедших за последние десятилетия в социальном и культурно-бытовом облике Москвы, Пушкин замечает: «Кстати: я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости: «Москва и Петербург» (т. VII, стр. 276).

Н. С. Тихонравов в примечаниях к статье в десятом издании сочинений Гоголя (т. V) высказал предположение, что речь у Пушкина идет о статье Гоголя, впоследствии составившей первую часть «Петербургских записок 1836 года». Последующие исследователи (В. В. Гиппиус и др.), занимавшиеся этим вопросом, отвергали предположение Тихонравова. В 1934 году, в газете «Литературный Ленинград» (№ 15 (37) от 31 марта) Ю. Г. Оксманом была опубликована найденная в архиве Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР выписка из протокола СПб. цензурного комитета от 10 марта 1836 года, заключающая перечень изменений, сделанных цензурой в статье

«Москва и Петербург», предназначенной для напечатания в первой книжке «Современника». Содержание выписки не оставляет никаких сомнений в том, что речь шла об интересующей нас статье Гоголя. Несмотря на это, редакторы «Петербургских записок» в Полн. собр. соч. Гоголя, изд. АН СССР, остаются на прежней, отрицательной точке зрения в решении этого вопроса (см. т. VIII, стр. 769).

Первую часть статьи (сравнение Москвы с Петербургом) высоко оценил Белинский. В очерке «Петербург и Москва», напечатанном в сборнике «Физиология Петербурга» (ч. 1, СПб. 1845), он приводит обширную выдержку из статьи Гоголя, замечая, что «в ней многое осталось новым и по прошествии семи лет».

В основе второй части «Петербургских записок» лежит, задуманная вначале как самостоятельная, статья «Петербургская сцена 1835/36 годов», которую Гоголь писал в марте — апреле 1836 года, в период подготовки «Ревизора» к постановке на сцене. Тревоги, связанные с толками о «Ревизоре», и последующий отъезд за границу прервали эту работу; к ней Гоголь вернулся лишь в самом конце 1836 года, когда он переделал первоначальный текст и приготовил статью для «Современника».

Стр. 115—116. *«Фенелла»* — измененное по требованию русской цензуры, при постановке ее в России, название оперы Обера «Немая из Портичи» (1828); *«Роберт-Дьявол»* (1831) и *«Признательная Семирамида»* (1820) — оперы Мейербера; *«Норма»* (1831) — опера Беллини. Эти оперы пользовались в 30-х годах большой популярностью.

«Жизнь за царя»— старое, навязанное правящими кругами, название оперы Глинки «Иван Сусанин» (1836).

СТАТЬИ, НАПЕЧАТАННЫЕ В КНИГЕ «ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»

Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» вышла в свет в конце 1846 года с многочисленными цензурными сокращениями и искажениями. Кроме того, П. А. Плетнев, наблюдавший по поручению Гоголя за изданием, вносил в текст грамматические и стилистические «исправления». Цензурные изъятия были впервые восстановлены по рукописи Ф. В. Чижовым в «Полном собрании сочинений Н. В. Гоголя», т. III, М. 1867.

В Полном собрании сочинений Гоголя, изд. АН СССР (т. VIII, 1952) текст был заново проверен по автографу, причем были сняты все исправления Плетнева и отдельные ошибки Чижова.

Цензурные переделки и изъятия имели главной целью смягчить или устранить все места, в которых Гоголь касался темных сторон русской жизни, злоупотреблений чиновников, помещиков, тяжелого положения народа и т. п. В результате этого даже те немногие элементы критики социальной действительности, которые были у Гоголя, оказались снятыми или затушеванными, а общее реакционное содержание книги выступило с еще большей ясностью и определенностью.

Гоголь был крайне недоволен выпуском книги в таком виде и обвинял Плетнева в том, что тот не приложил всех стараний, чтобы добиться разрешения на ее выход без сокращений и без цензурной правки. Тогда же у Гоголя возникает мысль о необходимости сразу же выпустить второе полное издание «Выбранных мест», на что он хотел получить разрешение Николая I. Об этом он пишет своим влиятельным друзьям в Петербург, прося их подготовить текст книги и представить ее царю. Однако его друзья (М. Ю. Виельгорский, П. А. Вяземский, П. А. Плетнев и др.) понимали иллюзорность надежд Гоголя на поддержку царя и не выполнили его просьбы. Тем временем Гоголю, особенно после письма Белинского, стало ясно, что теперь вторичный выпуск книги будет ненужным и несвоевременным. В дальнейшем Гоголь думал значительно переделать ее, но и этот план остался неосуществленным.

О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО

Эта статья, помещенная в «Выбранных местах из переписки с друзьями» под четвертым номером, была написана в конце 1844 года. Значительную часть статьи занимает резкая характеристика «нашего приятеля П.....на», то есть профессора истории, издателя «Москвитянина» М. П. Погодина, с которым Гоголя связывали давние дружеские отношения, нарушавшиеся временами резкими размолвками и взаимным недовольством. Широко известная прижимистость и деловая сметка, позволявшие Погодину бесцеремонно эксплуатировать многих сотрудников его журнала, сказались и в отношениях с Гоголем. Постоянные назойливые требования Погодина поддержать журнал своими произведениями вызывали у писателя чувство досады. В 1842 году По-

годин вынудил Гоголя согласиться на печатание в «Москвитянине» отрывка «Рим», а в 1843 году он, уже совершенно самоуправно, напечатал в своем журнале портрет Гоголя, подаренный ему лично. Мало того, опасаясь возражений со стороны Гоголя, он не послал ему за границу комплект «Москвитянина» за 1843 год. Бестактный поступок Погодина, ставший случайно известным Гоголю в 1844 году, вызвал у него резкое раздражение, отразившееся в ряде его писем этого периода, которые во многом объясняют отзыв о Погодине в статье «О том, что такое слово».

В письме к Шевыреву от 14 декабря 1844 года Гоголь с горячностью объяснял, почему так неприятно было ему самоуправное опубликование его портрета в «Москвитянине»; незадолго до того, 26 октября 1844 года, он писал о своих неладах с Погодиным Н. М. Языкову: «Такой степени отсутствия чутья, всякого приличия и до такой степени неимения деликатности, я думаю, не было еще ни в одном человеке испокон веку. Написал ли ты в молодости своей какую-нибудь дрянь, которую и не мыслил напечатать, он чуть где увидел ее, хвать в журнал свой без начала, без конца, ни к селу ни к городу, без спросу, без позволения» (т. XII, стр. 364).

Часть текста статьи от слов «Заговорит ли он о патриотизме...» и до слов «он сам свой клеветник» была в первом издании «Выбранных мест» вычеркнута цензором. Данная здесь Гоголем саркастическая характеристика «подкупного патриотизма» Погодина, не гнушавшегося доносительских намеков в полемике со своими литературными противниками, может быть с полным правом распространена на весь круг основных сотрудников «Москвитянина» — Шевырева, М. Дмитриева и др. О литературных доносах на страницах «Москвитянина» неоднократно упоминает в своих письмах к друзьям Белинский.

После выхода в свет «Выбранных мест» московские друзья Гоголя, особенно Шевырев и С. Т. Аксаков, были крайне встревожены этим печатным выпадом против Погодина и в своих письмах доказывали Гоголю его неправоту. Не защищая себя перед ними, Гоголь объяснял появление статьи тем, что книга выходила в свет очень спешно и что он не успел ее внимательно просмотреть перед выпуском. Однако в действительности Гоголь вовсе не думал отказываться от написанного им. При подготовке второго издания «Выбранных мест» (не осуществленного при его жизни) он не предполагал исключить из книги настоящую статью, но собирался поместить рядом с нею но-

вую — «О достоинстве сочинений и литературных трудов Погодина».

Любопытный комментарий для характеристики отношений Погодина к Гоголю можно извлечь из письма Белинского к Щепкину от 14 апреля 1842 года. Сообщая Щепкину о недоставленной Гоголю своевременно рукописи «Мертвых душ», которая была выслана из Петербурга в Москву на имя Погодина, Белинский иронически продолжал: «Я думаю, что Погодин ее украл, чтоб променять на толкучем рынке на старые штаны и юбки; или чтоб, притаив ее до времени, выманить у (простодушно обманывающегося на счет сего мошенника) Гоголя еще что-нибудь для своего холопского журнала» (т. XII, стр. 103). Изложенный эпизод раскрывает одну из сторон в истории сложных отношений между Гоголем и реакционным кругом погодинского «Москвитянина», отношений, весьма далеких от полной гармонии и единства взглядов.

Не приходится сомневаться, что Гоголь напечатал статью «О том, что такое слово» не только потому, что его уж очень раздосадовало корыстное поведение Погодина, но и потому, что в этой статье он выразил существенно важные для него, как для писателя, идеи. Действительно, уничтожающая характеристика Погодина играет в статье только роль примера, идейный же ее центр составляет мысль об огромной ответственности писателя перед обществом, о высоких требованиях к труду писателя. «Обращаться с словом нужно честно» — эти замечательные слова Гоголя, направленные против того духа корысти, наживы и торгашества, который господствовал в реакционных кругах русской литературы и журналистики 30—40-х годов XIX века, живо напоминают его ранние полемические выступления против «Библиотеки для чтения» и ее редактора Сенковского. Та же идея звучит и в письмах Гоголя и в его многочисленных высказываниях о высокой общественной значимости писательского звания.

Стр. 125. *За слова меня пусть гложет...*— Гоголь цитирует заключительное двустишие из второго послания Державина «Храповицкому» (1797). А. В. Храповицкий — придворный чиновник, личный секретарь Екатерины II. Послание Державина написано было им в ответ на стихотворное послание Храповицкого, в котором Храповицкий упрекал поэта в лести всесильным вельможам екатерининского царствования.

Стр. 127. *Тридцать лет работал и хлопотал...этот человек.*—

Говоря о тридцатилетней работе Погодина, Гоголь допустил явное преувеличение: к 1844 году литературная и научная деятельность Погодина насчитывала только около двадцати лет.

Стр. 128. *Иисус Сирах*.—Иисус сын Сирахов(II век до н. э.)—иудейский книжник, автор книги «Премудрость», вошедшей в состав библии (в так называемый «Ветхий завет»). Из этой книги и взяты цитированные Гоголем слова.

ЧТЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ ПЕРЕД ПУБЛИКОЮ

Статья «Чтения русских поэтов перед публикою» напечатана в «Выбранных местах» под номером пятым. Адресат письма, указанный в подзаголовке («Письмо к Л**»), до сих пор не раскрыт. Возможно, что подзаголовок дан Гоголем лишь с целью мотивировать эпистолярную форму.

В 1843 году, когда была написана статья, в Москве были устроены вечера для чтения произведений современных русских писателей. Инициатором и устроителем этих вечеров был М. С. Щепкин, привлекший к участию в них и некоторых других московских артистов (П. С. Мочалова, П. М. Садовского). Сам Щепкин прочел на этих вечерах ряд произведений Гоголя, в том числе «Старосветские помещики», «Шинель», «Театральный разъезд», отрывки из «Тараса Бульбы».

О ТЕАТРЕ, ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ВЗГЛЯДЕ НА ТЕАТР И ВООБЩЕ ОБ ОДНОСТОРОННОСТИ

Статья помечена у Гоголя 1845 годом. К этому времени относится переработка для печати легшего в ее основу более раннего письма к А. П. Толстому — крупному чиновнику, реакционеру и мистику, одному из тех людей, чье гибельное влияние сыграло такую трагическую роль в последние годы жизни Гоголя. В «Выбранных местах» статья была напечатана под четырнадцатым номером.

В этой статье, направленной на защиту горячо любимого Гоголем искусства, весьма ярко сказалась сложность сознания писателя, так и не сумевшего до конца своих дней преодолеть противоречие между утверждением великой общественной роли искусства и христиански-аскетическим его отрицанием.

Первая, наиболее значительная по содержанию часть статьи посвящена защите театра от обвинений в развращающем влиянии на общество. Гоголь не может согласиться с этими обви-

нениями, потому что в его представлении «театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь»: «это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Но театральная действительность, которую мог наблюдать Гоголь, была чрезвычайно далека от осуществления высокого общественного назначения театра. Творческие усилия лучших мастеров сцены — Щепкина, Мочалова, Сосницкого — не могли преодолеть тупости бюрократического руководства казенных театров и совершить решительный перелом особенно в области репертуара.

Эти идеи Гоголя живо напоминают его ранние высказывания по вопросам театра в статье «Петербургские записки 1836 года» и в «Театральном разъезде». Гоголь и теперь продолжает бороться за реалистический, идейный театр. И в этом смысле мы можем смело сопоставить его взгляды с идеями Белинского, с его страстной борьбой за преобразование театрального искусства в духе высокой идейности, национальной самобытности, жизненной правды.

Вторая половина статьи, внешне мало связанная с первой, посвящена защите Пушкина от обвинений со стороны фанатиков и святош, «которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское». Поводом для этой полемики явились выступления архиреакционного журнала «Маяк»: «Обзор стихотворений А. Пушкина» А. Мартынова и С. Бурачка, появившийся в 1843 году и статья «Застой в русской литературе» А. Мартынова, опубликованная в 1845 году. В возражениях Гоголя Бурачку и его присным можно найти много резких и справедливых мыслей. Но в целом убедительность этой части статьи сильно ослабляется тем, что, защищая Пушкина, Гоголь остается на почве догматического православия, невольно смыкаясь, таким образом, со своими противниками в исходных точках зрения.

Эту непоследовательность Гоголя блестяще вскрыл Белинский в своем письме по поводу «Переписки»: «Конечно, в Вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях;[1] зато они развили общее им с Вами учение с большей энергиею и с большею последовательностию, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече тому и

[1] То есть в сочинениях «Бурачка с братиею». (*Прим. ред.*)

другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые, с Вашей точки зрения, если б только Вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком?» (т. X, стр. 216).

Статья Гоголя «О театре» вызвала резкие возражения со стороны фанатика-попа Матвея Константиновского, чье влияние на Гоголя в последующем так выросло. Это еще раз подтверждает, насколько сложным и трудным было борение противоречивых тенденций в сознании Гоголя.

В первом издании «Выбранных мест» цензура вычеркнула из этой статьи все места, в которых Гоголь резко и непочтительно отзывался о театральных чиновниках.

Стр. 132. *...гремел противу них Златоуст.*— Иоанн Златоуст (ок. 347—407) — видный церковный деятель первых веков христианства, красноречивый проповедник, обличавший в своих проповедях пристрастие знати и богачей к роскоши и светским развлечениям.

Стр. 132—133. *Димитрий Ростовский... слагал у нас пьесы для представления в лицах.*— Димитрий Ростовский (1651—1709) — один из просвещенных церковных деятелей петровского времени, известный проповедник и писатель. Кроме богословских произведений, им было написано несколько «духовных драм» на темы из священного писания. В середине XVIII века церковь причислила его «к лику святых».

Стр. 136. *Мы с вами еще не так давно рассуждали о всех должностях.*— Вероятно, Гоголь имеет в виду письмо «Занимающему важное место», предположительным адресатом которого был также А. П. Толстой. Это письмо было включено в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями» (под № 28), но в первом издании книги не появилось в связи с цензурным запрещением.

Стр. 141. *Но и тогда струны лукавой...*— Гоголь цитирует (без первой строфы и не совсем точно) стихотворение Пушкина «В часы забав иль праздной скуки...» (1830).

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА К РАЗНЫМ ЛИЦАМ ПО ПОВОДУ «МЕРТВЫХ ДУШ»

Адресаты этих четырех писем, объединенных в «Выбранных местах» под номером восемнадцатым, не указаны Гоголем и до сих пор не раскрыты исследователями. Н. С. Тихонравов в

примечаниях к десятому изданию сочинений Гоголя высказал предположение, что эти письма вовсе не были обращены к реальным лицам и являются статьями, написанными в форме, соответствующей характеру книги.

Слова Гоголя: «Кто виноват? Мы или правительство?» — показались цензору непозволительными. В окончательном тексте эта фраза напечатана в измененной цензурой редакции: «Кто виноват? Мы».

Обличительная тирада о плутах и взяточниках (от слов «Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники...») была в первом издании ослаблена цензором путем ряда мелких сокращений.

В письмах раскрывается трагедия гениального художника-реалиста, отрекающегося от своих великих созданий, прежде всего от «Мертвых душ». Утверждением, что он не знает России, «что «Мертвые души»... исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания многих предметов», что злобно ругательские статьи Булгарина, Сенковского и Полевого справедливы, Гоголь не только давал в руки своим врагам сильное оружие против самого себя, но и объективно помогал им в борьбе против ненавистной для них «натуральной школы» и против идейного вождя этой школы — Белинского.

Действительно, Булгарин с ликованием и торжеством встретил выход в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» и в одном из фельетонов «Северной пчелы» (1847, № 8) со злорадством доказывал, что Гоголь и не мог быть основателем новой литературной школы, используя при этом собственные признания Гоголя в «Переписке».

В своем знаменитом письме к Гоголю Белинский почти не коснулся литературных статей «Переписки». Он должен был дать отпор прежде всего общественно-политическим идеям в целом реакционной книги Гоголя. Но в печатной рецензии на «Выбранные места» («Современник», 1847, № 2) он особо останавливается на «Четырех письмах по поводу «Мертвых душ».

Приведя несколько обширных цитат из этих писем, Белинский в заключение сжато, по пунктам, формулирует основные положения, выдвинутые в них Гоголем, и сопровождает их неопровержимыми выводами, доказывающими, что писатель капитулировал перед реакционной критикой.

«I. Гоголь сам сознается, что он сам недоволен всем, что

было им писано до сих пор... Ergo: [1] враги таланта Гоголя правы в том, что столько лет выставляли его писателем без дарования, без вкуса, мастером на одни сальные и грязные картины вроде Поль де Кока.

II. Гоголь сам соглашается, что особенность его таланта состоит в умении «очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем». Ergo: это явно талант мелкий и ничтожный.

III. Гоголь объявляет торжественно, что согласен с теми, которые бранили его сочинения, и не согласен с теми, которые хвалили его. Ergo: хвалители Гоголя суть литературная партия, уцепившаяся за него для унижения истинных, но ненавистных ей талантов.

IV. Гоголь сам говорит, что «рожден он вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной, а затем, чтобы спасти свою душу». Ergo: лгали те, которые провозгласили его главою новой литературной школы.

V. Гоголь признается сам, что «в критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного ему совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать...» Ergo: кроме «Вечеров на хуторе», все написанное Гоголем, есть чистый вздор и не заслуживает никакого внимания» (В. Г. Белинский, т. X, стр. 75).

К одному из положений Гоголя, здесь перечисленных, Белинский вновь возвращается в статье «Ответ «Москвитянину», придавая его опровержению большое значение. Белинский считает гоголевское определение сущности своего таланта, подкрепленное ссылкой на мнение Пушкина («дар выставлять ярко пошлость жизни»), узким и односторонним. Сам он видит наиболее существенную особенность таланта Гоголя в другом: «Это — не один дар выставлять ярко пошлость жизни, а еще более — дар выставлять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности» (там же, стр. 244).

Стр. 144. *В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого.*— В булгаринской «Северной пчеле» заметки о «Мертвых душах» были напечатаны в № 119, 137, 143, 158 за 1842 и № 274 за 1843 год. Рецензия Сенковского на «Мертвые души» появилась

[1] Следовательно (*лат.*).

в «Библиотеке для чтения» (1842, № 8). Полевой поместил статью о поэме Гоголя в «Русском вестнике» (1842, № 5—6).

Стр. 157. *Это хвастовство — губитель всего.*— Ироническое замечание Гоголя о пустом хвастовстве «русскими доблестями», в котором повинны были славянофилы, указывает на наличие известных расхождений между Гоголем и его московскими друзьями.

В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ, СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ

Первоначальная редакция статьи относится к 1845 году. Новая редакция ее была закончена в октябре 1846 года и тогда же отослана Плетневу для печатания. В «Выбранных местах» помещена под номером тридцать первым.

Гоголь, как видно из его письма к Плетневу от 16 октября 1846 года, придавал большое значение этой статье и затратил много труда на ее написание: «Так устал, что нет мочи; в силу сладил, особенно со статьей о поэзии, которую в три эпохи мои писал и вновь сожигал и наконец теперь написал... так мне трудно писать что-нибудь о литературе» (т. XIII, стр. 110). К важнейшим проблемам русской литературы,затронутым в статье, Гоголь неоднократно обращался и в предшествующие годы. В настоящей статье мысли Гоголя о самобытности русской литературы, о ее национальном значении, о путях развития русской драматической поэзии и др. осложняются теми мистическими и реакционно-монархическими идеями, во власти которых оказался Гоголь ко времени работы над «Выбранными местами из переписки с друзьями». Так, например, в оценке Фамусова и подобных ему «выветрившихся лиц» звучат отголоски тех мыслей, которые развиты были Гоголем в статье «Русский помещик», вызвавшей жестокую отповедь со стороны Белинского.

Однако ценность статьи заключается в глубоко содержательных характеристиках великих русских писателей — Ломоносова, Державина, Фонвизина, Крылова, Пушкина, Грибоедова и др. Многие из этих мыслей Гоголя совпадают с высказываниями Белинского.

Стр. 161. *Божественный пророк Давид.*— Гоголь цитирует четверостишие из оды Ломоносова «На день рождения императрицы Елисаветы Петровны» (1757).

Стр. 162. *...заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба.*— Давая глубокую оценку поэзии Ломоносова как «начинающегося рассвета» русской литературы, называя его законодателем языка и отцом нашей стихотворной речи, Гоголь не сумел освободиться от традиционного в то время мнения о заимствовании Ломоносовым форм его стиха у немцев.

Стр. 163. *...весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлеченьем.*— В «Российской Грамматике» Ломоносова (1755) в числе примеров была фраза: «Стихотворство — моя утеха, физика — мои упражнения».

Стр. 164. *Встает в упор ее волнам...*— цитата из оды Державина «На возвращение из Персии через Кавказские горы гр. В. А. Зубова» (1797).

Стр. 165. *И смерть как гостью ожидает...*—цитата из стихотворения Державина «Аристиппова баня» (1811).

Стр. 167. *Приютный дом мой под соломой...*— цитата из стихотворения В. В. Капниста «Обуховка» (1818).

Вадим — герой одноименной баллады Жуковского (1817), вошедшей в состав «старинной повести» «Двенадцать спящих дев».

Стр. 168. *Под надзирание ты предан ...*— цитата из стихотворения Державина «Победителю» (1789).

Стр. 169. *...мог написать стихотворенье «Отчет о солнце»... изобразить в «Отчете о луне».* —«Отчетом о солнце» Гоголь называет стихотворение Жуковского «Летний вечер» (1818); в шуточном послании «Подробный отчет о луне» (1820) Жуковский вспоминает все описания луны, данные в его стихотворениях и балладах, и изображает прекрасную лунную ночь в Павловске.

Его «Славянка» с видами Павловска. — Элегия «Славянка» написана в 1815 году (река Славянка протекает в Павловске).

Стр. 170. *«Ундина»*—повесть, написанная Жуковским в 1831—1836 годах. В основу ее Жуковский положил одноименную сказочную поэму немецкого поэта-романтика Ламотт Фуке (1777—1843). Ниже Гоголь говорит о переводе «Одиссеи», над которым в то время работал Жуковский.

Стр. 171. *Далекий, вожделенный брег!..*— цитата из стихотворения Пушкина «Монастырь на Казбеке» (1829).

Стр. 174. *Не для житейского волненья...*— четверостишие из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

Стр. 175. *Герой испанский Дон-Жуан... терцины Данта внушили ему мысль.*— Речь идет о следующих произведениях Пуш-

кина: «Каменный гость» (1830), «Сцена из Фауста» (1825) и стихотворение «В начале жизни школу помню я...» (1830).

Стр. 176. *«Рукопись села Горохина», «Царский арап».*— Названия приведены Гоголем неточно Нужно: «История села Горюхина» и «Арап Петра Великого».

Стихотворенье, в котором... изображен побег из города — стихотворение Пушкина «Странник» (1835).

Стр. 178. *С появленьем первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил.*— Характеристика поэзии Языкова, данная здесь и ниже Гоголем, во многом совпадает с оценкой Пушкина в его стихотворном послании 1826 года «К Языкову» («Какой избыток чувств и сил, какое буйство молодое!», «Она разымчива, пьяна» и т. д.). Первая книга стихотворений Языкова, пушкинский отзыв о которой приводит здесь Гоголь, вышла в 1833 году. Указываем источники приводимых выдержек из стихотворений Языкова: *«Купанье в реке»* — из стихотворения «Тригорское» (1826); *«Игра в свайку»* — из послания «К А. Н. Вульфу» (1828); *«Обращение к России»*— из послания «Д. В. Давыдову» (1835). Цитируемого Гоголем двустишия (*«На благородное служенье || Во славу чести и добра»*) нет среди стихотворений Н. Языкова. Возможно, что Гоголь по памяти неточно воспроизвел строки из стихотворения «Дерпт» (1825), которое действительно посвящено воспоминаниям о студенческих пирушках:

Мне милы юности прекрасной
Разнообразные дары,
Студентов шумные пиры,
Веселость жизни самовластной,
Свобода мнений, удаль рук,
Умов небрежное волненье
И благородное стремленье
На поле славы и наук.

Стр. 180. *...осталось дело только в одном могучем порыве.*—Упрек, сделанный Гоголем Языкову, почти буквально совпадает с тем, что писал о Языкове в 1845 году Белинский (в статье «Русская литература в 1844 году»). Ниже Гоголь прямо намекает на эту статью Белинского: «Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт». Именно так оценивал Языкова Белинский, статью которого, очевидно, Гоголь внимательно прочел. Далее сам Гоголь

уже от себя говорит о «нищете мыслей» Языкова, присоединяясь тем самым к мнению Белинского.

Стр. 181. *Когда тебе на подвиг все готово...*— цитата из стихотворения Языкова «Поэту» (1831).

Стр. 183. *В его книге «Биография Фонвизина».*—Книга П.А.Вяземского «Фонвизин», написанная им в 1830 году, была известна Гоголю в рукописи. Она вышла в свет только в 1848 году.

Стр. 184. *Душа прямится, крепнет воля...*—цитата из стихотворения Языкова «К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву» (1826).

Стр. 185. *«Это осел Крылова!».*— Гоголь кратко пересказывает содержание басни Крылова «Осел» (1830).

Стр. 186. *Написал знаменитый спор пушек с парусами* — басню «Пушки и Паруса» (1827).

Некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело — намек на декабристов.

«Хор певчих», «Стоячий пруд» и *«Мегера и Сочинитель».*— Заглавия басен Крылова указаны Гоголем неточно. Нужно «Музыканты», «Пруд и Река» и «Сочинитель и Разбойник».

Стр. 187. *Властитель хочет ли народы удержать?*—Во всех девяти книгах басен Крылова цитированное Гоголем двустишие о «властителе» не обнаружено. Очевидно, здесь ошибка памяти Гоголя.

Но сколь и тот почтен... — цитата из басни «Орел и Пчела» (1813).

Стр. 188. *...оно слышно даже... у Капниста... у князя Долгорукого.* — Единственная сатира, написанная В. В. Капнистом в 1777 г., была направлена против общечеловеческих пороков и бездарных сочинителей-рифмоплетов. Кн. И. М. Долгоруков (1764—1823) был известен сатирами на поэтов-сентименталистов (сб. «Бытие моего сердца», 1802).

...пародии князя Горчакова. — Горчаков Д. П. (1758—1824) — поэт, член шишковской «Беседы любителей русского слова», автор ряда рукописных сатир, высмеивавших писателей-сентименталистов, увлечение дворян чужеземными модами и проч.

...сатиру на литераторов Воейкова — «Дом сумасшедших».— Сатира-памфлет А. Ф. Воейкова (1778—1839) «Дом сумасшедших» была написана в 1814 году и широко распространялась в списках. Напечатана впервые в 1857 году.

...талантливые пародии Михайла Дмитриева. — Дмитриев М. А. (1796—1866) — поэт и критик реакционного направления, в 40-х годах деятельный сотрудник «Москвитянина», автор ряда

статей и стихотворных памфлетов-доносов, направленных против Белинского и «натуральной школы». Гоголь имеет в виду его пародии (в частности, на «Светлану» Жуковского), в большинстве своем оставшиеся ненапечатанными.

Стр. 193. *Аристофан... дерзнул осмеять Сократа.*— Аристофан высмеял Сократа в комедии «Облака».

Стр. 199. *Маркиз Кюстин* (1790—1857) — французский литератор, издавший описания ряда своих путешествий. Гоголь вспоминает здесь его книгу «Россия в 1839 г.», изданную в 1845 году и проникнутую откровенной ненавистью к России.

ИЗ СТАТЕЙ 1846—1847 гг., НЕ НАПЕЧАТАННЫХ ПРИ ЖИЗНИ ГОГОЛЯ

О «СОВРЕМЕННИКЕ»

Статья, написанная в форме письма к издателю «Современника» П. А. Плетневу, предназначалась Гоголем для напечатания в первой книжке этого журнала за 1847 год. Гоголь отправил его в Петербург Плетневу 4 декабря 1846 года. Однако уже в октябре этого года была оформлена передача «Современника» в руки И. И. Панаева и Н. А. Некрасова. Статья Гоголя, таким образом, опоздала и осталась ненапечатанной. Впервые ее опубликовал полностью по автографу Н. С. Тихонравов в десятом издании сочинений Гоголя (т. IV).

Для понимания взглядов Гоголя на журналистику и ее задачи настоящая статья имеет не меньшее значение, чем написанная за десять лет до нее известная статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». Подвергая критике плетневский «Современник» за отсутствие ясных целей, за расплывчатость его программы, за «безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений», Гоголь формулирует свои требования к писателю-журналисту, непременными качествами которого должны быть: «юношеское живое участие ко всем волненьям современным», «любопытство к вопросам, раздающимся в массе общества», энциклопедическая разносторонность интересов. Журнал, если он претендует на признание публики, должен быть современным.

Если бы Гоголь мог быть в то время последовательным, он должен был бы поставить в пример такого живого, проникнутого единой принципиальной направленностью, журнал «Отечественные записки», какими они сделались при Белинском. Однако от-

чужденность Гоголя от Белинского и руководимого им литературного лагеря и открытая ненависть к Белинскому большинства друзей Гоголя не позволили ему прийти к объективной оценке этого передового журнала. Вместо этого Гоголь советует Плетневу отбросить все притязания на издание современного журнала и превратить «Современник» в нечто вроде альманаха.

Стр. 208. *Не певцу «Миниха».* — Элегия П. А. Плетнева «Миних» была напечатана в «Сыне отечества» (1821, № 26).

Пушкин задал себе цель, более положительную.— Характеристика будущего «Современника» дана была Пушкиным в письме к Бенкендорфу от 31 декабря 1835 года, в котором он ходатайствовал о разрешении на издание журнала: «Я желал бы в следующем 1836 году издать четыре тома статей чисто литературных (как-то: повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности, наподобие английских трехмесячных Reviews ⟨обозрений⟩» (А. С. Пушкин, т. X, стр. 557).

Стр. 209. *...он должен скорей напомнить собой «Северные цветы» барона Дельвига.*— А. А. Дельвиг издавал альманах «Северные цветы» с 1825 по 1831 год. В альманахе участвовали Пушкин, Жуковский, Крылов, Вяземский, Баратынский и др.

Стр. 210. *Прежде всего следует назвать графа Соллогуба.*— В. А. Соллогуб (1814—1882) —беллетрист 40-х годов, автор светских повестей («Большой свет» и др.), примкнувший затем к «натуральной школе», результатом чего было появление новых его повестей, более демократических по содержанию («История двух калош», «Аптекарша» и др.). Белинский в начале 40-х годов положительно оценивал повести Соллогуба, находя в них «верность в изображении характеров», «простоту и верное чувство действительности», но при этом отмечал отсутствие в них «субъективного элемента», то есть ясной и критически продуманной оценки изображаемых явлений. Это отсутствие «горячих убеждений, глубоких верований» привело к тому, что в дальнейшем, когда «натуральная школа» достигла большей идейной зрелости, Соллогуб отошел от нее и к 50-м годам утратил всякое значение как писатель.

...писателя, который скрыл свое имя под выдуманным: козак Луганский. — В оценке повестей и рассказов казака Луганского (В. И. Даля, 1801—1872) Гоголь перекликается с высказываниями Белинского, высоко ценившего у Даля

его знание народного быта и языка; указывая, что «повесть с завязкой и развязкой не в таланте В. И. Луганского», Белинский положительно оценивал его «физиологические очерки лиц разных сословий», замечательные по умению изобразить типические характеры русской жизни.

Стр. 211. *Я не знаю, почему замолчал Н. Павлов.*— Н. Ф. Павлов (1805—1864) получил известность как автор сборника «Три повести» (1835), куда вошли «Аукцион», «Именины» и «Ятаган» — произведения с ярко выраженным демократическим содержанием. Его «Новые повести»: «Маскарад», «Миллион» и «Демон» (1839), о которых скептически отзывается Гоголь, действительно знаменовали обращение писателя к традиционным темам светской жизни.

Кулиш... Роман же его, довольно любопытный по частям, вял и скучен в целом. — П. А. Кулиш (1819—1897) — участник буржуазно-националистического движения на Украине, в 40-х годах начал свою литературную деятельность повестями из украинской жизни на народно-бытовые и исторические темы. В «Сочинениях и письмах» Гоголя, вышедших под редакцией Кулиша в 1857 году, в примечании к этому месту статьи пояснялось, что Гоголь говорит об историческом романе Кулиша «Михайла Чернышенко», изданном в 1843 году.

...подобно тому как некогда рассказывал Корнилович. — Декабрист А. О. Корнилович (ок. 1795—1834) занимался историей Петра I и печатал в 20-х годах (в альманахе «Полярная звезда» и других изданиях) рассказы и статьи из русской истории.

Стр. 212. *...несколько молодых писателей показали особенное стремленье к наблюденью жизни действительной.*— Молодые писатели «натуральной школы», руководимой Белинским. Успехи этой школы действительно стали особенно заметными к 1846—1847 годам. Одобрительный отзыв Гоголя о них тем более знаменателен, что близкие к Гоголю сотрудники «Москвитянина» со злобой и ненавистью преследовали «натуральную школу» в своих журнальных статьях.

...о писателе, выступившем на литературное поприще драмою «Смерть Ляпунова».— Автором исторической драмы «Смерть Ляпунова» (1845) был С. А. Гедеонов (1816—1878), впоследствии директор Эрмитажа и императорских театров. Суровую оценку драмы Гедеонова в свете эстетических и общественно-литературных идей Белинского дал тогда же

И. С. Тургенев в статье, помещенной в «Отечественных записках», 1846, № 8 (см. И. С. Тургенев, Собр. соч. в двенадцати томах, т. 11, М. 1956, стр. 45—70).

...отыскал Прокоповича и умел склонить его взяться за перо повествователя. — Прокопович Н. Я. (см. о нем в наст. томе, стр. 519) был автором нескольких сказок, баллад и лирических стихотворений, не отличавшихся творческой самостоятельностью.

Стр. 214. *У меня никогда не было стремленья... отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас.*—Усилившееся в эти годы болезненное увлечение Гоголя идеей религиозно-нравственного совершенствования приводило его к глубоко неверному истолкованию основ его собственного творчества, что звучит и в настоящей статье. С этим же связаны и его замечания по адресу молодых писателей, учившихся у него искусству писать.

Стр. 215. *По тем стихотворным сказкам и повестям, которые были помещены... в «Современнике».*— В «Современнике» были напечатаны сказки Жуковского «Об Иване-царевиче и сером волке» (1845), «Кот в сапогах» (1846), «Тюльпанное дерево» (1846).

АВТОРСКАЯ ИСПОВЕДЬ

Гоголь начал работать над этой статьей в мае 1847 года и в том же году закончил ее. Он предполагал напечатать ее «отдельной книжечкой», однако не осуществил этого плана, и при его жизни статья не была опубликована. По сохранившейся рукописи она была напечатана в 1855 году С. П. Шевыревым вместе с главами второго тома «Мертвых душ» («Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти», М. 1855). Заглавие — «Авторская исповедь» — было дано Шевыревым (в рукописи статья не озаглавлена).

Потребность написать эту статью явилась у Гоголя в результате критики, какой были встречены его «Выбранные места из переписки с друзьями». Особенно трудно было Гоголю примириться с тем, что все писавшие о «Переписке» увидели в этой книге разрыв писателя с прежним его творчеством, отречение от таких произведений, как «Ревизор» и «Мертвые души».

«Я не могу понять, отчего поселилась эта нелепая мысль об отречении моем от своего таланта и от искусства»,— писал он Шевыреву 27 апреля 1847 года (т. XIII, стр. 292). Отсюда и возникла в сознании писателя мысль о необходимости доказать,

что в развитии его творчества и взглядов на искусство была внутренняя логика и единство. О намерении осуществить эту мысль он писал Плетневу 10 июня того же 1847 года: «...я готовлю теперь небольшую книжечку, в которой хочу сколько возможно яснее изобразить повесть моего писательства, то есть в виде ответа на утвердившееся, неизвестно почему, мнение, что я возгнушался искусством, почел его низким, бесполезным и тому подобное. В нем скажу, чем я почитаю искусство, что я хотел сделать с данным мне на долю искусством, развивал ли я точно самого себя из данных мне материалов, или хитрил и хотел переломить свое направление...» (т. XIII, стр. 320).

Так родилась «Авторская исповедь» — эта глубоко искренняя и потому еще более трагическая попытка оправдать себя и доказать недоказуемое, убедить, что идеи «Выбранных мест» естественно выросли из идей, положенных им в основу «Ревизора» и «Мертвых душ».

В «Авторской исповеди» выделяется прежде всего ее полемическая направленность. Гоголь все время обращается к критикам своей книги, шлет им горькие упреки, опровергает их суждения, доказывает свою правоту. Кого же из критиков имеет в виду Гоголь? Внимательное чтение его статьи убеждает, что полемическое ее острие направлено против того критика, который высказал свое мнение о его книге с наибольшей прямотой и резкостью, с наибольшей страстностью и силой убежденности,— против В. Г. Белинского.

Гоголь не мог не ценить Белинского, наиболее глубокого и проницательного истолкователя его творчества. Несомненно, к Белинскому относятся слова Гоголя из «Авторской исповеди»: «Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значение поэтических созданий». Именно поэтому не мог Гоголь пройти безразлично против гневной отповеди великого критика, до боли поразившей его. Это Белинскому отвечает Гоголь, доказывая, что он не воюет против просвещения народного, это Белинский обвинял его в хвастовстве своим смирением, это Белинский выступал «ратником за все общество» и вызывал Гоголя «на суд перед всю Россию»,— словом, каждый раз, когда Гоголь возвращается мыслью к своим критикам, перед ним неотступно стоит письмо Белинского.

Нет надобности разъяснять, насколько слабыми и неубедительными были попытки Гоголя оправдаться от обвинений передовой критики и общественности. Перед лицом народа, истории прав был Белинский, а не он.

Но в одном пункте аргументация Гоголя в его споре с Белинским оказывается убедительной: в вопросе о мотивах создания «Переписки», когда Гоголь защищается от обвинений в своекорыстных замыслах, в сознательной лжи, и утверждает, что был правдив и искренен в своей книге. Опубликованные уже после смерти Гоголя биографические материалы и исследования, особенно его переписка, воочию показали, что брошенные Белинским замечания о желании «набожного автора» устроить свое «земное положение» были лишены основания. Это было ясно уже Чернышевскому, имевшему возможность ознакомиться с письмами Гоголя, впервые опубликованными П. А. Кулишом в 1857 году («Сочинения и письма Н.В. Гоголя», СПб. 1857). В сохранившемся рукописном отрывке статьи об этом издании Чернышевский писал по поводу «Авторской исповеди»: «Весь тон этой статьи убеждает, что исповедь, в ней заключающаяся, добросовестна, что в ней Гоголь искренно, без всяких прикрас, изображает свою личность»(Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., М. 1947, т. III, стр. 775). В оценке идейных позиций Гоголя времен «Переписки» Чернышевский безусловно стоит на стороне Белинского. Но он видит в идеях «Переписки» и «Авторской исповеди» «слабости и странные заблуждения» великого и благородного человека, одушевленного «одною горячею, неизменною целью — мыслью о служении благу своей родины» (там же).

Первостепенное значение в «Авторской исповеди» имеют высказывания Гоголя о своем творчестве и об особенностях своего творческого метода. Это делает «Авторскую исповедь» важнейшим источником при изучении как общих проблем творчества Гоголя, так и его отдельных произведений.

Стр. 221. *...непомещение многих... статей.*— В первом издании «Выбранных мест из переписки с друзьями» цензурой были исключены следующие письма-статьи: XIX. «Нужно любить Россию»; XX. «Нужно проездиться по России»; XXI. «Что такое губернаторша»; XXVI. «Страхи и ужасы России»; XXVIII. «Занимающему важное место».

Стр. 235. *...воззванье ко всем читателям «Мертвых душ».*—

Так Гоголь называет предисловие ко второму изданию первого тома поэмы (1846). В рецензии на это издание Белинский с тревогой писал о гибельных для искусства и таланта ложных теориях и о парадоксах Гоголя, проявившихся в его «фантастическом предисловии» (В. Г. Белинский, т. X, стр. 51—53).

Стр. 238. *Под небом Африки моей...*—двустишие Пушкина из «Евгения Онегина» (глава первая, строфа L).

...как я сел уже на корабль.—В первый раз Гоголь отправился за границу в июле 1829 года, тотчас после неудачи с поэмой «Ганц Кюхельгартен». Однако уже в сентябре он вернулся в Петербург. Вторично он поехал за границу в июне 1836 года, вскоре после постановки «Ревизора» и появления его в печати.

Стр. 246. *Известная французская писательница*— Жорж Санд (1804—1876).

Стр. 247. *...любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе званье Луганского.*— Гоголь здесь повторяет ту высокую оценку творчества казака Луганского (В. И. Даля), которую он уже дал в статье «О «Современнике» (см. в наст. томе, стр.210—211).

ПИСЬМА

Первое издание писем Гоголя было осуществлено П. А. Кулишом в 1857 году. Ему удалось собрать около 800 писем Гоголя, которые и составили два тома в подготовленном им собрании «Сочинений и писем Н. В. Гоголя» (тт. V и VI, СПб. 1857). По цензурным условиям, а также вследствие требований многих корреспондентов Гоголя, предоставивших Кулишу хранившиеся у них письма, в напечатанных им текстах оказалось немало пропусков, сокращений, зашифрованных имен и т. д.

Накануне пятидесятилетия со дня смерти Гоголя вышло в свет новое, четырехтомное издание его писем, подготовленное В. И. Шенроком («Письма Н. В. Гоголя», изд. Маркса, СПб. <1901>, тт. I—IV). Много лет занимавшийся изучением Гоголя и собиранием материалов для его биографии, Шенрок сумел выявить и включить в свое издание около 1200 писем Гоголя. При перепечатке писем, уже известных по изданию Кулиша, Шенроку удалось восстановить многие цензурные пропуски и прочие сокращения. Вместе с тем в опубликованные им тексты писем вкралось немало случайных ошибок и искажений, бывших

следствием невнимательности редактора, несовершенства тогдашней текстологической практики, а иногда просто неумения разобрать трудные по почерку места в подлинниках писем.

В советские годы исследователями, в результате широкого изучения всех основных архивохранилищ СССР, было найдено еще значительное количество неизвестных ранее писем Гоголя. В Полном собрании сочинений Гоголя, предпринятом Академией наук СССР и законченном в 1952 году, к столетию со дня смерти писателя, было напечатано более 1300 писем, занявших пять томов (тт. X—XIV, 1940—1952). Тексты писем воспроизведены в этом издании с большой точностью по сохранившимся подлинникам, а при отсутствии таковых — по копиям или наиболее авторитетным публикациям.

Для настоящего тома, в соответствии с изложенными выше общими принципами, определившими его состав, отобрано 96 писем Гоголя, охватывающих всю сознательную его жизнь — с 1824 до начала 1852 года.

Тексты писем печатаются полностью, и лишь в немногих случаях, когда вопросам литературы посвящена небольшая часть письма, оно дается в отрывке, что каждый раз оговаривается.

Справки об адресатах даются в примечаниях к первому из писем, обращенному к данному лицу.

1. В. А. и М. И. ГОГОЛЯМ, 22 января 1824 г.

Из детских и юношеских писем Гоголя к родителям до нас дошло 24 письма, охватывающих время с 1820 по 1825 год. После смерти отца, Василия Афанасьевича Гоголь-Яновского (1777—1825), семейные письма Н. В. Гоголя адресуются почти исключительно матери, Марии Ивановне, урожденной Косяровской (1791—1868), переписка с которой продолжается у него до самой его смерти[1]. Включенные в настоящий том письма Гоголя к отцу и матери характеризуют круг его чтения, литературные и театральные интересы, отражают его любовь к искусствам.

Извините, что я вам не посылаю картин.—Сведения о догшед-

---

[1] Сводка основных данных о жизни и личности В. А. Гоголя и М. И. Гоголь дана в книге Д. Иофанова «Гоголь. Детские и юношеские годы», Киев, 1951.

ших до нас рисунках Гоголя даны в указанной книге Д. Иофанова. См. там же воспроизведение некоторых из рисунков Гоголя.

...прошу вас покорнейше прислать мне комедии.— С 1824 года воспитанники Нежинской гимназии начали увлекаться театральными постановками, в которых Гоголь принимал живейшее участие в качестве актера, декоратора, режиссера.

«Бедность и благородство души» (1789) и *«Ненависть к людям и раскаяние»* (1787) — сентиментальные драмы плодовитого немецкого драматурга Августа Коцебу, часто ставившиеся на сцене русского театра конца XVIII—первых десятилетий XIX в.

«Богатонов, или Провинциал в столице» (1817) — комедия М. Н. Загоскина.

«Эдип в Афинах» (1804) — трагедия В. А. Озерова. Была поставлена воспитанниками Нежинской гимназии на масленицу 1824 года. Роль Эдипа исполнял Базили, Антигоны — Данилевский, Креона — Гоголь. Гоголь принимал также участие в писании декораций для этого спектакля, для чего и нужно было полотно.

...узнал я о смерти Василия Васильевича Капниста.— В. В. Капнист (1757—1823) —известный русский поэт и драматург, автор комедии «Ябеда». Семья Гоголей часто бывала в усадьбе Капниста — Обуховке, находившейся по соседству с Васильевкой. Обуховку посещали декабристы Муравьевы-Апостолы (их имение Хомутец находилось в том же Миргородском уезде), Лунин, Лорер, Бестужев-Рюмин и другие. Гоголь в детстве мог встречаться с ними у Капнистов, хотя прямых данных об этом биографическая литература о Гоголе не содержит. Капнист умер 28 октября 1823 года.

Машенька — старшая сестра Гоголя; *Аненька* и *Лизонька* — его младшие сестры.

2. В. А. и М. И. ГОГОЛЯМ, 13 июня 1824 г.

Баранов П. А.— товарищ Гоголя по гимназии, усадьба его отца находилась недалеко от Васильевки.

Данилевский А. С.— см. о нем в прим. к письму № 17.

«Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах и прозе»—книга, составленная А. И. Тургеневым, В. А. Жуковским и А. Ф. Воейковым (1-е издание —1815—1817 гг.); в Нежинской гимназии была принята в качестве учебного пособия по русской словесности.

3. В. А. ГОГОЛЮ, 1 октября 1824 г.

...две тетради с стихами.— Гоголь, как и многие из его товарищей по гимназии, имел привычку переписывать для себя понравившиеся ему стихи. В таких рукописных сборниках стихов, бывших в ходу среди гимназистов, встречались вольнолюбивые стихи Пушкина, Рылеева и других декабристских поэтов. Сведения об этом сохранились в документах «дела о вольнодумстве» в Нежинской гимназии (см. Д. М. Иофанов, «Н. В. Гоголь. Детские и юношеские годы», Киев, 1951, и С. И. Машинский, «Гоголь и «дело о вольнодумстве». «Литературное наследство», т. 58, М. 1952).

«Эдип» — трагедия В. А. Озерова «Эдип в Афинах».

...новую балладу.— О какой балладе писал Гоголю отец, остается неустановленным.

...Пушкина поэму «Онегина».— Характерно, что Гоголь просит о присылке «Евгения Онегина» еще до напечатания романа: первая глава вышла в свет в 1825 году, отрывки из нее перед тем появились в альманахе «Северные цветы» на 1825 год.

Вторая часть письма, обращенная к матери, здесь опущена.

4. Г. И. ВЫСОЦКОМУ, 17 января 1827 г.

Высоцкий Герасим Иванович — близкий товарищ Гоголя, сначала по полтавскому уездному училищу, а затем по Нежину. Был старше Гоголя на два класса и окончил гимназию в 1826 году, после чего переехал в Петербург.

С января 1827 года в письмах Гоголя начинают все настойчивее звучать настроения тоски и одиночества, жалобы на пошлость окружающих его «существователей» (см. также письмо № 6). Причину этих тягостных переживаний Гоголя следует искать в обстоятельствах гимназической жизни того времени: именно с января 1827 года реакционная профессура в лице Билевича начинает преследование передовых профессоров. В сохранившихся документах Нежинской гимназии имеются сведения о ряде столкновений Билевича с учениками, в том числе с Гоголем.

Шапалинский Казимир Варфоломеевич (1786 — ум. после 1866 г.) — старший профессор физико-математических наук в Нежинской гимназии; с 1826 года, после ухода Орлая, исполнял обязанности директора гимназии. С момента возникновения дела по обвинению проф. Н. Г. Белоусова и других передовых

учителей в политическом и религиозном вольнодумстве стал на их сторону и настойчиво защищал обвиняемых. В 1830 году был уволен из гимназии, лишен права преподавания и сослан в Вятку, со строгим полицейским надзором, который был снят с него в 1866 году. Был связан с бывшим членом Союза Благоденствия В. Лукашевичем, что (наряду с польским происхождением) и послужило причиной особо суровых мер, примененных к нему.

Данилевский тоже выбыл.— В 1826 году Данилевский перевелся в Московский университетский пансион. В июне 1827 года он вернулся в Нежинскую гимназию, которую и окончил одновременно с Гоголем.

Белоусов Николай Григорьевич (1799—1854) — профессор юридических наук в Нежинской гимназии, с 1826 года — инспектор гимназии. Весной 1827 года на него был подан проф. Билевичем донос, послуживший началом «дела о вольнодумстве» в Нежинской гимназии. Дело привлекло внимание петербургских властей, им занимался сам Николай I, не без основания видевший в нем один из отголосков декабристского движения. Гоголь, в числе других воспитанников привлекавшийся к допросам, давал показания в пользу Белоусова, к которому он относился с большим уважением и любовью. В 1830 году Белоусов вместе с тремя другими профессорами был отстранен от должности «с запрещением ему службы по учебному ведомству». Неизменно сочувственные упоминания о Белоусове встречаются и в позднейших письмах Гоголя.

Барончик, *Доримончик*, *фон Фонтик Купидончик*, *Мишель Дюсенька*, *Хопцики* — шутливо-презрительные прозвища, которые Гоголь давал одному из своих соучеников, М А Риттеру.

Батюшечка — протоиерей П. И. Волынский, учитель «закона божьего», реакционер, злобно преследовавший Н. Г Белоусова на протяжении всего «дела». К Гоголю, по свидетельству А. С. Данилевского, относился враждебно и придирчиво.

5. М. И. ГОГОЛЬ, 26 февраля 1827 г.

Две французские пьесы.— Наряду с русскими пьесами гимназисты, по распоряжению начальства, должны были ставить французские и немецкие пьесы, чтобы иметь практику в иностранных языках. Какие именно пьесы Мольера и Флориана ставились ими, остается неизвестным.

«Недоросль».— Этот спектакль имел наибольший успех. Базили, исполнявший в нем роль Стародума, вспоминал позднее о Гоголе, игравшем Простакову: «...Удачнее всего давалась у нас комедия Фонвизина «Недоросль». Видал я эту пьесу и в Москве и в Петербурге, но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь» (В. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. 1, 1892, стр. 241).

«Неудачный примиритель» — комедия Я. Б. Княжнина «Неудачный примиритель, или Без обеду домой поеду», изданная впервые в 1790 году.

«Лукавин» — комедия популярного в 20-х годах водевилиста А. И. Писарева, переделанная им из английской комедии Шеридана «Школа злословия». Впервые была поставлена в Москве в 1823 году.

«Береговое право» — драма А. Коцебу, изданная в русском переводе в 1819 году.

Директора, г-на Ясновского. — Д. Е. Ясновский, назначенный директором Нежинской гимназии, прибыл в Нежин в октябре 1827 года. Он сразу стал на сторону реакционных профессоров, и при его прямом участии «дело о вольнодумстве» закончилось отстранением от должностей Белоусова, Шапалинского и других передовых профессоров гимназии.

Дяденьке Андрею Андреевичу — А. А. Трощинскому, двоюродному брату М. И. Гоголь, племяннику вельможи и мецената Д. П. Трощинского, владельца усадьбы Кибинцы. В первое время после переезда Гоголя в Петербург А. А. Трощинский оказывал ему покровительство. *Ольга Дмитриевна* — жена А. А. Трощинского.

6. Г. И. ВЫСОЦКОМУ, 26 июня 1827 г.

Любич-Романович В. И .(1805—1888) — гимназический товарищ Гоголя, окончил курс в 1826 году и с 1827 года находился в Петербурге. Впоследствии служил чиновником, занимался литературой, переводил из Байрона и Мицкевича.

Кляроцька — шутливое прозвище Клары Курдюмовой, сестры одного из гувернеров гимназии.

...гальвою — халвою.

Орлай Иван Семенович (1771—1829) — с 1821 по 1826 год был директором Нежинской гимназии, затем переехал в Одессу

директором Ришельевского лицея. Человек передовых взглядов, гуманный педагог, Орлай пользовался любовью и уважением воспитанников гимназии.

...гимназии высших наук князя Безбородко.— Нежинская гимназия носила имя екатерининского вельможи князя А. А. Безбородко, на средства которого она была учреждена.

Самойленко и др.— гимназические учителя и надзиратели.

Барон Кунжут фон Фонтик — М. А. Риттер (см. прим. к письму № 4).

7. П. П. КОСЯРОВСКОМУ, 3 октября 1827 г.

Косяровский Петр Петрович — двоюродный дядя Гоголя. В 1827—1828 годах Гоголь находился в переписке с семьей Косяровских. Письмо имеет важное значение для понимания настроений и стремлений юноши Гоголя в последние годы его пребывания в гимназии: «...неугасимая ревность сделать жизнь свою нужною для блага государства» определила не только попытки Гоголя поступить на государственную службу, но в значительной степени и всю его литературную деятельность.

8. М. И. ГОГОЛЬ, 1 марта 1828 г.

Я чувствовал, что принесу вам большое неудовольствие своею просьбою.—Гоголь имеет в виду свои просьбы к матери о присылке денег, с которыми он обращался к ней в предыдущих письмах.

Я не говорил никогда, что утерял целые шесть лет даром.— О шести годах, проведенных в гимназии, как о «потерянном времени», Гоголь писал матери в письме от 15 декабря 1827 г. (Н. В. Гоголь, т. X, стр. 117).

9. М. И. ГОГОЛЬ, 30 апреля 1829 г.

Из больше чем тридцати писем к матери, относящихся к началу жизни Гоголя в Петербурге (1829—1831), мы помещаем только пять. В первом из них дается характеристика Петербурга, интересная рядом остро подмеченных жанровых деталей и особенно решительным осуждением столичной жизни, которая еще недавно так манила юного Гоголя. Настойчивая просьба к матери, повторяющаяся и в последующих письмах, насчет собирания и присылки материалов о жизни, быте, нравах и поэтическом творчестве украинского народа вводит нас в творческую

лабораторию молодого Гоголя, уже приступившего в это время к работе над повестями, составившими сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки».

...две папенькины малороссийские комедии.— Гоголь вскоре получил от матери просимые им украинские комедии В. А. Гоголя «Собака-вівця» и «Простак, або Хитрощі жінки, перехитрені москалем» (героями последней являются старый казак Роман и его молодая жена Параска). Однако поставить эти комедии на петербургской сцене Гоголю так и не удалось. Но он использовал их в своей работе над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» (см. об этом в прим. к т. 1 наст. изд.).

10. М. И. ГОГОЛЬ, 22 мая 1829 г.

Мне представлялся прекрасный случай ехать в чужие краи.— Факты, рассказываемые здесь Гоголем, другими биографическими материалами не подтверждаются. По предположению В. И. Шенрока, Гоголь хотел этим письмом подготовить мать к известию о его поездке за границу, предпринятой им в августе 1829 года.

Мне предлагают место.— С 10 апреля 1829 года Гоголь был зачислен на службу в департамент уделов на должность писца; 22 июля он был назначен помощником столоначальника.

Денег мне необходимо нужно теперь триста рублей.— Эти деньги были нужны Гоголю на уплату типографии за печатание «Ганца Кюхельгартена» (книга вышла в свет в июне).

11. М. И. ГОГОЛЬ, 2 февраля 1830 г.

...от Андрея Андреевича — от Трощинского А. А. (см. прим. к письму № 5).

Должность, о которой пишет Гоголь,— служба в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий (с ноября 1829 по февраль 1830 года).

...безрассудное явление — внезапная поездка Гоголя за границу в 1829 году, сильно встревожившая тогда его мать.

Турецкие посланники... не нахвалятся... ловкостью нашего садовника.— Крепостной садовник Гоголей Павел в 1829 году исполнял обязанности форейтора при проезде через Полтавскую губернию членов турецкого посольства, направлявшегося в Петербург.

В начале 1830 года в «Отечественных записках» (№ 2 и 3) была напечатана повесть Гоголя «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», принесшая ему первый литературный успех. Прочитав эту повесть, присланную ей Гоголем, М. И. Гоголь, преисполненная материнской гордости, готова была принять за произведение сына любое сочинение в последующих книгах «Отечественных записок».

В конце письма имеется приписка сестре Марии Васильевне, опущенная здесь ввиду незначительности ее содержания.

...предвижу я для себя много хорошего.— Настоящее письмо написано Гоголем в то время, когда у него установились связи с альманахом «Северные цветы» и «Литературной газетой» Дельвига, что давало ему надежды на дальнейшие литературные успехи.

Человека, о котором вы говорите.— Есть предположение, что Гоголь здесь высказывает недовольство поведением своего дальнего родственника С. М. Яновского.

...поступок с Кутузовым.— Голенищев-Кутузов Л. И., влиятельный военный деятель и автор ряда работ по вопросам морского флота. Перед отъездом в Петербург Гоголь получил от Д. П. Трощинского рекомендательное письмо к Кутузову. О каком «глупом поступке с Кутузовым» идет речь — неизвестно.

Павел Свиньин (1787—1839) — первый издатель журнала «Отечественные записки» (1818—1830). Отрывки из его стихотворной комедии «Светский быт» печатались в «Отечественных записках» с января по май 1830 года и в альманахе «Радуга» в том же 1830 году (сообщение Гоголя о печатании ее «три года назад» неточно).

«Якуб Скупалов».— Этот «нравственно-сатирический роман» вышел в свет в 1830 году, без имени автора. Позднее было установлено, что роман был написан А. Бошняком, бездарным писакой и тайным агентом III отделения, который участвовал в раскрытии заговора декабристов и вел слежку за Пушкиным.

Что вы нашли моего в этом «Лоскутке бумаги»?— «Лоскуток бумаги» — очерк В. Бурнашева, напечатанный в числе других его очерков в «Отечественных записках», 1830, июнь.

13. А. С. ПУШКИНУ, 21 августа 1831 г.

Гоголь был представлен Пушкину на вечере у П. А. Плетнева 20 мая 1831 года. Летом 1831 года Гоголь жил под Петербургом, в Павловске; в это время он ближе познакомился с Пушкиным, жившим в Царском Селе.

У Плетнева я был.— Перед отъездом Гоголя в Петербург (15 августа) Пушкин вручил ему рукопись «Повестей Белкина» для передачи Плетневу.

Любопытнее всего было мое свидание с типографией.— Рассказ Гоголя о впечатлении, произведенном «Вечерами» на наборщиков, очень понравился Пушкину. В ответном письме от 25 августа он писал: «Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъяснениями фактора» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. XIV, стр. 215). А в письме к А. Ф. Воейкову, напечатанном в № 79 «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» от 3 октября 1831 года, Пушкин, приветствуя выход в свет повестей Гоголя, полностью пересказал этот эпизод (см. прим. к т. 1 наст. изд.).

Орлов А. А. — низкопробный писатель, автор многих «нравственно-сатирических романов», два из которых названы в письме Гоголя. Пушкин в полемических статьях 1831 года, подписанных псевдонимом «Феофилакт Косичкин» и высмеивавших Булгарина, проводил обидное для Булгарина сопоставление его с Орловым. Набросок журнальной статьи-памфлета, данной Гоголем в настоящем письме, выдержан в манере «Феофилакта Косичкина».

...*над Фадеем Бенедиктовичем* — над Булгариным.

...*с Надеждою Николаевною.*— Гоголь ошибочно назвал так жену Пушкина, на что Пушкин ему шутливо ответил: «Ваша Надежда Николаевна, то есть моя Наталья Николаевна,— благодарит Вас за воспоминание и сердечно кланяется Вам» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч, изд. АН СССР, т. XIV, стр. 215).

14. М. И. ГОГОЛЬ, 21 августа 1831 г.

О болезни совсем и не слышно — то есть о холере, эпидемия которой летом 1831 года распространилась и в Петербурге. Желая успокоить этими словами тревогу матери, Гоголь гре-

шил против истины: эпидемия еще продолжалась (см. об этом в письме к Жуковскому, № 15).

Книжка вам будет приятна.— Гоголь послал матери альманах «Северные цветы на 1831 год», где была помещена его «Глава из исторического романа», подписанная «четырьмя нулями». Следующие далее объяснения Гоголя, что издатели якобы получили ее «давно» и притом «от неизвестного», не соответствуют действительности.

15. В. А. ЖУКОВСКОМУ, 10 сентября 1831 г.

Знакомство Гоголя с Жуковским относится к началу 1831 года. В летние месяцы этого же года они часто виделись в Царском Селе. Установившаяся тогда между ними дружеская близость нашла свое отражение в настоящем письме — первом из обширной переписки между Гоголем и Жуковским.

Насилу мог я управиться с своею книгою.— Речь идет о первой части сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», вышедшей в свет в начале сентября 1831 года.

Розетти — Александра Осиповна Россет, в замужестве Смирнова (1810—1882), фрейлина императрицы, находилась в дружеских отношениях с Жуковским, Пушкиным, Гоголем.

Карантины.— В связи с эпидемией холеры вокруг Петербурга были установлены карантинные заставы.

Окна мелом забелены...— строки из строфы XXXII шестой главы «Евгения Онегина».

...сказка ваша уже окончена... И Пушкин окончил свою сказку. — Жуковский в сентябре 1831 года закончил «Сказку о царе Берендее» и начал «Сказку о спящей царевне». Пушкин 29 августа закончил «Сказку о царе Салтане».

16. М. В. ГОГОЛЬ, 19 сентября 1831 г.

Эти строки представляют собою приписку в письме к матери, адресованную к старшей из сестер Гоголя, Марии Васильевне. Содержание этой приписки показывает, с какой настойчивостью собирал Гоголь нужные ему материалы для работы над повестями из украинской жизни.

Поздравляю... с радостным для нас обоих днем.— Письмо было послано к дню именин М. И. Гоголь.

17. А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ, 2 ноября 1831 г.

Данилевский Александр Семенович (1809—1888) — самый близкий друг Гоголя (их отцы были товарищами по школе и соседями по имению). Данилевский учился с Гоголем в полтавском училище и в Нежинской гимназии высших наук. С ним Гоголь уехал в 1828 году в Петербург, дружба их продолжалась и там. Позднее они вместе совершали поездки на родину; в 1836 году, также вдвоем, они уехали за границу. Биограф Гоголя В. И. Шенрок встретился со стариком Данилевским в 1884 году и записал с его слов много биографических данных о Гоголе (опубликованы в «Материалах для биографии Гоголя»).

Купидо сердца...— цитата из комедии Я. Б. Княжнина «Неудачный примиритель» (1790).

...обращался к здешним артисткам.— Артистками Гоголь называет любительниц музыки, фрейлин Софью Урусову и Александру Россет (см. прим. к письму № 15).

Порося мое — «Вечера на хуторе», вышедшие в свет в сентябре 1831 года.

...славы дань, кривые толки, шум и брань — цитата из заключительной строфы первой главы «Евгения Онегина».

...не был свидетелем времен терроризма.— Намек на народное волнение в Петербурге в июне 1831 года, вызванное эпидемией холеры и подавленное вооруженными силами правительства.

«Кухарка»— то есть поэма Пушкина «Домик в Коломне». (1830).

Одна... писана даже без размера, только с рифмами — «Сказка о попе и о работнике его Балде» (в настоящее время исследователи творчества Пушкина относят написание этой сказки к осени 1830 года).

А какая бездна новых баллад! — Жуковский, кроме сказок «О царе Берендее» и «О спящей царевне» (см. прим. к письму № 15), написал в 1831 году много баллад («Кубок», «Жалоба Цереры» и др.).

18. А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ, 1 января 1832 г.

«Северные цветы».—Книга альманаха на 1832 год, о которой пишет Гоголь, была издана по инициативе Пушкина друзьями умершего Дельвига в пользу братьев поэта. Кроме названных Гоголем произведений Пушкина, в ней были напечатаны

стихотворения «Эхо», «Анчар», «Дорожные жалобы» и ряд других.

«Альциона» — альманах, издававшийся Е. Ф. Розеном с 1831 по 1833 год. В «Альционе» на 1832 год были помещены «Пир во время чумы» Пушкина и его стихотворение «На перевод Илиады».

Жуковского «Змия» — баллада «Сражение со змеем» (1831).

Красненький — шутливое прозвище Н. Я. Прокоповича.

Семереньки — усадьба родителей Данилевского на Полтавщине.

...рекомендацию... в «Северной пчеле».— Рецензия на «Вечера на хуторе близ Диканьки» была помещена в «Северной пчеле» (1831, № 219 и 220). В отличие от последующих злобных нападок булгаринской газеты на Гоголя, настоящая рецензия давала «Вечерам» в целом положительную оценку. Автором ее был, по-видимому, В. А. Ушаков.

Что тебе сказать о наших? — Речь идет о живших в Петербурге товарищах Гоголя по Нежину: Прокоповиче, Пащенко и других.

19. А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ, 30 марта 1832 г.

Хрия — строго формулированные правила, согласно которым должны были строиться рассуждения (изучение хрии входило в систему «науки красноречия» — риторики).

Возвышенный — насмешливое прозвище Н. В. Кукольника, данное ему Гоголем еще в гимназии.

С паном Пла̀тоном. — Платон — брат Н. В. Кукольника. Поставленное Гоголем ударение иронически передает характерное для украинского дворянства произношение на польский лад.

«Тасс» — «драматическая фантазия» «Торквато Тассо», писавшаяся Кукольником еще в Нежине и изданная в 1832 году. Подчеркнуто иронический тон характеристики Кукольника и его драмы свидетельствуют о решительном отрицании Гоголем реакционного романтизма 30-х годов, видным представителем которого был Кукольник.

20. И. И. ДМИТРИЕВУ, около 20 июля 1832 г.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837)— поэт и баснописец, друг и последователь Карамзина, был одно время министром юстиции при Александре I. После выхода в отставку жил на

покое в Москве. Летом 1832 года, по дороге на Украину, Гоголь останавливался в Москве, где он познакомился с Щепкиным, Аксаковым, Погодиным и другими московскими писателями. Тогда же он, очевидно, посетил и Дмитриева, который, не играя уже никакой роли в литературной жизни, пользовался авторитетом одного из старейших русских поэтов.

...совершенно такой, какая описана незабвенным Карамзиным.— Вероятно, Гоголь имел в виду очерк Карамзина «Деревня» (1792). Упоминая об этом, Гоголь хотел, очевидно, быть приятным Дмитриеву, давнему другу и литературному соратнику Карамзина.

21. И. И. ДМИТРИЕВУ, 30 ноября 1832 г.

...не удалось мне быть у вас перед выездом моим в Петербург.— Проведя вторую половину лета и начало осени в Васильевке, Гоголь в начале октября выехал в Петербург, взяв с собой двух младших сестер для определения их в Патриотический институт. По дороге он останавливался в Москве (вторая половина октября). В Петербург он возвратился 30 октября.

Газеты он не будет издавать.— Пушкин намеревался приступить к изданию газеты «Дневник», однако этот проект не был им осуществлен.

«Дом сумасшедших» — предполагаемое название сборника философско-психологических повестей В. Ф. Одоевского, который был задуман им в начале 30-х годов. Сборник осуществлен не был, предназначенные для него произведения, в том числе вводный очерк «Кто сумасшедший» и повести «Последний квартет Бетховена», «Импровизатор», «Себастиан Бах», были включены Одоевским в позднейший сборник «Русские ночи» (издан в 1844 г.). Задумывая цикл «Дом сумасшедших», Одоевский предполагал показать в нем людей, устремленных в область исканий высокой истины, кажущихся безумцами с точки зрения пошлого, ограниченного повседневными интересами общества.

22. М. П. ПОГОДИНУ, 1 февраля 1833 г.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875)— профессор Московского университета по кафедре русской истории, издатель журнала «Москвитянин» (с 1841 г.). В начале своей литературной деятельности выступил как автор нескольких повестей («Черная немочь» и др.) и исторических драм. В это время (до сере-

дины 30-х годов) он примыкал к литературному кругу Пушкина. Позднее перешел на реакционные позиции и стал яростным проповедником идей самодержавия, православия и официальной народности. В духе этих идей он издавал и свой журнал «Москвитянин», ожесточенно нападавший на все передовое, что появлялось в русской литературе 40-х годов.

Гоголь познакомился с Погодиным в 1832 году в Москве. Скоро между ними установились дружеские отношения. Гоголь ценил в Погодине знающего историка, любителя старины, даровитого беллетриста. В последующие годы их дружба нарушалась резкими столкновениями и разногласиями (см. об этом в наст. томе, стр. 475—476). До нас дошло 89 писем Гоголя к Погодину.

...огромная драма —«История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове» Погодина (закончена в 1832 году, отрывки из нее напечатаны в «Современнике», 1837, № 1).

...драматическое искусство... совершеннее, нежели в Марфе. — «Марфа, посадница Новгородская», первая историческая трагедия Погодина (1830), вызвавшая одобрительный отзыв Пушкина.

...ступенькою стал выше Петра.—Трагедия Погодина «Петр I», написанная в 1831 году, была тогда же запрещена Николаем I. Гоголь мог знать ее в рукописи. Уничтожающая характеристика высших классов России, данная в письме Гоголем, отражает сатирическую направленность его собственного творчества (в это время писатель работал над комедией «Владимир третьей степени»).

Как бы... достать ваших «Афоризмов»? — «Исторические афоризмы» Погодина, выхода в свет которых ожидал Гоголь, были напечатаны в 1834 году, в «Библиотеке для чтения», а отдельным изданием вышли в 1836 году. Рецензия на эту книгу была опубликована Гоголем в первом томе пушкинского «Современника» (1836).

Журнальца... я не посылаю.— Погодин был заинтересован письменными работами учениц Гоголя по Патриотическому институту и просил в письме к Плетневу прислать ему их тетради. Ответ на эту просьбу и дает здесь Гоголь.

Беттигер — немецкий профессор. Русский перевод его гимназического курса «Всеобщей истории» вышел в Москве в 1832 году.

Вы спрашиваете о Вечерах Диканских... Я не издаю их.— В письме к Погодину от 20 июля 1832 года Гоголь сообщал о

своем намерении выпустить второе издание «Вечеров» и просил в связи с этим навести справки у московских книгопродавцев. Этот проект Гоголя тогда не осуществился, и второе издание «Вечеров» появилось только в конце 1836 года.

23. М. П. ПОГОДИНУ, 20 февраля 1833 г.

Настоящее письмо, непосредственно связанное с предыдущим, дает ценный материал для понимания замысла комедии «Владимир третьей степени», работа над которой была прекращена Гоголем в предвидении цензурных препятствий.

Пушкин недавно говорил о тебе с государем.— Пушкин беседовал с Николаем I о привлечении Погодина к работе над историей Петра в начале февраля 1833 года.

Читал ли ты смирдинское «Новоселье»?— Первая часть альманаха «Новоселье» была издана книгопродавцем А. Ф. Смирдиным в 1833 году, в честь перевода его книжной лавки в новое помещение. Отзыв Гоголя относится к напечатанной в «Новоселье» фантастической повести О. И. Сенковского (барона Брамбеуса) «Большой выход Сатаны».

...в Москве альманах составляется.— Московский альманах, о проекте которого пишет Гоголь, в свет не вышел.

«Комета Галлея».— Повесть Погодина «Галлеева комета» появилась в 1833 году в альманахе «Комета Белы», который был назван Гоголем «вздорным альманахом» (в письме к А. С. Данилевскому от 8 февраля 1833 г.—Н. В. Гоголь, т. X, стр. 259).

24. М. П. ПОГОДИНУ, 8 мая 1833 г.

Краевский А. А. (1810—1889) —петербургский журналист, начинавший в это время быстро выдвигаться благодаря своей предприимчивости и житейской ловкости. В 1836 году он был привлечен к участию в пушкинском «Современнике».

«Самозванец» — драматические сцены «История в лицах о Димитрии Самозванце», над которыми в это время работал Погодин (напечатаны в 1835 г.).

Пушкин уже почти кончил «Историю Пугачева».— «История Пугачева» была закончена Пушкиным в ноябре 1833 года.

...печатает... Наума и песни.— Популярная естественно-научная книга «для народного чтения» под заглавием «Книга Наума о великом божием мире» была издана Максимовичем в 1833 году. Одновременно Максимович работал над подготовкой нового издания своего сборника украинских народных песен (вышел в 1834 году).

Киреевский — вероятно, П. В. Киреевский (1808—1856), работой которого по собиранию русских народных песен Гоголь был очень заинтересован.

«Афоризмы» — см. прим. к письму № 22.

25. М. А. МАКСИМОВИЧУ, 9 ноября 1833 г.

Максимович Михаил Александрович (1804—1873) — профессор Московского, а затем Киевского университета, известный этнограф, историк и собиратель украинских народных песен, земляк и хороший знакомый Гоголя. Для второго издания сборника «Украинские народные песни» (1834) Гоголь передал Максимовичу большое количество собранных им текстов. Замечательная оценка песенного творчества украинского народа, данная здесь Гоголем, перекликается с его статьей «О малороссийских песнях» в «Арабесках» (см. наст. том, стр. 69—76).

Я... ничего не имею, чтобы прислать вам в вашу «Денницу».— Первые две книги альманаха «Денница», издававшегося Максимовичем, вышли в свет в 1830 и 1831 годах. Во время написания настоящего письма Максимович готовил третью книгу, вышедшую в 1834 году.

...мою старинную повесть — «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Была впервые напечатана Смирдиным в альманахе «Новоселье» (кн. 2-я, 1834).

...собрании Ходаковского. — Рукописный сборник украинских песен Ходаковского (псевдоним польского этнографа Адама Чарноцкого) принадлежал Максимовичу. Позднее он находился в руках Гоголя, который внес в него ряд дополнений. В настоящее время сборник этот хранится в Государственной публичной библиотеке УССР в Киеве.

Лучше вычеркнуть.— Слова эти относятся к написанным перед ними двум строчкам, зачеркнутым Гоголем так густо, что их невозможно разобрать.

26. М. А. МАКСИМОВИЧУ, после 20 декабря 1833 г.

Содержание письма связано с возникшим в это время у Гоголя проектом получения кафедры всеобщей истории во вновь открытом Киевском университете. Мысль об этом переезде подал Гоголю Максимович, сам предполагавший перевестись из Московского университета в Киевский. Восторженные мечты Гоголя о Киеве нашли также свое отражение в наброске «1834», написанном почти одновременно с настоящим письмом.

...святого Владимира.— Киевскому университету было присвоено имя киевского князя Владимира.

Я говорил Пушкину о стихах.— Речь идет о выполнении поручения Максимовича попросить у Пушкина дать что-либо из своих стихов для третьей книжки альманаха «Денница».

...две большие пьесы...— «Анжело» и «Медный всадник». В «Денницу» на 1834 год не вошло ни одно произведение Пушкина.

...жду... обещанной тетради песен.— Вероятно, песен из сборника Ходаковского (см. прим. к письму № 25).

...одну из самых интересных.— Песню, которую Гоголь здесь приводит, он незадолго перед тем получил от сестры Марии Васильевны. Благодаря в ответном письме сестру за присылку этой песни, Гоголь писал, что она «очень характерна и хороша».

27. А. С. ПУШКИНУ, 23 декабря 1833 г.

Содержание этого письма, как и предыдущего, связано с проектом получения кафедры в Киевском университете (см. выше, письмо № 26). Очевидно, еще до настоящего письма у Гоголя возникла мысль обратиться по этому вопросу, через посредничество Пушкина, к Уварову, который с марта 1833 года занимал должность управляющего министерством народного просвещения (министром он был утвержден в 1834 году). Пушкин мог согласиться на просьбу Гоголя, так как в это время его отношения с Уваровым еще не были так обострены, как это случилось позднее. Давая в письме лестные отзывы о трудах Уварова, Гоголь, возможно, имел в виду, что Пушкин как-либо упомянет о них в беседе с Уваровым.

...я решился... набросать мои мысли и план преподавания на бумагу.— Для подкрепления своей просьбы Гоголь написал план преподавания всеобщей истории. Одобренный Уваровым,

этот план был напечатан в феврале 1834 года в «Журнале министерства народного просвещения». Позднее Гоголь включил его в «Арабески» под заглавием «О преподавании всеобщей истории».

...во взгляде на жизнь Гете.— Речь Уварова о Гете была произнесена им 22 марта 1833 года на торжественном собрании Академии наук, посвященном памяти Гете. Текст речи тогда же был опубликован на французском языке и вслед за тем в русском переводе напечатан в «Ученых записках Московского университета» (1833, № 1, стр. 74—94). В своем письме Гоголь дал явно преувеличенную оценку речи Уварова, в которой банальные мысли сочетались с откровенно выраженными реакционными тенденциями в истолковании творчества великого немецкого поэта (об этой речи Уварова см. в исследовании С. Н. Дурылина «Русские писатели у Гете в Веймаре», «Литературное наследство», т. 4—6, М. 1932, стр. 213—215).

Не говорю уже о мыслях его по случаю экзаметров.— В 1813 году Уваров опубликовал «Письмо к Н. И. Гнедичу о греческом экзаметре» («Чтения в Беседе любителей русского слова», 1813, вып. 13, стр. 56—68), в котором доказывал необходимость переводить древнегреческие эпические поэмы гекзаметром, а не александрийским стихом, как это делали французские поэты, а по их примеру и русские переводчики XVIII века. В напечатанном в той же книге (стр. 69—86) ответе Гнедич выразил свое согласие с мыслями Уварова и представил на обсуждение читателей перевод гекзаметром отрывка из «Илиады».

...более сделает, нежели Гизо во Франции.— Гизо (1787—1874)— крупный французский историк; после революции 1830 года вошел в состав буржуазно-либерального правительства Франции и с 1833 года занял пост министра народного просвещения.

У него в «Естественной истории» есть много хорошего.— В 1833 году Максимович издал книгу «Размышления о природе», отдельные части которой раньше печатались в виде журнальных статей.

...ничего похожего на галиматью Надеждина.— Имеются в виду статьи Надеждина, печатавшиеся им в «Телескопе».

28. М. П. ПОГОДИНУ, 11 января 1834 г.

Настоящее письмо непосредственно перекликается с позднее написанной статьей «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». И статья и письмо направлены против ре-

акционной клики журналистов, главным образом против Сенковского, журнал которого «Библиотека для чтения» начал издаваться с 1834 года.

Счастлив ты, златой кузнечик...— неточная цитата из стихотворения Державина «Кузнечик» (1802).

«Фантастические путешествия барона Брамбеуса» — были выпущены в свет Сенковским в 1833 году. Булгарин печатал свои очерки фантастических путешествий в 1824 и 1825 годах.

...я прочел... твои «Афоризмы».— См. прим. к письму № 22.

...со времени унии.— См. наст. том, стр. 467.

Правда ли, что он печатает русские песни? — Первый выпуск собрания русских народных песен П. В. Киреевского был издан только в 1848 году.

29. И. И. СРЕЗНЕВСКОМУ, 6 марта 1934 г.

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — крупный русский ученый-филолог, профессор сначала Харьковского, затем Петербургского университета, позднее — академик. Знакомство Гоголя со Срезневским произошло на почве общего интереса к истории и песенному творчеству украинского народа. Издаваемые с 1833 года Срезневским сборники фольклорных и исторических материалов «Запорожская старина» привлекли особенное внимание Гоголя. Настоящее письмо дает материал для изучения источников, использованных Гоголем при создании «Тараса Бульбы».

«Конисский» — Гоголь так называет «Историю русов», известную ему в рукописи (была опубликована в 1846 году). Современная Гоголю традиция приписывала ее составление Георгию Конисскому, архиепископу Белорусскому. Позднее было доказано, что автором «Истории русов» был Г. А. Полетика, украинский публицист, давший в своем труде тенденциозное, проникнутое помещичьей идеологией, националистическое истолкование истории Украины. Гоголь использовал из этой «Истории» некоторый фактический материал для «Тараса Бульбы».

Кроме Конисского, Гоголь называет еще и другие известные ему в списках работы: А. Шафонского — «Черниговского наместничества топографическое описание, с кратким географическим и историческим описанием Малыя России» (было издано только в 1851 г.); А. Ригельмана — «Летописное повествова-

ние о Малой России и ее народе и козаках вообще» (опубликовано в 1846 г.).

Труд Д. Н. Бантыш-Каменского «История Малой России со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением первобытного состояния сего края» был издан в 1822 году, вторым изданием вышел в 1830 году.

30. М. А. МАКСИМОВИЧУ, 26 марта 1834 г.

Начало письма связано с планами Максимовича о переводе в Киевский университет. Развиваемые далее Гоголем соображения о классификации украинских народных песен представляют большой интерес для изучения взглядов Гоголя на фольклор.

...князь Петр ...хлопотал об тебе — Петр Андреевич Вяземский (1792—1878), поэт и литератор, друг Пушкина и Жуковского, близкий в прошлом к декабристским кругам. В 1829 году, после покаянного письма Николаю I, Вяземский вернулся на государственную службу и пользовался влиянием в петербургских официальных сферах.

«Вацлав».— Речь идет о сборнике галицийских, польских и украинских песен, изданных во Львове в 1833 году Вацлавом Залесским. Гоголь использовал материал этой книги для своего рукописного собрания песен, а также при работе над «Тарасом Бульбой».

31. М. А. МАКСИМОВИЧУ, 20 апреля 1834 г.

...дело твое подтвердилось.— Речь идет о предрешенном уже назначении Максимовича профессором русской словесности Киевского университета, которое состоялось 4 мая 1834 года.

...будешь писать Брадке ...намекни ему о мне. — Брадке Е. Ф.— тогдашний попечитель Киевского учебного округа. От него зависело решение вопроса о назначении Гоголя профессором в Киев.

...министр — С. С. Уваров (см. прим. к письму № 27).

...отпечатанные листки... порадовали.— По мере печатания нового издания своих «Украинских народных песен» Максимович присылал Гоголю отдельные листы этой книги.

Вот все, что отстоялось от прежних дум, от прежних

лет — неточная цитата из стихотворения А. А. Дельвига «К Плетневу» (1830).

За песнями люду Галичского.— См. прим. к письму № 30.

...*даже польского букваря нигде не отыщешь.*— В связи с происшедшим в 1830—1831 годах восстанием в Польше правительство Николая I усилило гонения против поляков, против польского языка и польской литературы.

...*пристроил твоего Наума.*— См. прим. к письму № 24.

32. М. А. МАКСИМОВИЧУ, 29 мая 1834 г.

Смирдин ...их изволил продержать. — В связи с предполагавшимся переездом на новую квартиру Гоголь просил своих московских друзей писать ему на книжную лавку Смирдина.

...*благодарю тебя за листки песен.* — См. прим. к письму № 31

Сергей Семенович — С. С. Уваров.

...*о бывших до него изданиях — твоем и Цертелева.*— Об упоминаемых здесь сборниках украинских песен см. в наст. томе, стр. 466. Далее в письме идет речь о написании статьи «О малороссийских песнях».

...*листок из истории Малороссии*— оттиск из «Журнала министерства народного просвещения» со статьей Гоголя «Отрывок из истории Малороссии».

33. А. С. ПУШКИНУ, конец декабря 1834 — начало января 1835 г.

...*должен ограничиться выкидкою лучших мест.*— При подготовке к изданию сборника «Арабески» Гоголь столкнулся с цензурными придирками к «Запискам сумасшедшего». Изъятия и искажения, произведенные цензурой, были позднее восстановлены исследователями по сохранившейся черновой рукописи повести (см. комментарий к «Запискам сумасшедшего» в т. 3 наст. изд.).

Я посылаю вам предисловие — к сборнику «Арабески».

34. А. С. ПУШКИНУ, около 22 января 1835 г.

Посылаю вам два экземпляра «Арабесков».— Сборник «Арабески» вышел в свет около 20 января 1835 года. Пушкин был, очевидно, одним из первых, кому Гоголь послал только что

полученные из типографии экземпляры книги. В библиотеке Пушкина сохранился один разрезанный экземпляр «Арабесок». Была ли им выполнена просьба Гоголя о замечаниях на сборник, остается неизвестным.

35. А. С. ПУШКИНУ, 7 октября 1835 г.

Содержащееся в письме сообщение Гоголя о работе над «Мертвыми душами» — первое из числа дошедших до нас. На просьбу о сюжете для комедии Пушкин, по-видимому, откликнулся во время ближайшей встречи с Гоголем в Петербурге (до конца октября он был в Михайловском). На основе сообщенного Пушкиным «сюжета» был написан «Ревизор».

Пришлите... мою комедию.— Просьба Гоголя относится к рукописи комедии «Женитьба», которую он ранее передал Пушкину для замечаний. Мысль продолжать работу над «Женитьбой» была затем на время оставлена Гоголем в связи с появлением замысла «Ревизора».

36. М. П. ПОГОДИНУ, 6 декабря 1835 г.

Письмо написано через день после окончания «Ревизора» (4 декабря). Погодин в это время только что вернулся из заграничной поездки. Его письмо из Германии к министру народного просвещения было напечатано в «Журнале министерства народного просвещения» (1835, кн. 7).

Я расплевался с университетом.— Отчисление Гоголя от должности адъюнкта по кафедре истории с официальной мотивировкой «по случаю преобразования С.-Петербургского университета» состоялось 31 декабря 1835 года.

Скажи Загоскину, что я буду... просить о всяком с его стороны вспомоществовании.— Загоскин М. Н. (1789—1852), исторический романист и драматург, занимал должность директора московских театров, и от него во многом зависела постановка «Ревизора» на сцене Московского Малого театра.

Той комедии, которую я читал у вас в Москве.— В мае 1835 года в Москве Гоголь читал в кругу приятелей «Женитьбу».

37. М. П. ПОГОДИНУ, 21 февраля 1836 г.

Думаю быть... в Москве.— Гоголь предполагал поехать в Москву, чтобы принять личное участие в постановке «Ревизо-

ра» на московской сцене. От этого плана он затем отказался (см. ниже, письма № 38 и след.).

...книг ...относительно славянщины.— После путешествия по западнославянским странам Погодин располагал свежими материалами по их истории и литературе.

О журнале Пушкина... уже знаешь.— В начале февраля в печати уже появились сообщения о выходе журнала Пушкина «Современник» (первая книга вышла в свет 11 апреля).

...на днях едет к вам в Москву.— Пушкин выехал в Москву значительно позднее намеченного срока, в конце апреля.

38. М. С. ЩЕПКИНУ, 29 апреля 1836 г.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — великий русский актер, основоположник реализма в истории русского театра, друг Гоголя, Белинского, Герцена, Шевченко. Был первым исполнителем роли городничего в московской постановке «Ревизора». С Гоголем Щепкин познакомился летом 1832 года в Москве. Сохранилось 11 писем Гоголя к Щепкину.

Первое представление «Ревизора» в Петербурге состоялось 19 апреля 1836 года. Главные роли исполняли: городничего — Сосницкий, Хлестакова — Дюр. В апреле же вышло в свет и первое издание комедии. Гоголь был потрясен ожесточенными нападками, обрушившимися на комедию со стороны правящих кругов. Непосредственным откликом на эти нападки, казавшиеся Гоголю всеобщими, и является данное письмо. Щепкин ответил Гоголю словами ободрения и участия, благодарил за «Ревизора» и убеждал отказаться от поездки за границу и приехать в Москву для наблюдения за постановкой комедии (первое представление в Москве состоялось 25 мая 1836 года, с Щепкиным в роли городничего и Ленским в роли Хлестакова). Гоголь все же в Москву не поехал и поручил заботы о постановке Щепкину (см. письмо № 39). Характеристику московского спектакля дал Щепкин в письме к Сосницкому от 3 июня 1836 года. Там же содержится объяснение враждебного отношения к пьесе большинства зрителей. «Как можно было ее лучше принять, когда половина публики *берущей*, а половина *дающей?*» (см. М. С. Щепкин, Записки и письма, Пг. 1914, стр. 163—164).

Комедию... «Женитьба», я теперь переделал.— Переделка «Женитьбы» в это время не была осуществлена Гоголем: отъезд

за границу и напряженная работа над «Мертвыми душами» надолго отвлекли его от этой комедии. «Женитьба» была закончена им только в 1842 году и, согласно обещанию, была отдана в бенефис Щепкину (в Москве) и Сосницкому (в Петербурге).

39. М. С. ЩЕПКИНУ, 10 мая 1836 г.

Написано до получения ответа от Щепкина на письмо от 29 апреля (№ 38).

...не одевайте Бобчинского и Добчинского в том костюме, в каком они напечатаны.— В первом издании «Ревизора», в «Замечаниях для гг. актеров», о костюмах Бобчинского и Добчинского было сказано: «Оба в серых фраках, желтых нанковых панталонах. Сапоги с кисточками.. Представляются: Добчинский в широком фраке бутылочного цвета; Бобчинский в прежнем гарнизонном мундире». Эти указания близки к тем, которые были даны в театре Храповицким при подготовке постановки «Ревизора». В последующих изданиях комедии Гоголь исключил приведенный выше текст.

Храповицкий Александр Иванович (1787—1855)—«инспектор российской труппы» в Петербурге, руководивший подготовкой первой постановки «Ревизора».

40. М. П. ПОГОДИНУ, 10 мая 1836 г.

Письмо отражает тягостные раздумья Гоголя, вызванные враждебными толками о «Ревизоре». Гоголь выехал из Петербурга за границу 6 июня 1836 года.

41. М. П. ПОГОДИНУ, 15 мая 1836 г.

Это письмо по настроению и мыслям примыкает к предыдущим. Однако в его заключительных строках звучит новый для Гоголя мотив покорности перед волей «провидения» — предвестие будущих его религиозно-нравственных воззрений.

Приглашение твое убедительно.— Гоголь отвечает здесь на письмо Погодина от 6 мая 1836 года, в котором Погодин, сообщая о радости Щепкина («Ты сделал с ним чудо. При первом слухе о твоей комедии на сцене он оживился, расцвел, вновь сделался веселым, всюду ездил и рассказывал»), горячо звал Гоголя в Москву, чтобы «прочесть пьесу актерам».

42. М. С. ЩЕПКИНУ, 15 мая 1836 г.

Я получил письмо от Сергея Тимофеевича Аксакова.— Это первое в обширной переписке Гоголя и Аксакова письмо не сохранилось. О его содержании и о своем предложении Гоголю взять на себя постановку «Ревизора» в Москве Аксаков рассказал в воспоминаниях «История моего знакомства с Гоголем» (см. С. Т. Аксаков, Собр. соч., М. 1956, т. III, стр. 157—160).

...*одну замышляемую мною пьесу.*— В истории творчества Гоголя в этот период замысел новой пьесы неизвестен. Не исключено, что Гоголь имел здесь в виду работу над «Мертвыми душами».

...*остающиеся две недели до моего отъезда.* — Гоголь выехал за границу только через три недели.

43. М. П. ПОГОДИНУ, 22/10 сентября 1836 г.

...*не гадкая Русь, но...*—При первой публикации этого письма в «Москвитянине» за 1855 год эти слова были вычеркнуты Погодиным.

...*не пишу тебе ничего о моем путешествии.*— Выехав из России, Гоголь направился в Германию, где посетил ряд немецких городов (Гамбург, Аахен, Кельн, Франкфурт-на-Майне и др.) и на некоторое время задержался в Баден-Бадене. С середины августа он перебрался в Швейцарию, где жил в Женеве и Веве, с наездами в Лозанну.

...*а там, может быть, за перо.*— В Веве Гоголь действительно возобновил работу над «Мертвыми душами».

44. В. А. ЖУКОВСКОМУ, 12 ноября 1836 г.

...*в Шильонском подземелье.*— Шильонский замок в Швейцарии, с которым связано действие поэмы, место паломничества многочисленных туристов. Этот замок когда-то посетил Байрон, оставивший в подземелье свою подпись. Жуковский, позднее побывавший там же, выцарапал свою подпись под именем Байрона.

...*творца и переводчика «Шильонского узника».*— Поэма Байрона «Шильонский узник» (1816) была переведена на русский язык Жуковским (1822).

Здесь встретил я... двоюродного брата.— Двоюродным бра-

том Гоголь называет здесь А. С. Данилевского, вместе с которым он выехал за границу.

Еще один Левиафан затевается.— Новый замысел, на который намекает здесь Гоголь, остается невыясненным.

45. М. П. ПОГОДИНУ, 28 ноября 1836 г.

...предприятия твоего издавать журнал.— Речь идет о задуманном Погодиным журнале «Москвитянин», издание которого осуществилось только в 1841 году.

В виду нас должно быть потомство, а не подлая современность.— В словах о «подлой современности» и о том, что надо творить для потомства, сказалась оскорбленная гордость великого писателя, чьи гениальные творения вызвали брань и нападки со стороны правящих классов самодержавно-крепостнической России.

...комедия — «Женитьба» (см. также прим. к письму № 38).

46. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ, 25 января 1837 г.

Прокопович Николай Яковлевич (1810—1857) — товарищ Гоголя по Нежинской гимназии, один из его ближайших друзей; по профессии — педагог, писал стихи, некоторые из них были напечатаны. Был близко знаком с Белинским. Прокопович наблюдал, по поручению Гоголя, за печатанием «Мертвых душ» и первого собрания его сочинений. Сохранилось 34 письма Гоголя к нему.

Об делах Испании... всякий хлопочет.— Борьба за престолонаследие после смерти короля Фердинанда VII, гражданская война в Испании, разработка либеральной конституции, введенной в июне 1837 года,— все это было острой политической темой европейской жизни 30-х годов XIX века.

«Людовик XI» — трагедия К. Делавиня, французского поэта и драматурга, продолжавшего традиции классицизма. Написана в 1832 году.

Федор Андреевич — лицо неустановленное.

Жюль — П. В. Анненков, шутливо прозванный так Гоголем (по имени французского писателя и фельетониста Жюля Жанена). Известная всему светскому Парижу близость Жюля Жанена к актрисе Жорж послужила Гоголю основанием для его подшучиванья над Анненковым.

«Гугеноты» (1836) и *«Роберт-Дьявол»* (1831) — известные оперы Мейербера, пользовавшиеся шумным успехом в эпоху июльской монархии во Франции.

...явились ...две такие вещи, каковы «Полководец» и *«Капитанская дочь».*— Стихотворение Пушкина «Полководец» было напечатано в «Современнике», 1836, кн. 3; «Капитанская дочка» — там же, кн. 4.

«Босфор» — статья Базили, напечатанная в «Сыне отечества» в 1836 году.

Комаровы — двоюродные братья А. А. и А. С. Комаровы, друзья Прокоповича. Через Прокоповича с ними познакомился и Гоголь. Особенно часто он бывал в Петербурге у А. А. Комарова, в доме которого он встречался с Белинским осенью 1839 года.

...которые издает Краевский.— А. А. Краевский принял на себя редактирование «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду» в 1837 году. Имя Гоголя было включено Краевским в опубликованный список сотрудников газеты без его ведома.

Мария Никифоровна — жена Прокоповича.

...куплеты... которые Данилевский послал к Пащенку.—Шуточные куплеты Гоголя и Данилевского о «нежинской бурсе» (текст их см.: Н. В. Гоголь, т. IX, стр. 11—12).

47. П. А. ПЛЕТНЕВУ, 28/16 марта 1837 г.

Это первый отклик Гоголя на известие о смерти Пушкина.

...нынешний труд мой, внушенный им — «Мертвые души», замысел которых был подсказан Гоголю Пушкиным.

Валентин — банкир Валентини в Риме, через которого Гоголь вел свои денежные дела.

48. М. П. ПОГОДИНУ, 30 марта 1837 г.

Настоящее письмо, замечательное по силе выраженной в нем страстной любви Гоголя к России и по глубине скорби, вызванной вестью о гибели Пушкина, было напечатано В. Шенроком в собрании писем Гоголя весьма неточно и с цензурными искажениями: в выражении «я плевал на презренную чернь, *известную под именем публики»*, были выброшены выделенные здесь курсивом слова; целиком исключена была фраза: «Или я не знаю, что такое советники, начиная от титулярного до

действительных тайных?» Полностью письмо было впервые опубликовано в 1902 году К. Н. Михайловым, в его труде «Вновь найденные рукописи Гоголя».

49. Н. М. СМИРНОВУ, 3 сентября 1837 г.

Смирнов Николай Михайлович (1807—1870) — крупный чиновник, муж постоянной корреспондентки Гоголя этих лет, Александры Осиповны Смирновой (см. прим. к письму № 15).

Зарг — лицо неустановленное.

...встретился я с Тургеневым. — Тургенев А. И. (1784—1845)— друг Карамзина, Жуковского и Пушкина, находился в это время за границей для изучения в архивах западноевропейских стран материалов по истории России.

...под названием «Отрывок».— В «Современнике» (1837, № 5) было напечатано стихотворение Пушкина «Вновь я посетил тот уголок земли...» (1835).

...увижу я знакомый купол — купол собора св. Петра в Риме.

50. С. П. ШЕВЫРЕВУ, 10 сентября 1839 г.

В подлиннике Гоголь ошибочно датировал это письмо 10 августа.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — профессор Московского университета, литературный критик и, с 1841 года, главный сотрудник погодинского «Москвитянина», непримиримый противник Белинского, проповедник идей самодержавия, православия и официальной народности.

В опущенном нами начале письма Гоголь откликается на сообщение Шевырева, что тот, живя в уединении в Мюнхене, приступил к переводу «Божественной комедии» Данте.

В Вене я скучаю. Погодина до сих пор нет.—Гоголь приехал в Вену 25 августа. Он предполагал писать здесь драму из истории Запорожья (см. о ней ниже, в этом же письме), но эта работа подвигалась у него туго. Погодин приехал в Вену 19 сентября. Через три дня они оба выехали в Москву.

В феврале уже полечу в Рим.— Гоголь пробыл в России до середины мая 1840 года. 18 мая он выехал за границу, собираясь работать там над окончанием первого тома «Мертвых душ»; в Рим он прибыл в сентябре.

51. М. С. ЩЕПКИНУ, 10 августа 1840 г.

В письме говорится о переведенной при участии Гоголя итальянской комедии «Дядька в затруднительном положении», присланной им из Италии Щепкину для бенефиса. Автором комедии, написанной в 1807 году, был Джованни Жиро (1776—1834), один из последователей реалистических традиций К. Гольдони.

52. С. Т. АКСАКОВУ, 28 декабря 1840 г.

...*узнали великую утрату* — смерть близкого родственника С. Т. Аксакова — И. Г. Карташевского (в августе 1840 года).

Я, кажется, не получу места.— Гоголь имеет в виду предпринятые им попытки получить место секретаря при попечителе над русскими художниками в Риме П. И. Кривцове. Хлопоты об этом месте закончились безрезультатно.

...*когда я мыслю о вас и об этом юноше.*—Слова о «юноше» относятся к сыну С. Т. Аксакова, Константину Сергеевичу, молодому славянофилу (на его некритическое увлечение германской философией и поэзией намекает Гоголь в конце письма).

...*я надеюсь через неделю выслать вам перепраски и приложения к «Ревизору».*— Мысль о втором издании «Ревизора» явилась у Гоголя еще в конце 1838 года, однако выполнить свое намерение — выслать исправления и приложения к комедии для нового издания — он смог лишь в начале марта 1841 года.

Панов В. А. (1819—1849) — писатель славянофильского направления; спутник Гоголя, с которым он выехал из Москвы 18 мая 1840 года.

53. С. Т. АКСАКОВУ, 5 марта 1841 г.

Вместе с настоящим письмом Гоголь выслал Аксакову для помещения в новое издание «Ревизора» «Две сцены, выключенные и при первом издании, как замедлявшие течение пьесы», и «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору». Они были напечатаны во втором издании «Ревизора» (цензурное разрешение от 26 июля 1841 года) в качестве приложений.

Небольшую характеристику ролей... нужно исключить.— Гоголь, по-видимому, позднее изменил это намерение, и его указания—«Характеры и костюмы»—были сохранены во втором издании «Ревизора», но напечатаны в конце книги.

Пусть за мною приедут Михаил Семенович и Константин Сергеевич.— Михаил Семенович — Щепкин, Константин Сергеевич — Аксаков. Выехать, по желанию Гоголя, навстречу ему они не смогли. Гоголь приехал в Москву 18 октября 1841 года.

Ольга Семеновна — жена С. Т. Аксакова. *Вера Сергеевна* и *Ольга Сергеевна* — его дочери.

54. П. А. ПЛЕТНЕВУ, 7 января 1842 г.

Рукопись «Мертвых душ» была передана на рассмотрение цензору Снегиреву в начале декабря 1841 года. Заседание цензурного комитета происходило под председательством Д. П. Голохвастова, помощника попечителя Московского учебного округа. Раздосадованный отрицательными высказываниями членов комитета, Гоголь взял рукопись обратно и через Белинского послал ее В. Ф. Одоевскому в Петербург, где 9 марта 1842 года и было получено цензурное разрешение, подписанное А. В. Никитенко. При этом цензура потребовала изменения заглавия поэмы («Похождения Чичикова, или Мертвые души») и исключения «Повести о капитане Копейкине». Вышла в свет поэма 21 мая.

55. П. А. ПЛЕТНЕВУ, 17 марта 1842 г.

...а рукописи нет как нет.— Гоголь получил цензурованную рукопись «Мертвых душ» только в начале апреля и тогда же приступил к переработке «Повести о капитане Копейкине».

Посылаю вам... «Портрет».— Новая, коренным образом переработанная редакция повести «Портрет» была напечатана у Плетнева в «Современнике» (1842, кн. 3).

...статьи, напечатанной в «Москвитянине».— В «Москвитянине» (1842, № 3) был напечатан отрывок «Рим».

56. А. В. НИКИТЕНКО, 10 апреля 1842 г.

Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — профессор русской литературы в Петербургском университете и журналист, занимал также должность цензора. Крупное историко-

литературное значение имеют его воспоминания («Моя повесть о самом себе...», СПб. 1905) и особенно дневник, который он вел на протяжении многих лет (тт. I—III, М. 1955—1956).

Вместе с этим письмом, посланным через Плетнева (см. письмо № 57), Гоголь пересылал для Никитенко переработанную в связи с цензурным запрещением «Повесть о капитане Копейкине».

Благодарю вас за ваше письмо.— Гоголь имеет в виду письмо Никитенко от 1 апреля 1842 года, написанное в связи с цензурным разрешением «Мертвых душ» (см. его текст в «Русской старине», 1889, № 8, стр. 384—385).

57. П. А. ПЛЕТНЕВУ, 10 апреля 1842 г.

Несколькими днями позднее Гоголь писал Прокоповичу: «...без «Копейкина» я не могу и подумать выпустить рукописи. Скажи ⟨Плетневу⟩, что я молю отстаивать во что бы то ни было» (Н. В. Гоголь, т. XII, стр. 55). Новая редакция «Повести о капитане Копейкине» была в конце концов пропущена цензурой.

58. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ, 11 мая 1842 г.

Я получил письмо от Белинского.— Речь идет о письме Белинского от 20 апреля 1842 года (см. В. Г. Белинский, т. XII, стр. 107—109). В этом письме Белинский сообщал о своем намерении напечатать после выхода «Мертвых душ» несколько статей о сочинениях Гоголя. Вместе с тем он выражал сожаление, что Гоголь печатает свои произведения в реакционном «Москвитянине» и не дает их в «Отечественные записки» — «единственный журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и... умное мнение». Письмо, проникнутое глубоким чувством любви к Гоголю, явилось одним из значительных этапов в той борьбе за Гоголя, которую вел Белинский, стремившийся вырвать писателя из-под все усиливающегося влияния Шевырева, Погодина и других реакционеров круга «Москвитянина».

59. В. А. ЖУКОВСКОМУ, 26 июня 1842 г.

Гоголь выехал за границу 5 июня 1842 года и пробыл все лето в Германии. В это время, как показывает настоящее пись-

мо, в его сознании начинают усиливаться религиозные идеи, приведшие вскоре к гибельному кризису.

60. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ, 27/15 июля 1842 г.

Перед отъездом за границу Гоголь поручил Прокоповичу наблюдение за печатанием в Петербурге четырехтомного собрания его сочинений. Последующая их переписка посвящена преимущественно вопросам, связанным с этим изданием.

Полномочия, которые давал Гоголь Прокоповичу в настоящем письме («действовать как можно самоуправней и полновластней»), последний понял буквально и, не ограничиваясь исправлением корректурных ошибок, правил стиль Гоголя, принимая своеобразные особенности его за ошибки против русского языка. Основная работа по устранению этих «поправок» Прокоповича и восстановлению подлинного гоголевского текста была проделана Тихонравовым (в десятом издании) и затем продолжена советскими текстологами.

Просьба о присылке будущей статьи Белинского о «Мертвых душах» свидетельствует, с каким вниманием относился Гоголь к его оценкам. Рецензия Белинского на «Мертвые души» появилась в «Отечественных записках», 1842, № 7.

61. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ, 10 сентября/29 августа 1842 г.

...дела наши — то есть дела по изданию сочинений Гоголя.

Переписка ее еще не кончена.— Рукопись «Театрального разъезда» была отправлена Гоголем Прокоповичу со следующим письмом 22 октября.

«Сцены из светской жизни» — заглавие это было позднее, по предложению Прокоповича, заменено другим: «Отрывок» (см. следующее письмо).

Получил ли хвост «Ревизора».— В письме от 27/15 июля 1842 года Гоголь послал Прокоповичу исправленный текст последнего явления «Ревизора».

62. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ, 26/14 ноября 1842 г.

Насчет разных корсарств в мои владения.— Протест Гоголя вызвало известие о постановке в Александринском театре без его ведома и согласия инсценировки «Мертвых душ», сделанной режиссером театра Н. И. Куликовым. Плетневу

Гоголь через два дня писал по этому поводу: «До меня дошли слухи, что из «Мертвых душ» таскают целыми страницами на театр. Я едва мог верить. Ни в одном просвещенном государстве не водится, чтобы кто осмелился, не испрося позволения у автора, перетаскивать его сочинения на сцену. (А я тысячи имею, как нарочно, причин не желать, чтобы из «Мертвых душ» что-либо было переведено на сцену.) Сделайте милость, постарайтесь как-нибудь увидеться с Гедеоновым и объясните ему, что я не давал никакого позволения этому корсару, которого я не знаю даже и имени» (т. XII, стр. 120—121).

Благодарю тебя за передачу... суждений о «Мертвых душах».— В письме от 21 октября Прокопович сообщил Гоголю разноречивые отклики критики и читателей о «Мертвых душах». Это письмо напечатано В. Шенроком в «Материалах для биографии Гоголя», т. IV, М. 1898, стр. 53—56.

63. М. С. ЩЕПКИНУ, 28 ноября 1842 г.

Вместе с этим письмом Гоголь послал Щепкину записку, в которой удостоверял, что он может давать в свои бенефисы все драматические сцены и отрывки из четвертого тома сочинений.

«Женитьба» была поставлена в Москве в бенефис Щепкина, 5 февраля 1843 года (Подколесина играл Щепкин, Кочкарева — Живокини). Премьера «Женитьбы» в Петербурге была дана 9 декабря 1842 года (с Сосницким — Кочкаревым и Мартыновым — Подколесиным).

Сергей Тимофеевич — Аксаков.

64. С. П. ШЕВЫРЕВУ, 28 февраля 1843 г.

Из обширного письма к Шевыреву от 28 февраля 1843 года здесь помещается только отрывок, касающийся работы Гоголя над вторым томом «Мертвых душ».

Статья Шевырева о «Мертвых душах» была напечатана в «Москвитянине», 1842, № 7.

Объявление в «Москвитянине», 1841, № 2, о якобы уже написанных двух томах поэмы, самоуправно помещенное Погодиным, больно задело Гоголя, с раздражением реагировавшего на каждое напоминание со стороны друзей о необходимости скорейшего выпуска второго тома «Мертвых душ».

65. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ, 28 мая 1843 г.

Откуда и кто распускает всякие слухи обо мне? — Речь идет о тех же, взволновавших Гоголя толках о выходе в скором времени второго тома «Мертвых душ» (см. письмо № 64). Творческие затруднения, которые Гоголь испытывал при работе над вторым томом, делали для него подобные толки особенно неприятными.

Поль де Кок пишет по роману в год.— Французский писатель Поль де Кок (1794—1871), автор фривольных романов из жизни парижского мещанства, был известен своей удивительной плодовитостью: им было написано более пятидесяти романов, составивших около трехсот томов.

Моллер Федор Антонович (1812—1874) — художник, друг А. А. Иванова и Гоголя, автор нескольких портретов Гоголя, получивших позднее широкую известность.

66. Н. М. ЯЗЫКОВУ, 14 июля 1844 г.

«*Тригорское*» — стихотворение, написанное Языковым в 1826 году.

...знакомые Авдотьи Петровны, Галаховы.— А. П. Елагина (1789—1877) — племянница Жуковского, мать И. В. и П. В. Киреевских, ее дом в Москве был одним из центров культурной и литературной жизни 30—40-х годов. Галахов А. П. и его жена С. П. Галахова — московские знакомые Елагиной.

Василий Андреевич — Жуковский.

67. А. О. СМИРНОВОЙ, 24 декабря 1844 г.

Из большого письма к Смирновой здесь приводится только часть, свидетельствующая о неугасающем интересе Гоголя к жизни русского общества. Сведения, о которых он запрашивает свою постоянную корреспондентку, нужны были ему в связи с работой над вторым томом «Мертвых душ».

68. А. О. СМИРНОВОЙ, 25 июля 1845 г.

В печатаемом отрывке из письма характерно отрицательное отношение к первому тому «Мертвых душ» и намек на некое «тайное» содержание последующих томов. Это — предвестие идей и настроений «Выбранных мест из переписки с друзьями».

69. Н. М. ЯЗЫКОВУ, 5 мая 1846 г.

В предисловии к немецкому изданию «Мертвых душ», вышедшему в 1846 году, переводчик назвал поэму Гоголя «народной русской книгой» и отметил в качестве ее главного достоинства, что автор «резко выставляет истины, часто горькие, на вид своему правительству и народу».

Вторая часть письма была использована Гоголем для статьи «Карамзин» в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Иванов — художник А. А. Иванов (1806—1858), живший тогда в Риме.

...прочел... похвальное слово Карамзину.— «Историческое похвальное слово Карамзину», произнесенное М. П. Погодиным при открытии памятника Карамзину 23 августа 1845 года в Симбирске (ныне Ульяновск), было напечатано им отдельной брошюрой в Москве в 1845 году.

70. А. М. ВИЕЛЬГОРСКОЙ, 14 мая 1846 г.

Виельгорская Анна Михайловна — одна из великосветских знакомых Гоголя в последний период его жизни, дочь М. Ю. Виельгорского (см. прим. к письму № 71).

Письмо свидетельствует о неослабевающем интересе Гоголя к современной русской литературе, особенно к произведениям писателей реалистического направления.

«Воспитанница» весьма замечательна... «Бедные люди» я только начал.—Повесть В. А. Соллогуба «Воспитанница», посвященная Гоголю, появилась в составленном Соллогубом литературном сборнике «Вчера и сегодня» (кн. 2, СПб. 1846). «Бедные люди» Достоевского были напечатаны в «Петербургском сборнике» Некрасова (СПб. 1846) (см. также оценку Соллогуба как писателя в статье 1846 года «О «Современнике», наст. том, стр. 210).

71. М. С. ЩЕПКИНУ, 24 октября 1846 г.

...«Ревизора»...с прибавлением хвоста.— «Хвостом» к «Ревизору» Гоголь называет здесь «Развязку «Ревизора» (см. т. 4 наст. изд.). Щепкин не мог примириться с новым истолкованием комедии, которое давал в «Развязке» Гоголь. Он долго медлил с ответом и только 22 мая 1847 года написал Гоголю проникнутое

гневом и обидой письмо: «Я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть. Я их люблю, люблю со всеми слабостями, как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти... Нет, я их вам не дам! не дам, пока существую. После меня переделайте хоть в козлов; а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог» («Записки и письма М. С. Щепкина», СПб. 1914, стр. 173—174). Примирительный ответ Гоголя на это письмо напечатан ниже (см. письмо № 81).

Приведенные в письме подробные указания к заключительной немой сцене комедии во многом совпадают с тем, что Гоголь почти одновременно писал в «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора» (при жизни Гоголя напечатано не было).

Виельгорский М. Ю. (1788—1856) — крупный сановник, известный музыкант и композитор-дилетант. Благожелательно относившийся к Гоголю, он участвовал в хлопотах о разрешении к постановке «Ревизора» и в преодолении цензурных затруднений при печатании «Мертвых душ».

...американца Толстого.— Ф. И. Толстой (1782—1846) — граф, кутила и игрок, прозванный за свои похождения на Алеутских островах «американцем».

Николая Михайловича Загоскина.— Гоголь спутал имя и отчество Загоскина, нужно: Михаила Николаевича.

72. И. И. СОСНИЦКОМУ, 2 ноября 1846 г.

Письмо это дополняет авторскую характеристику Хлестакова, данную в предыдущем письме.

73. М. С. ЩЕПКИНУ, 16 декабря 1846 г.

До Гоголя уже дошли слухи, что московские друзья его, в частности С. Т. Аксаков, не одобряют «Развязку «Ревизора». Это и заставило его отложить ее постановку. Как и все письма к Щепкину, это письмо содержит ценный материал для понимания взглядов Гоголя на актерское искусство. Особенно замечательно его требование «изгнать вовсе карикатуры» и «передавать прежде мысли».

...в будущем, 1848 году.— Описка в дате, нужно: «в будущем, 1847 году».

74. А. О. РОССЕТУ, 11 февраля 1847 г.

Россет Аркадий Осипович (1811—1881) — брат А. О. Смирновой. Гоголь близко сошелся с ним в 1843 году в Риме.

Большое письмо к Россету посвящено главным образом выходу в свет «Выбранных мест», в нем выражено также недовольство тем, что книга вышла в неполном виде. Из этого письма приводится только отрывок, свидетельствующий об интересе Гоголя к писателям «натуральной школы», против которой так ожесточенно боролись его друзья из «Москвитянина».

«Иллюстрация» — журнал, издавался Кукольником с 1845 года. В 1846 году в нем были напечатаны очерки Даля: «Поверия, суеверия и предрассудки русского народа», которые, очевидно, и имеет в виду Гоголь.

...боюсь, чтобы Плетнев не стал меня потчевать Финляндией — иронический намек на тогдашнее увлечение Плетнева литературой о жизни Финляндии.

Ишимова А. О. (1804—1881) — детская писательница, которой покровительствовал Плетнев.

«Петербургские вершины» — сборник «Петербургские вершины, описанные Я. Бутковым»; был издан в двух частях (ч. I—1845 г.; ч. II—1846 г.), по своему содержанию примыкал к «натуральной школе».

75. А. О. СМИРНОВОЙ, 22 февраля 1847 г.

Основной мотив второй части письма — необходимость ближе узнать Россию. Просьба о присылке материалов и очерков о типах русской жизни становится постоянной в письмах Гоголя этого периода (см., например, ниже, письма № 77 и 78).

...тот самый цензор — А. В. Никитенко.

76. В. А. ЖУКОВСКОМУ, 6 марта 1847 г.

Письмо выразительно рисует взволнованное состояние Гоголя после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» и получения первых сведений о впечатлении, произ-

веденном им (см. также письмо № 78). Сообщение об успехе книги, полученное Гоголем от Плетнева — «в одну неделю исчезнули все экземпляры», — не соответствовало действительности: книга расходилась очень медленно, что было позднее засвидетельствовано Белинским в его письме Гоголю.

...о замысле... писать письма по поводу моих писем.— Жуковский осуществил это намерение: в 1847—1848 годах он написал три статьи в форме писем к Гоголю: «О смерти», «О молитве» и «Слова поэта — дела поэта».

77. А. С. и У. Г. ДАНИЛЕВСКИМ, 18 марта 1847 г.

План путешествия, о котором Гоголь пишет в конце письма, был им осуществлен в 1848 году: в январе он выехал из Неаполя в Палестину, откуда в конце апреля через Константинополь прибыл в Одессу. Из Одессы Гоголь направился в Васильевку и пробыл там все лето. В конце мая — начале июня он совершил поездку в Киев, где виделся с Данилевским.

78. А. О. РОССЕТУ, 15 апреля 1847 г.

Письмо отражает душевное смятение Гоголя, вызванное неблагоприятными откликами большей части общества на издание «Выбранных мест из переписки с друзьями». С одной стороны, он признает неудачу книги, обвиняет себя в заносчивости «почти à la Хлестаков», но, с другой стороны, строит планы нового ее издания, предполагая, что после включения не пропущенных цензурой писем и внесения дополнительных исправлений книга все же оправдает надежды, которые он на нее возлагал.

79. В. Г. БЕЛИНСКОМУ, около 20 июня 1847 г.

Статья Белинского о «Выбранных местах» была напечатана в «Современнике» (1847, № 2; цензурное разрешение в конце января). К Гоголю, жившему за границей, книжка «Современника» попала с большим опозданием. Белинский был единственным из авторов статей о «Выбранных местах», кому Гоголь отвечал. Это обстоятельство становится понятным, если учесть, как ценил Гоголь статьи Белинского о нем и как болезненно должен он был воспринять резкую, негодующую, хотя и сильно ослабленную цензурой статью критика. О том, как цензура

искалечила его статью, Белинский писал 28 февраля 1847 года Боткину (В. Г. Белинский, т. XII, стр. 340).

Гоголь послал настоящее письмо в Петербург Прокоповичу для передачи Белинскому (см. письмо № 80). Однако последний в это время лечился за границей, в силезском курортном городке Зальцбрунне. Письмо Гоголя попало к сотруднику «Отечественных записок» Н. Н. Тютчеву, который и переслал его Белинскому. Ответом на него было знаменитое письмо Белинского к Гоголю от 3 15 июля 1847 года.

80. Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ, 20 июня 1847 г.

Письмо написано и отослано Прокоповичу одновременно с предыдущим. Прокопович, отвечая Гоголю письмом от 27 июня 1847 года, защищал Белинского от несправедливых обвинений «Мне кажется, ты очень ошибаешься, воображая, что статью свою Б. написал, приняв на свой счет некоторые выходки твои вообще против журналистов. Зная Белинского давно, я не могу не быть уверенным, что ни одна строчка его не назначалась мщению за личное оскорбление... Белинский не говорил хладнокровно о прежних твоих сочинениях: мог ли он говорить хладнокровно и о последних?» (В. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. IV, 1898, стр. 558).

81. М. С. ЩЕПКИНУ, около 10 июля 1847 г.

Ответ на письмо Щепкина от 22 мая 1847 года по поводу «Развязки «Ревизора» (см. прим. к письму № 71).

...в ваши годы писать записки.— Щепкин начал писать свои «Записки» еще в 1835 году, по настойчивому совету Пушкина, собственноручно написавшего первую фразу «Записок». В 1847 году в первой книге «Современника» Щепкин опубликовал отрывок из своих «Записок», что и вызвало одобрение Гоголя.

82. В. Г. БЕЛИНСКОМУ, 10 августа 1847 г.

Получив зальцбруннское письмо Белинского, Гоголь сразу же написал ответ ему, полный упреков и обвинений. Однако, когда первое чувство раздражения остыло, он отказался от его посылки, а листки с черновым текстом изорвал в мелкие клочки, которые и были впоследствии найдены среди бумаг

писателя. Первый издатель писем Гоголя и его биограф П. А. Кулиш сделал попытку восстановить по этим лоскуткам текст письма, дополнив недостающие слова, где это было возможно. В таком виде письмо было напечатано в книге Кулиша «Записки о жизни Н. В. Гоголя», т. 2, СПб. 1856. Более точная и полная реконструкция сохранившегося текста письма дана в Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя, изд. АН СССР, т. XIII, стр. 435—446.

Взамен изорванного Гоголь отправил Белинскому другое, более сдержанное и примирительное письмо, помеченное 10 августа. Основной мотив этого письма — «Я не знаю вовсе России» — повторяется во многих письмах Гоголя после крушения «Выбранных мест из переписки с друзьями».

83. П. В. АННЕНКОВУ, 12 августа 1847 г.

Анненков Павел Васильевич (1812—1887) — критик и писатель, один из либеральных друзей Белинского, сотрудник «Современника». Был в дружеских отношениях с Гоголем, Тургеневым и многими другими писателями. «Литературные воспоминания» Анненкова занимают видное место в мемуарной литературе XIX века.

Письмо по своему содержанию и настроению непосредственно примыкает к написанному за два дня до него ответу Белинскому.

Письма о Париже.—Серия статей Анненкова, присылавшихся им из Парижа, печаталась в «Современнике» 1847 года под заглавием «Парижские письма». В своей критической оценке этих статей Гоголь правильно подметил их главный недостаток: поверхностную описательность, бесстрастие наблюдателя французской жизни, отсутствие у автора глубоких убеждений.

Письма Боткина — «Письма об Испании» В. П. Боткина, печатавшиеся также в «Современнике» в 1847 году. Подробный анализ этих писем и их историческая оценка даны акад. М. П. Алексеевым в статье «Письма об Испании» Боткина и русская поэзия» (Ученые записки ЛГУ, серия филологических наук, вып. 13, Л. 1948, стр. 131—165).

...писать записки о русских городах, начиная с Симбирска.— Последние слова объясняются тем, что Анненков был уроженцем Симбирска.

84. А. П. ТОЛСТОМУ, около 14 августа 1847 г.

Толстой Александр Петрович (1801—1873) — крупный чиновник, ярый реакционер и мистик, впоследствии (с 1856 г.) обер-прокурор синода. Гоголь познакомился с ним в начале 40-х годов за границей. Губительное для Гоголя сближение с Толстым имело место в последующее время, особенно после 1848 года, когда писатель, вернувшись в Россию, поселился в Москве, в доме, где жил Толстой.

Вся первая половина письма посвящена размышлениям на религиозно-нравственные темы. Литературный интерес представляет только его заключительная часть, которая здесь и перепечатывается.

85. П. А. ПЛЕТНЕВУ, 24 августа 1847 г.

Поеду в Иерусалим.— Поездка Гоголя в Иерусалим состоялась в январе 1848 года.

Живи один...— цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэту» (1830).

86. П. В. АННЕНКОВУ, 7 сентября 1847 г.

Печатаемый отрывок из письма к Анненкову содержит благожелательные отзывы Гоголя о Герцене и Тургеневе. О Герцене Гоголь писал в декабре этого же года художнику А. Иванову: «Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев» (Н. В. Гоголь, т. XIII, стр. 408). И дальше Гоголь интересуется мнениями Герцена об искусстве и политике. Встретиться с Герценом Гоголю не пришлось.

...женат ли Белинский? — Белинский женился на М. В. Орловой в ноябре 1843 года.

Изобразите мне также портрет молодого Тургенева.— Интерес Гоголя к Тургеневу, произведения которого печатались в журналах с начала 40-х годов, усилился в 1847 году, когда на страницах «Современника» начали появляться очерки и рассказы, позднее составившие книгу «Записки охотника». Личное знакомство Гоголя с Тургеневым состоялось 20 октября 1851 года (см. об этом в «Литературных и житейских воспоминаниях» И. С. Тургенева).

87. В. А. ЖУКОВСКОМУ, 10 января 1848 г.
(29 декабря 1847 г.)

Письмо это Гоголь предполагал включить во второе издание «Выбранных мест из переписки с друзьями» под заглавием «Искусство есть примиренье с жизнью». Однако в связи с тем, что намеченное издание было отложено, письмо осталось ненапечатанным. По своему содержанию оно во многом совпадает с «Авторской исповедью».

Обнимаю все твое милое семейство вместе с Рейтернами.— Е. Рейтерн — немецкий художник, друг Жуковского; на его дочери Жуковский женился в 1841 году.

88. П. А. ПЛЕТНЕВУ, 20 ноября 1848 г.

...я получил экземпляр «Одиссеи».— «Одиссея» в переводе Жуковского (т. I) вышла в свет осенью 1848 года. В своих предположениях о воздействии этой книги на общество Гоголь во многом повторяет мысли, высказанные им в статье об «Одиссее» в переводе Жуковского («Выбранные места из переписки с друзьями»).

89. С. М. СОЛЛОГУБ, 24 мая 1849 г.

Соллогуб Софья Михайловна — дочь М. Ю. Виельгорского, жена писателя Владимира Александровича Соллогуба. С семьей Виельгорских Гоголь сблизился еще в 1838 году в Риме. Как свидетельствовал в своих воспоминаниях С. Т. Аксаков, эта дружба способствовала усилению религиозно-проповеднических настроений Гоголя (см. «История моего знакомства с Гоголем» — С. Т. Аксаков, Собр. соч., М. 1956, т. III, стр. 282).

Анна Михайловна — сестра С. М. Соллогуб А. М. Виельгорская.

Графиня — Л. К. Виельгорская, мать С. М. Соллогуб.

Веневитиновы — А. В. Веневитинов, крупный чиновник, брат поэта Д. В. Веневитинова, и его жена Аполлинария Михайловна, сестра С. М. Соллогуб.

90. В. А. ЖУКОВСКОМУ, осень 1849 г.

Известие об оконченной и напечатанной «Одиссее».— Второй том «Одиссеи» в переводе Жуковского был напечатан летом 1849 года.

91. К. И. МАРКОВУ, 3 декабря 1849 г.

Марков Константин Иванович — помещик, поручик в отставке, один из читателей «Мертвых душ», откликнувшийся на призыв Гоголя в предисловии ко второму изданию поэмы и написавший ему в конце 1849 года два письма. В первом из них он развивал ряд интересных мыслей о «Мертвых душах». Видя главную ценность поэмы в изображении характера русского человека, как он есть, Марков предостерегал Гоголя против введения в поэму «героя добродетели»: «Но если вы выставите *героя добродетели*, то роман ваш станет наряду с произведениями старой школы. Не пересолите добродетели. Изобразите нам русского человека, но в каждодневном его быту» [1] Все письмо Маркова с очевидностью обнаруживает в нем человека, чьи литературные взгляды были воспитаны на статьях Белинского. Настоящее письмо является ответом Маркову.

92. П. А. ПЛЕТНЕВУ, 21 января 1850 г.

...видевшие ее еще недавно в Калуге.— Смирнова жила в это время в Калуге в связи с тем, что ее муж Н. М. Смирнов занимал должность калужского губернатора.

93. С. Т. АКСАКОВУ, октябрь 1851 г.

Письмо написано в один из редких в эти годы у Гоголя моментов творческого подъема и уверенности в скором завершении второго тома «Мертвых душ» (см. также следующие письма).

94. А. С. ДАНИЛЕВСКОМУ, 16 декабря 1851 г.

Литвинов М. А. — родственник Данилевского, двоюродный брат его жены.

---

[1] Письмо Маркова (с ошибочной датировкой 1847 годом) напечатано полностью В. Шенроком в «Материалах для биографии Гоголя», т. IV, 1898, стр. 550—553.

95. С. Т. АКСАКОВУ, начало января 1852 г.

Принятая в Полном собрании сочинений Гоголя, изд. АН СССР, датировка этого письма — конец 1851 года,— опирается на помету, сделанную на его подлиннике рукою Аксакова (см. Н. В. Гоголь, т. XIV, стр. 439). В недавнее время было высказано обоснованное мнение, что данное письмо Гоголя является ответом на письмо Аксакова от 9 января 1852 года, в котором последний, поздравляя Гоголя «с прошедшими праздниками и наступившим новым годом», писал об успешном ходе своей работы над «Записками ружейного охотника» и интересовался, «как идет дело» у Гоголя со вторым томом «Мертвых душ» (см. статью Е. С. Смирновой-Чикиной «Второй том «Мертвых душ», в сб. «Гоголь в школе», М. 1954, стр. 437). Как указывает автор, письмо Гоголя следует, таким образом, датировать 11—12 января 1852 года.

96. С. Т. АКСАКОВУ, начало января 1852 г.

На подлиннике рукой Аксакова сделана надпись: «Последняя записка Гоголя в 1852».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ[1]

[1] В указатель к настоящему тому включены собственные имена, названия периодических изданий и литературных произведений, упоминаемых в текстах Гоголя. В тех случаях, когда основные сведения о каком-либо лице имеются в примечаниях, оно дается в указателе без аннотации, при этом ссылка на соответствующую страницу примечаний выделяется курсивом.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. В. ГОГОЛЯ, ВОШЕДШИХ В 1—6 ТОМА

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ РАННИХ ОПЫТОВ

СТАТЬИ

из сборника «Арабески», чч. I и II

СТАТЬИ,

напечатанные в «Современнике» 1836—1837 гг.

СТАТЬИ,

напечатанные в книге
«Выбранные места из переписки с друзьями»

ИЗ СТАТЕЙ

1846—1847 гг., не напечатанных при жизни Гоголя

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

Гоголь Николай Васильевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 6

Редактор *В. Фридлянд*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *З. Евдокимова*
Корректоры *М. Доценко* и *А. Чернявская*

Сдано в набор 20/III 1959 г.
Подписано в печать 28/XI 1959 г.
Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 17,63 печ. л.
28,91 усл. печ. л. 27,30+9 вкл. = 27,75 уч.-изд. л.
Тираж 350 000 экз. Заказ № 910.

Цена 8 р. 50 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Измайловский пр., 29
Отпечатано с матриц Первой
Образцовой тип. им. А. А. Жданова

